
КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ
Ю.В. Андреев
ПОЭЗИЯ МИФА И ПРОЗА ИСТОРИИ





КУЛЬТУРА
И РЕЛИГИЯ



Ю.В. Андреев

ПОЭЗИЯ МИФА И ПРОЗА ИСТОРИИ

ЛЕНИЗДАТ • 1990

ББК 86.3
А65

Редакционная коллегия:
доктора исторических наук Г. С. Лебедев, Ю. А. Лимонов;
кандидаты исторических наук Н. Б. Лебина, Е. В. Мавлеев;
кандидат философских наук С. Н. Павлов.

Надменный владыка Крита царь Минос и победитель чудовищ Тесей, создатель загадочного Лабиринта хитроумный Дедал и его сын — несчастный юноша Икар, герои печально знаменитой Троянской войны и аргонавты — участники прославленного плавания за золотым руном — все эти хорошо знакомые каждому образы греческой мифологии пройдут перед вами на страницах книги. При этом перед читателем открывается увлекательная возможность вместе с автором заняться розыском первоисточников популярных мифологических сюжетов, проследить вплоть до самых истоков «родословную» центральных персонажей древних сказаний. В процессе этих поисков ему предстоит узнать много интересного и даже неожиданного.

Редактор *Г. И. Кряжевских*

А $\frac{0401000000-047}{М171(03)-90}$ 8—90

ISBN 5-289-00797-0

© Ю. В. Андреев, 1990

К читателю

Сказка — ложь, да в ней намек...
А. С. Пушкин

Миф и история... Два эти слова обычно воспринимаются как понятия, абсолютно исключающие друг друга. Если под историей с тех пор, как существует особая историческая наука, мы привыкли понимать достоверный рассказ о прошлом, в котором автор отвечает за каждое свое слово, за каждый упомянутый факт, то мифом мы, как правило, называем нечто прямо противоположное такому рассказу, а именно повествование, наполненное всевозможными чудесами, событиями невероятными, невозможными, если подходить к ним с точки зрения нормального человеческого рассудка.

А между тем не так уж трудно убедиться в том, что оба эти вида «свидетельств» о прошлом довольно тесно связаны между собой и что найти разделяющую их пограничную черту подчас бывает не так-то просто. Ведь история практически всех известных сейчас народов земного шара, как существующих в настоящее время, так и давно уже сошедших с исторической сцены, как правило, начинается именно с мифов или легенд, то есть с древних сказаний[1] (возраст большинства из них не поддается точному определению), в которых авторы, чаще всего не называющие своего имени, повествуют о происхождении своего народа, его древнейшем прошлом, его

[1] Уже в древнегреческом языке, откуда к нам пришло слово «миф» (mythos), оно заключало в себе весьма широкий спектр смысловых оттенков и значений. Под мифом греки могли подразумевать и просто речь или слово, и какое-нибудь изречение или поговорку, и рассказ, сказку или басню, и, наконец, древнее сказание или предание — значение, в котором мы чаще всего употребляем это слово теперь. Как особый жанр народного (фольклорного) творчества миф отличается от других его жанров, таких, как сказка, легенда, историческое предание, хотя в то же время имеет и немало общего с ними, из-за чего их часто смешивают между собой.

первых правителях, мудрецах и героях, о его скитаниях по чужим краям, о постигших его бедствиях и испытаниях, о войнах с соседними племенами и других событиях. Таким образом, в начале исторического пути любого из народов нашей планеты, пока он еще не успел обзавестись ни литературой в точном значении этого слова, ни настоящей наукой, миф, по существу, заменяет историю в ее основной функции копилки воспоминаний о событиях далекого прошлого.

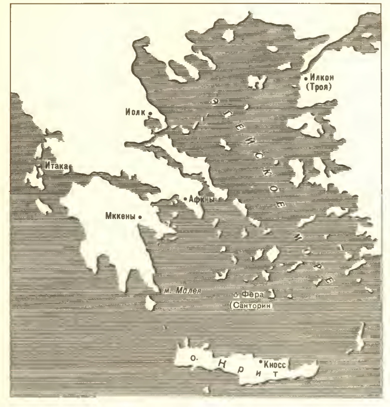
Как уже было сказано, в мифах сплошь и рядом описываются происшествия, плохо укладывающиеся в обычное человеческое сознание, рассказывается о вещах, которых никто и никогда не видел собственными глазами. Без тени сомнения авторы мифов сообщают нам о чудесных превращениях людей в животных и растения или, наоборот, животных в людей, о поединках бесстрашных героев с кровожадными чудовищами или могучими великанами, о проделках злобных колдунов, о путешествиях в царство мертвых и многом другом, столь же невероятном. На сцене мифического повествования постоянно появляются боги, которые весьма активно вмешиваются в человеческие дела: одним героям оказывают помощь во всех их начинаниях и подвигах, других, напротив, карают за нечестивые поступки. Нетрудно заметить, что создатели этих удивительных историй были явно не в ладах с элементарной логикой (отсюда постоянные противоречия и неувязки как в содержании отдельных мифов, так и между их многочисленными версиями). Они весьма произвольно обращались с такими важными историческими категориями, как время и пространство (поэтому в мифах одно и то же событие может происходить в совершенно различных местах или же повторяться до бесконечности в разное время и в разных обстоятельствах).

И все же в течение весьма длительного времени никому не приходило в голову, что можно усомниться в реальности описываемых в мифах необыкновенных событий. Мифам верили, потому что в них видели воплощение коллективного опыта и знаний многих поколений предков. Их достоверность гарантировал непререкаемый авторитет древних общинных традиций. В восприятии людей далекой древности мифы были чем-то вроде универсального толкового словаря или энциклопедии, в которых можно было найти ответы на все основные вопросы человеческого бытия. Мифы рассказывали о возникновении Вселенной и о начале всех наполняющих ее вещей, о родословной богов и героев, от которых вели свое происхождение

целые роды и племена. В них объяснялись причины всевозможных природных явлений, сообщалось о катастрофах и различных стихийных бедствиях. В них же содержались и разнообразные исторические сведения. Правда, все начатки положительных знаний, так же как и отдельные элементы философских или этических учений, были тесно слиты в мифах с фантастическими образами первобытной религии, с древними суевериями и магическими обрядами. Представленная в мифах картина жизни Вселенной и человеческого рода, взятая как единое целое, безусловно, носила иррациональный, мистический характер и ни в коей мере не подчинялась законам логического научного мышления.

Историк, изучающий древнейшее прошлое той или иной страны или народа, неизбежно задается вопросом: как следует относиться к этим загадочным, неизвестно когда и кем сочиненным преданиям, весьма далеким от исторической действительности, но в то же время както образом с нею связанным? Ведь не случайно в мифах нередко мелькают названия действительно существовавших в древности стран и городов, имена живших некогда исторических личностей, упоминаются действительно происходившие исторические события, хотя все это перемешано с колоссальными нагромождениями всевозможной фантастики, не имеющей к подлинной истории абсолютно никакого отношения. Конечно, проще всего было бы напрочь отказаться от использования мифов, так сказать, отлучив их от серьезной исторической науки и передав в ведение фольклористов и этнографов, занимающихся изучением народного творчества. Но это означало бы лишь признание собственной научной несостоятельности, ибо, поступив таким образом, мы просто рассекли бы достаточно важную и сложную проблему наподобие знаменитого гордиева узла, вместо того, чтобы тратить время на ее долгое и тщательное распутывание.

В книге нам хотелось бы показать читателю, что́ может миф дать историку в том случае, когда он ясно сознает всю необычность и своеобразие этого специфического источника информации. Подчеркнем попутно, что только при этом условии возможны настоящая историческая критика или исторический анализ мифологической традиции. Нам хотелось бы также, чтобы читатель смог с максимальной ясностью представить себе всю огромную дистанцию, отделяющую подлинную историю древности от той псевдоистории, которую нередко с завидной легкостью и быстротой «реконструируют» многие как древние,



Греция и Эгейское море во II тысячелетии до н. э.

так и современные «исследователи» прошлого, опираясь на мифологические «свидетельства», но не отдавая себе ясного отчета в том, что они в действительности собой представляют.

Материал для своей книги мы черпали преимущественно из сокровищницы классической греческой мифологии — одной из самых древних и самых богатых мифологических систем в истории человечества. Наш выбор определялся отчасти тем, что сюжеты греческих мифов настолько прочно укоренились в современной европейской культуре, что их узнавание не потребует особенно большого труда от любого мало-мальски начитанного человека, чего не скажешь, допустим, о мифологиях Востока, например индийской или китайской. Кроме того, именно Греция как общепризнанная родина исторической науки

открывает перед нами возможность сопоставления мифологического и противоположного ему научно-рационалистического подхода к историческим событиям уже на самых ранних этапах развития научной мысли. Наконец, как, вероятно, уже известно читателю, именно греческие мифы стали той путеводной нитью, которая в конце XIX — начале XX века привела европейских археологов к открытию древнейших культур Эгейского мира, ранее неизвестных науке.

Следует, правда, иметь в виду, что греческая мифология дошла до нас не в своем подлинном первоначальном виде, как дошли, например, мифы австралийских аборигенов или южноамериканских индейцев, записанные этнографами прямо с их слов, а только в виде литературных переработок от сравнительно ранних (произведения Гомера, Гесиода и других поэтов так называемого архаического периода) до очень поздних (сочинения Плутарха, Лукиана, Павсания, Овидия, Нонна и других прозаиков и поэтов конца античной эпохи). При переводе мифа из его фольклорной формы в литературную он, что само собой разумеется, подвергался довольно жесткой «редакторской правке».

В результате такой неоднократно повторявшейся переработки греческие мифы, несмотря на их весьма почтенный возраст, нередко заключают в себе стадиально гораздо более поздние варианты распространенных фольклорных сюжетов, нежели те, которые удалось зафиксировать ученым, работавшим в различных районах земного шара уже в сравнительно недавнее время — в XIX или даже XX веке. Выдающийся советский фольклорист В. Я. Пропп заметил в связи с этим, что довольно часто «русская сказка дает более архаический материал, чем греческий миф». В более обобщенной форме эту же мысль повторяет известный лингвист В. В. Иванов: «Античную мифологию следует интерпретировать как новую жизнь архаических мифов... по большей части не сохранившихся». Отсюда следует, что современный исследователь, задавшийся целью восстановить первоначальный смысл и сюжетную канву того или иного греческого мифа, должен проделать ту же работу, которую некогда проделали его античные «редакторы», но, так сказать, в обратном порядке, снимая одну за другой все поправки и изменения, которые были внесены ими в текст мифа. Только такое освобождение первоначального ядра мифа от всех позднейших наслоений делает его пригодным к использованию в качестве исторического источника особого рода.



1

ДВЕ ИСТОРИИ ГЕРОИЧЕСКОГО ВЕКА

Что знали греки о своем прошлом, и что знаем о ием мы

> Садятся призраки героев
> У посвящениых им столпов...
> *А. С. Пушкин*

На протяжеиии почти всей аитичиой эпохи мифы пользовались огромной популяриостью среди иаселеиия греческих городов-государств. Без иих, без их влияиия, без постояииого обращения к их сюжетам и образам сейчас невозможио себе представить ии классическое греческое искусство, ии греческую литературу, ни греческую философию, ии греческую культуру в целом. Как указывал Маркс, «мифология составляла ие только арсеиал греческого искусства, но и его почву». Нельзя забывать о том, что мифы были важиейшей частью того культурного иаследия, которое оставили грекам их далекие предки, жившие еще в III—II тысячелетиях до и. э. Отречься от этого иаследия, объявить его пустой игрой воображения — иа такое дерзкое попраиие общепризиаииой традиции, окружениой ореолом глубочайшей древиости, могли решиться разве что самые отчаяииые вольиодумцы. При свойствеииой им иеобыкиовеииой живости ума, которая иногда толкала их иа довольио вольные и иепочтительиые суждеиия о богах (с первыми образцами такого свободомыслия мы сталкиваемся уже в гомеровской поэзии, то есть в древиейших из дошедших до иас памятииков греческой литературы), греки иикак ие могут быть иазваиы «абсолютио безрелигиозиым иародом», «скопищем атеистов». Напротив, древияя политеистическая религия, так же как и тесио связанная с ией мифология, играла в их жизии чрезвычайно важиую роль. Еще и в V—IV веках до и. э., в пору, когда греческое просвещеиие и свободомыслие достигли в своем развитии иебыва-

лых еще высот, вся духовная атмосфера Греции даже в таких крупнейших культурных центрах, как Афины, оставалась буквально пронизанной мифологическими образами и представлениями.

Неудивительно, что именно миф был для подавляющего большинства греков наиболее доступным и понятным способом осмысления прошлого — седой старины, воспоминания о которой сохранились лишь в произведениях древних поэтов — создателей греческого эпоса. Для афинян поколения Геродота и Фукидида, двух великих историков — основоположников исторической науки, такие мифические персонажи, как Эдип, Ахилл, Тесей, были, пожалуй, более живыми и реальными фигурами, чем многие действительно существовавшие персонажи греческой истории VIII—VI веков до н. э. Ежегодно герои мифов появлялись перед афинянами, так же как и жителями других греческих городов, на театральной сцене во время представлений, сопутствовавших большим религиозным празднествам. Как правило, афинские драматурги использовали в своих трагедиях переработки наиболее популярных мифов, и это было еще одной гарантией их исторической подлинности.

Нет ничего удивительного в том, что молодая историческая наука после того, как она наконец возникла в Греции, еще долго не могла вырваться из материнских объятий мифологии, в лоне которой она зародилась. По существу же, связывавшие их узы кровного родства так никогда и не были разорваны. Первым великим историком для большинства греков был Гомер. Они не только наслаждались красотой и звучностью его гекзаметра, но и твердо верили почти каждому слову поэта. Любой, даже самый незначительный, факт, попавший на страницы «Илиады» и «Одиссеи», считался историческим.

Именно поэтому всякие изменения и поправки в тексте поэм рассматривались чуть ли не как святотатство. Сколько шума и разговоров было по всей Элладе, когда какой-то афинский редактор «Илиады» (одни считали, что это был законодатель Солон, другие — что тиран Писистрат) вставил в текст так называемого «Каталога кораблей» — подробного перечня ахейских воинских сил, осаждающих Трою,— две строчки, в которых говорилось, что Аякс Теламонид с двенадцатью саламинскими кораблями встал рядом с афинской эскадрой. Человек, прибегший к этой фальсификации текста поэмы, очевидно, хотел таким образом доказать историческую обоснованность афинских претензий на владение островом Саламин в Са-

роническом заливе. Многие поколения греческих историков, начиная с Геродота и Фукидида, иногда сознательно, иногда бессознательно подражали Гомеру в своем творчестве, а это означает, что преемственная связь историографии с мифологией продолжала сохраняться.

Как древнее, и к тому же священное, предание, миф не нуждался ни в каких доказательствах и подтверждениях. В то, о чем рассказывали мифы, следовало просто верить, не требуя от рассказчика никакой аргументации. Правда, верующие люди встречали доказательства реальности описываемых в мифах чудесных происшествий буквально на каждом шагу. В любом греческом городе и его окрестностях столетиями сохранялись детали ландшафта, памятники, просто предметы, связанные с различными мифами и как будто подтверждающие их историческую достоверность. Так, на Крите заезжим путешественникам обычно показывали знаменитую Идейскую пещеру, в которой родился сам владыка богов Зевс. В окрестностях Лерны (к югу от Коринфа) они могли увидеть ограду из камней, которой было обнесено место, где властитель подземного мира Аид, согласно мифу, похитил дочь богини Деметры Персефону, а также платан, под которым выросла многоглавая Лернейская гидра, сраженная Гераклом. По всей Греции было разбросано множество могил прославленных и малоизвестных героев. В них также видели свидетельства подлинности мифов, хотя в действительности люди, приносившие умилостивительные жертвы на эти могилы, конечно, не знали, кто в них погребен, поскольку на них не было ни надписей, ни каких-либо других опознавательных знаков.

Конечно, не все греки в равной мере почтительно и благоговейно воспринимали эти подтверждения исторической достоверности мифов. Были среди них и скептики, не склонные доверять, как они считали, досужим домыслам древних поэтов и сказителей. Одним из таких вольнодумцев был поэт и философ Ксенофан Колофонский (VI—V века до н. э.). В своих стихотворениях он дерзко издевался над олимпийскими богами, находя, что старинные поэты — Гомер и Гесиод — изобразили их чересчур похожими на людей:

Все про богов сочинили Гомер с Гесиодом совместно,
Что только срамом слывет и что люди позором считают,
Будто воруют они, совершают и блуд, и обманы.

Ксенофан утверждал даже, что люди вообще создают богов по собственному образу и подобию и что, будь у

животных — быков, львов, коней — способность к рисованию или ваянию, они тоже изобразили бы своих богов в виде таких же существ, как и они сами. В VI—V веках до н. э.— в эпоху великого интеллектуального переворота, заложившего основы древнегреческой науки,— в Греции все шире начинает распространяться убеждение в том, что любое утверждение, кем бы и при каких обстоятельствах оно ни было высказано: в судебной тяжбе или политической дискуссии, в споре о природе какого-нибудь необычного естественного явления или же о давнем историческом событии,— все должно быть доказано с помощью умозаключений (силлогизмов), опирающихся на твердо установленные факты. Так родилось великое искусство спора, которое сами греки называли диалектикой и без которого дальнейшее развитие науки было бы вообще невозможно. Уже первые попытки применения системы доказательств, или дедуктивного метода, в математике, астрономии, философии, а также в судебном и политическом красноречии принесли блестящие результаты. Вслед за этим новый метод был перенесен также и в область исторических изысканий, где до сих пор безраздельно господствовала уходящая в глубь веков и уже в силу этого считавшаяся непререкаемой мифологическая традиция.

Древнейший из всех известных нам греческих историков Гекатей из Милета (конец VI — начало V века до н. э.) начинает свое сочинение, называвшееся «Генеалогии» (букв. «Родословные»), такими словами: «Гекатей из Милета так говорит. Это я пишу, как оно мне кажется истинным, ибо рассказы эллинов многочисленны и смешны, как мне кажется». «Рассказы эллинов», о которых упоминает Гекатей,— это, несомненно, мифы, и, таким образом, целью историка, если, конечно, принимать его слова всерьез, была сознательная установка на критический пересмотр и переосмысление всей предшествующей мифологической традиции. О том, какими методами он при этом пользовался, мы можем теперь судить по немногим дошедшим до нас отрывкам из его сочинения.

В одном из этих отрывков Гекатей рассуждает о последнем и самом прославленном из двенадцати подвигов Геракла. Историк уверяет читателей, что Геракл никогда не спускался в Аид, чтобы изловить там страшного трехголового пса Кербера, сторожившего вход в подземное царство. На самом деле никакого Кербера вообще не существовало. Легковерные люди прозвали этим именем большую ядовитую змею, некогда обитавшую в пещере на мысе Тенар (южная оконечность Пелопоннеса, древ-

ние помещали здесь один из главных входов в Аид). Геракл действительно побывал в этих местах, убил змею, и, таким образом, родился миф о его спуске в преисподнюю и о пленении им Кербера. Как мы видим, основным критерием, которым пользовался Гекатей в своей, как мы сказали бы теперь, «работе с источниками», был принцип правдоподобия. Миф целиком не отвергается. Историк просто устраняет из него все, что кажется ему невероятным, противоречащим здравому смыслу, подменяя смешное и нелепое предание своими собственными домыслами, на современный взгляд, тоже достаточно наивными, но все же не такими фантастичными. Пока еще историк ничего не доказывает (в его распоряжении нет никаких фактов для того, чтобы что-нибудь доказать, кроме самого мифа), он только размышляет. Но для того времени, когда жил Гекатей, уже и это было большим шагом вперед. Мифы, в которых до сих пор видели какое-то подобие священного писания, не нуждающегося ни в каких специальных доказательствах и проверках, теперь становятся объектом обсуждений, споров и пусть пока еще крайне несовершенного критического анализа.

У вольнодумца Гекатея нашлось немало последователей, которые так же, как и он, пытались тем или иным способом приспособить греческую мифологию к рационалистическим веяниям эпохи, устранив из нее все, что казалось людям того времени слишком уж нелепым. Правда, в своем перетолковывании древних сказаний на новый лад они нередко и сами доходили до самого настоящего абсурда, видимо не замечая этого. Так, один из современников Гекатея, Акусилай Аргосский, пытался уверить своих читателей в том, что Зевс вовсе не превращался в быка для того, чтобы похитить финикийскую царевну Европу: это было бы явно недостойно царя богов и людей. Вместо этого владыка Олимпа просто подослал к Европе очень умного дрессированного быка, которого он заранее научил, что надо делать, и тот благополучно доставил красавицу к берегам Крита, где ее уже ждал Зевс.

Разумеется, если бы греческие историки V века до н. э. в своих сочинениях не сумели продвинуться дальше таких переделок мифов в духе наивного рационализма, настоящая историческая наука в Греции, вероятно, так никогда бы и не зародилась. К счастью, среди них нашлись люди, которых больше интересовали события, относящиеся либо к современности, либо к сравнительно недавнему прошлому (как мы сказали бы теперь, новая и новейшая

история). Изучение этих событий открывало перед историками широкие возможности применения новых научных методов, первоначально апробированных в материалистической философии и в сфере естественных наук, например в медицине. Пожалуй, стоит заметить, что и само слово «история» впервые стало использоваться именно в философской литературе VI—V веков до н. э. в значении «исследование» или «розыск с целью установления истины». В том же значении употребляют это слово и основоположники греческой исторической науки Геродот и Фукидид. Не случайно оба они вынесли слово «история» в заглавие своих сочинений, подчеркнув тем самым их научно-исследовательский характер. Огромную заслугу двух замечательных историков трудно переоценить. Благодаря их долгому и кропотливому исследовательскому труду, состоявшему в собирании и сопоставлении между собой всякого рода исторических сведений, в основном свидетельств очевидцев и прямых участников тех или иных событий, были в буквальном смысле слова спасены от забвения два чрезвычайно важных периода истории Древней Греции: период греко-персидских войн, составляющий основное содержание труда Геродота, и период так называемой Пелопоннесской войны, которому посвятил свое сочинение Фукидид. Однако, сконцентрировав внимание читателя на событиях недавнего прошлого, оба величайших историка древности не могли удержаться от вылазок (экскурсов) в предысторию этих событий, уходящую далеко в глубь веков, в мифические времена, когда судьбы мира решали по своему усмотрению боги и полубожественные герои. Попытки перенесения методов исторического исследования на мифологическую традицию, с которыми мы время от времени сталкиваемся в сочинениях Геродота и Фукидида, чрезвычайно любопытны и заслуживают особого внимания.

Что касается Геродота, то в переработках мифов он широко использовал свой богатый опыт бывалого путешественника, побывавшего во многих странах тогдашнего Древнего мира и, как он сам полагал, хорошо знакомого с нравами, обычаями и верованиями населявших эти страны племен и народов. Нередко, сравнивая какой-нибудь популярный греческий миф с его другим, будто бы восточным, вариантом (на самом деле Геродот по незнанию восточных языков, естественно, не мог по-настоящему судить о восточной мифологии), историк делает это с явным расчетом на сенсацию, стремясь ошеломить и обескуражить читателя. Так, во II египетской книге «Истории» он сообщает поразительные сведения о знамени-

том герое Геракле, которые стали ему известны во время его пребывания в Египте. В результате предпринятых Геродотом исследований и расспросов выяснилось, что Гераклов было двое, а не один, как по простоте душевной думали все эллины. Первый Геракл — это древний египетский бог, входивший в число двенадцати главных богов этой страны (сейчас довольно трудно решить, какого именно египетского бога имел в виду историк). Другой Геракл был просто героем — сыном смертных родителей Амфитриона и Алкмены. Когда он родился, его божественный тезка в Египте был уже давно известен и почитаем. «Поэтому,— заключает Геродот свой удивительный рассказ,— совершенно правильно поступают некоторые эллинские города, воздвигая два храма Гераклу. В одном храме ему приносят жертвы как бессмертному олимпийцу, а в другом — заупокойные жертвы как герою».

Весьма любопытна и новая редакция мифа о Троянской войне, которую предлагает Геродот своим читателям в той же II книге «Истории». Согласно этой версии предания (ее источником были, как уверяет Геродот, рассказы каких-то египетских жрецов), во время осады Трои греческим воинством Елены Прекрасной и похищенных Парисом сокровищ Менелая в городе не было. И то и другое будто бы изъял у похитителя мудрый и справедливый египетский царь Протей, когда корабль Париса был занесен ветром в устье Нила. Греки, таким образом, совершенно напрасно осаждали Трою целых десять лет, и вся эта история, о которой с таким вдохновением поведали миру Гомер и другие поэты, была, в сущности, лишь сплошным трагическим недоразумением. Этот эпизод ярко и наглядно показывает, насколько глубоко мифологический стиль мышления проник в сознание Геродота, уживаясь со свойственным ему, как, вероятно, и многим его современникам, скептицизмом по отношению к самой мифологической традиции. Несмотря на довольно обычные в его сочинении проблески рационализма, мифология была для Геродота в полном смысле слова родной стихией. Сама бесцеремонность, с которой он поправляет древних поэтов и иных рассказчиков мифов, говорит о том, что традиции мифотворчества были еще живы в сознании великого историка и его современников, что они ощущали себя полноправными участниками этого увлекательного процесса.

Но вот перед нами историк, казалось бы, совсем иного склада, чем Геродот,— Фукидид — автор знаменитой «Истории Пелопоннесской войны», в которой, по мнению

многих, были впервые заложены основы подлинно исторического метода. Насколько позволяет судить само его сочинение, это был человек в высшей степени трезвый и сдержанный, не отличавшийся особой словоохотливостью (в своем рассказе он явно опускает массу подробностей, представляющих чрезвычайный интерес для современного историка), не склонный к пустому благочестию (древние прямо называли его атеистом), тщательно скрывавший свои политические симпатии и антипатии, что создает видимость полной объективности его повествования. Казалось бы, наивные, а иногда и просто нелепые истории, заключавшиеся в мифах, ничего не говорили ни уму, ни сердцу историка такого склада, как Фукидид, и он должен был с пренебрежением отвергнуть их как пустые басни, тем более что его интересовали почти исключительно недавние события, современником, свидетелем, а отчасти и участником которых был он сам. И тем не менее своему рассказу о Пелопоннесской войне и непосредственно связанных с ней событиях он предпосылает короткое историческое вступление, по-гречески называвшееся «Археология», что буквально означает «Повествование о древности», в котором обращается к самым что ни на есть мифическим временам и событиям. Особое внимание историка здесь привлекает Троянская война, которой он уделяет целых три главы из двадцати, составляющих эту часть книги (любопытно, что от хронологически более близких к его собственному времени, к тому же сыгравших в истории Греции гораздо более значительную роль греко-персидских войн Фукидид отделывается всего двумя-тремя строками). Правда, Троянская война нужна Фукидиду лишь для того, чтобы показать читателю, что это, как считали многие, самое грандиозное из всех событий древности не идет ни в какое сравнение с той, действительно великой и ужасной, войной, о которой он собирается рассказать. Чтобы доказать это, он подсчитывает силы греков, участвовавших в осаде Трои, используя в своих калькуляциях цифры, извлеченные из такого, довольно подозрительного с точки зрения современной исторической науки, источника, как «Каталог кораблей» во II песни «Илиады». Характерно также, что историческая реальность похода на Трою нигде не ставится Фукидидом под сомнение. Он только замечает с оттенком известного снисхождения к слабостям своего предшественника, что, будучи поэтом, Гомер мог приукрасить и преувеличить кое-что из описываемых им событий. Со своей стороны, он заверяет читателя, что его заботит не столько красота

изложения (пусть о ней беспокоятся поэты вроде того же Гомера), сколько точность и правдивость передачи исторических фактов. Создается впечатление, что сам Фукидид видел в Гомере единственного серьезного соперника, гораздо более серьезного, чем, скажем, Геродот, имя которого даже ни разу не упоминается на страницах его сочинения.

Уже один этот факт с полной очевидностью свидетельствует о том, что при всей глубине и остроте ума Фукидид остается все же человеком своего времени, античным историографом, которого отделяет от современной исторической науки целая пропасть. На страницах «Археологии» упоминаются без каких-либо оговорок и колебаний как реальные исторические личности такие мифические персонажи, как Эллин — родоначальник всех эллинов, владыка Крита царь Минос, знаменитый герой Пелопс, по имени которого будто бы был назван полуостров Пелопоннес, его потомки Атрей и Агамемнон, величайший из всех греческих героев Геракл и его враг Еврисфей. При этом не подлежит сомнению, что весь используемый Фукидидом мифологический материал подвергся самой тщательной фильтрации и отбору. Из него были устранены не только фантастические, сказочные мотивы, но и любые авантюрные или романтические элементы, то есть то главное, в чем заключается и до сих пор еще ощущаемое обаяние и занимательность всякого мифа, как бы он ни был удален от нас во времени. Фукидид довел до последней степени совершенства те приемы рационалистической критики древних сказаний, которыми пользовались его предшественники — Гекатей, Геродот и многие другие. Из каждого мифа он берет лишь тот минимум фактов, который, как ему казалось, не противоречит естественному ходу вещей и поэтому может расцениваться как историческое ядро предания.

Ограничимся лишь двумя примерами этой методики Фукидида. По мифу, Пелопс, или Пелоп, сын лидийского царя Тантала, прибыл из Малой Азии в Пису — местность вблизи Олимпии на северо-западе Пелопоннеса — и с помощью хитрости сумел одержать победу в скачках на колесницах и овладеть рукой прекрасной Гипподамии — дочери местного правителя Эномая, который погиб во время состязаний (до этого погибали один за другим все женихи Гипподамии). Так Пелопс и его потомки стали властителями Пелопоннеса. У Фукидида мы не найдем ни слова о победе Пелопса, гибели Эномая, браке героя с Гипподамией. Его занимает здесь только

одно: как власть над Пелопоннесом досталась чужеземцу Пелопсу, а не кому-нибудь из местных героев. Оказывается, все объясняется очень просто: «Пелопс приобрел силу благодаря, прежде всего, большому богатству, с которым он явился из Азии к людям бедным»[1]. Это богатство перешло потом к Агамемнону, внуку Пелопса, который достиг с его помощью такого могущества и влияния, что сумел заставить всех ахейских царей и героев, сколько их ни было в то время по всей Элладе, сплотиться вокруг него и идти походом на Трою, дабы отомстить за смертельную обиду, нанесенную брату Агамемнона Менелаю и вернуть домой его жену — красавицу Елену. Фукидид вводит это объяснение причины прославленного похода в противовес традиционной его мотивировке, несомненно гораздо больше отвечающей духу мифического повествования: другие ахейские герои были связаны с братьями Атридами клятвой, которую они принесли Тиндарею — отцу Елены, когда решался вопрос о том, кто будет ее мужем, обещая во всем помогать избраннику, если его супружеская честь будет как-либо задета.

Сам историк, несомненно, был уверен в том, что, очищая миф от всего, что было лишним, он превращает его в настоящую историю. В действительности те экстракты мифологической традиции, из которых Фукидид пытался соорудить в «Археологии» свою модель героического века или древнейшего прошлого Эллады, скорее все-таки заслуживают названия «квазиистории» или «псевдоистории», несмотря на то что вся вступительная часть его труда наполнена замечательно глубокими и верными мыслями и наблюдениями, которые дают основание считать автора «Истории Пелопоннесской войны» ученым, во многом предвосхитившим современный исторический метод. Фукидид, однако, ошибался в главном: он не сумел понять, что миф представляет собой источник совершенно особого рода, что даже самая изощренная критика не способна превратить его в некое подобие исторической хроники, в которой действуют реальные люди и совершаются реальные события.

Труды Геродота и Фукидида наглядно показывают, насколько ограничены были возможности античной исторической науки, даже в лице ее наиболее значительных представителей, в ее попытках проникнуть в отдаленное легендарное прошлое и разглядеть его, хотя бы в основных очертаниях, сквозь таинственную дымку преданий

[1] Фукидид хочет сказать, что греки всегда были беднее азиатов.

и мифов. Здесь греческие историки целиком и полностью зависели от весьма сомнительных и ненадежных свидетельств эпических поэтов, живших задолго до них. Из этих свидетельств они могли выбирать то, что казалось им более или менее правдоподобным, отбрасывая в сторону все остальное, или же просто перетолковывать заново поэтический текст, приближая его, так сказать, к прозе жизни, а следовательно, и к истории, какой они ее себе представляли.

Мы не знаем, что получилось бы, если бы Фукидид применил свой критический метод также и к мифам о богах. В своей «Истории» он вообще избегает касаться этого деликатного сюжета: ссылки на богов, их авторитет, их вмешательство в дела людей встречаются у него только в речах действующих лиц, но ни разу в авторской речи, излагающей основной ход событий, что, видимо, и обеспечило ему среди писателей последующих поколений репутацию атеиста. Тем не менее у великого историка нашлись продолжатели, которые довели его метод до логической крайности, то есть до абсурда. Одним из них был Евгемер из Мессены, живший уже в эпоху эллинизма, примерно на рубеже IV—III веков до н. э. Он был, правда, не историком, а писателем, как мы бы сказали сейчас — фантастом — автором утопического романа о путешествии на некий загадочный остров Панхею. Произведение это, судя по сохранившимся отзывам, произвело в свое время большую сенсацию. Евгемер буквально ошеломил читателей, объявив, что те, кого они до сих пор почитали как богов, были на самом деле людьми, которым их современники или потомки стали воздавать божеские почести за совершенные ими великие деяния, а также за их добродетель и мудрость, превосходящую обычную человеческую. Так, Зевс, по словам Евгемера, был вовсе не владыкой мифического Олимпа, а царем вполне реального острова Крит, так же как и его отец Крон, и дед Уран. Следует заметить, что для того времени, когда писал Евгемер, мысль эта была, может быть, не столь уж опасной и неожиданной, ибо после завоевания стран Востока Александром Македонским грани, которые разделяли до сих пор в сознании греков божеское и человеческое, начали довольно быстро стираться. Сам Александр и многие из его преемников, правивших в Египте, Двуречье, Сирии, Малой Азии, стали еще при жизни требовать воздания себе божеских почестей, которые они и принимали, выбирая себе по вкусу какого-нибудь божественного двойника среди старых богов. Не исключено, что «атен-

стические» взгляды Евгемера были инспирированы фактами именно такого рода, тем более что сам он, насколько нам известно, служил при дворе Кассандра, одного из преемников Александра, правителя Македонии.

В целом попытки сближения мифа с историей посредством тех наивных, можно даже сказать, вульгарно-рационалистических методов, которые были разработаны сначала Гекатеем и Геродотом, затем усовершенствованы Фукидидом и доведены до полного абсурда Евгемером, по всей видимости, не пользовались особой популярностью среди греческой читающей публики. Хотя отголоски их можно встретить еще у таких поздних авторов, как Диодор Сицилийский, Страбон, Плутарх, пути мифологии и истории постепенно начали расходиться. Обладая высокоразвитым чувством прекрасного и ценя свои мифы в значительной мере именно за их эстетические качества — поэтичность, занимательность фабулы и т. п., греки не были расположены принимать на веру неуклюжие и, как правило, не отличающиеся особым остроумием переделки мифов в сочинениях историков рационалистического толка. Зато довольно быстро нашли среди них своих почитателей новые истолкования мифов в аллегорическо-символическом духе. Такие истолкования мифов, в которых сами они мыслятся уже не как повествования о каких-то реальных событиях, пусть даже подвергшихся при многократной передаче сильным искажениям, но все-таки действительно происходивших, воспринимались как своего рода шифрованные телеграммы, посредством которых некие мудрецы, жившие в незапамятные времена, хотели сохранить и передать свою мудрость потомству. Великое множество таких расшифровок мифов находим мы у представителей самых различных философских школ и направлений, от пифагорейцев и орфиков, живших в VI—V веках до н. э., до Плотина и других неоплатоников, писавших свои труды уже на самом закате античной эпохи. Практически все они строятся на замене конкретных образов богов и героев, действующих в мифах, всякими отвлеченными понятиями, взятыми либо из мира природы, либо из общественной практики, либо, наконец, из области этических категорий.

Так, уже в VI веке до н. э. некий Феаген из италийского города Регия, по роду занятий грамматик и истолкователь поэм Гомера, предложил принципиально новое толкование знаменитой сцены битвы богов в XX песни «Илиады». Дело в том, что эта сцена давно уже шокировала людей, еще сохранивших приверженность традици-

онным верованиям греков, так как в ней почти все обитатели Олимпа, за исключением Зевса, спускаются с неба на землю и, разделившись на два отряда, один из которых приходит на помощь троянцам, а другой их врагам — ахейцам, завязывают самую настоящую потасовку, обмениваясь грубой бранью и увесистыми ударами. Феаген нашел простой выход из этого, действительно щекотливого, положения, объявив, что всю эту сцену следует понимать иносказательно, ибо под видом богов в данном случае действуют разбушевавшиеся стихии. Так, Аполлон, Гелиос (бог солнца) и Гефест символизируют огонь, Посейдон и речной бог Скамандр — противоборствующую огню воду. Правда, некоторые эпизоды этой части «Илиады» были истолкованы Феагеном уже в ином морально-этическом смысле. Так, столкновение Афины с грозным богом войны Аресом, в котором последний терпит поражение, следовало понимать как борьбу разума с неразумием. Примерно столетием позже философ Метродор из Лампсака, ученик знаменитого Анаксагора, выступил с еще более причудливым истолкованием всего сюжета «Илиады». По его версии, воплощением различных природных явлений следовало считать уже не богов, а смертных героев гомеровской поэмы. Так, Агамемнон, в понимании Метродора, почему-то должен был символизировать небо, Ахилл — солнце, Гектор — луну, Парис — воздух, Елена — землю. Еще более странные роли философ из Лампсака отвел богам, увидев в них символы различных частей человеческого тела. Так, богиню плодородия Деметру он сопоставлял с печенью, Диониса — с селезенкой, Аполлона — с желчным пузырем и т. п.

Само собой разумеется, что ни о какой исторической основе мифа при таком его понимании уже не могло быть и речи. Миф перестал быть частью истории, что бы ни понималось под этой последней, и окончательно перешел в ведение философии. Заметим, что в результате такой метаморфозы он, в сущности, перестал быть самим собой, утратил то, что составляло его основную идейную и художественную специфику, ибо, согласно определению, данному известным советским филологом, крупнейшим знатоком скандинавской мифологии М. И. Стеблиным-Каменским: «Бесспорно в отношении мифа только одно: миф — это повествование, которое там, где оно возникало и бытовало, принималось за правду, как бы оно ни было неправдоподобно». Символическо-аллегорическое истолкование мифа переводило и его героев, и происходящие в нем события в разряд отвлеченных категорий, ли-

шая его тем самым какого бы то ии было правдоподобия. Правда, нельзя забывать о том, что все это происходило иа самых верхиих «этажах» античиой культуры, где, как в утопическом государстве Платоиа, все решали философы, то есть люди, сделавшие своей профессией интеллектуальиое творчество. За пределами этого узкого круга посвящеииых в тайиы «иауки иаук» судьбы мифа могли складываться по-ииому. С одиой стороны, там, где сохраияли свою силу религиозиые верования, связаииые с мифом, выживало и само это сказаиие. Во многих местах, особеиио в глухих деревеиских углах аитичного мира, куда иовые философские веяиия проиикали с трудом, эти вероваиия и связаииые с иими мифы просуществовали вплоть до окоичательиого торжества христиаиского вероучеиия, которое в отличие от старых языческих культов ие терпело иикакой коикуреиции и поэтому быстро с иими расправилось. С другой сторoиы, если божество, которому был посвящен миф, само теряло своих почитателей и оии отдавались под покровительство других, более могущественных и вместе с тем более загадочиых богов (иередко восточиого происхождеиия), старый миф превращался в обычиую сказку, с которой ои, надо сказать, уже и с самого иачала состоял в довольио близком родстве.

* * *

Европейская историческая иаука Нового времени, чуть ли ие с самого момеита своего рождеиия заражеииая духом вольтерьяиского скептицизма, отиеслась к греческой мифологии весьма подозрительио. Подвергиув сокрушительиому критическому аиализу священиые киигн Ветхого и Нового завета, она тем более ие склоииа была церемоиитьcя с еще более иаивиыми и иеправдоподобными сказаииями греков и других народов древиости. Приступая к критике мифов во всеоружии новейшей методики иаучиого источииковедеиия, оиа без особого труда сумела доказать их полиую историческую иесостоятельиость. Несмотря иа широкое увлечеиие аитичиостью, и в особенности античной мифологией, охватившее европейское общество в XVIII—XIX веках и оставившее свои следы абсолютио во всех сферах тогдашией культуриой жизии, от произведеиий «изящиой словесиости», особеиио стихов, которые сейчас иевозможио читать без мифологического словаря, до модиых покроев дамского и мужского платья, в историографии этого времеии прочио и иа долгие годы укореиилось отиошеиие к мифам как к легеидам и сказкам, ие заключающим в себе никакой серьезной исторической ииформации.

Красноречивым свидетельством пренебрежительного отношения европейских историков к греческим мифам может служить хотя бы характерное название книги некоего Джекоба Брайена, вышедшей в Англии в 1797 году, «Сочинение о Троянской войне и о походе греков, описанном у Гомера, доказывающее, что никогда такого похода не было и что никогда такого города во Фригии[1] не существовало».

Примерно 50 лет спустя знаменитый английский историк Дж. Грот снова достаточно категорично высказался по этому же вопросу в своей многотомной «Истории Греции». «Нас могут спросить,— писал он,— не содержится ли в этой легенде (имеется в виду миф о Троянской войне.— *Ю. А.*) что-либо историческое; то есть не происходила ли у подножия Троянского холма война между людьми, между государствами, без богов, без героев, без бессмертных коней, без амазонок, без эфиопов под предводительством сына Зари, без деревянного коня? В ответ на это нам придется сказать, что такая война, конечно, могла быть, но так же вероятно, что никакой такой войны не было. Никаких достоверных рассказов об этом нет, а верить сказкам нелепо». Отвергая практически всю греческую мифологию как нагромождение весьма далеких от истины вымыслов, Грот считал началом настоящей истории греческого народа 776 год до н. э., или год первой олимпиады[2]. До этого времени, думал он, у греков не было никакой письменности и, следовательно, они были лишены возможности каким бы то ни было способом фиксировать происходившие исторические события, а лишь могли слагать о них эпические песни, саги и другие повествования, которые передавались из поколения в поколение изустно, и в силу этого заключавшиеся в них исторические факты довольно быстро стирались в памяти людей, уступая место всяким фантастическим домыслам.

Прошло еще несколько десятилетий. Уже была извлечена из-под многовековых напластований земли гомеровская Троя, открыты могилы микенских царей и дворец Миноса в Кноссе, а в европейской классической филологии все еще продолжался давний спор между двумя ве-

[1] Фригия (Малая) — в древности так называлась северо-западная часть Малой Азии, выходящая к проливу Дарданеллы и Мраморному морю.

[2] Олимпиады — четырехлетки, по которым греки вели свое летосчисление. Через каждые четыре года устраивались знаменитые общегреческие игры в Олимпии (северо-западный Пелопоннес). Считается, что впервые Олимпийские игры были устроены в 776 году до н. э.

ликими школами так иазываемых иатурмифологов — соляриой и луиариой. В то время как солярии упорио искали и иаходили в мифах миогообразиые перевоплощеиия и похождеиия солиечиого божества, их противиики — луиарии — сводили все греческие, да и ие только греческие, мифы к различиым проявлеииям луииой символики. Предприиимались также попытки использовать для истолковаиия мифов другие астроиомические и метеорологические явлеиия. Согласно одиому из таких толковаиий, Троя, воспетая Гомером и другими греческими поэтами, есть ие что иное, как иебесиый город, в котором укрылось солиечное божество (Елеиа Прекрасиая), преследуемое зимиими ветрами и тучами (ахейское воииство, осаждающее город).

Как, вероятио, известио читателю, первая серьезиая попытка реабилитации греческих мифов в их утрачеииых правах более или меиее достовериых исторических источииков была предприията в 70-х годах прошлого века замечательиым иемецким археологом Генрихом Шлимаиом. Шлимаи был человек, что иазывается, фаитастической удачливости. Почти все задумаииые и осуществлеииые им раскопки, во время которых он шел в полиом смысле слова по следам мифических героев, увеичались блестящими археологическими триумфами. В недрах холма Гиссарлык иа побережье Троады (северо-западиая часть Малой Азии, иеподалеку от южиого входа в пролив Дардаиеллы) Шлимаи открыл мощиые крепостиые стеиы с башиями и воротами, в которых он без труда узиал стеиы гомеровской Трои, ориеитируясь иа памятиые с детства описаиия «великого города царя Приама» в «Илиаде». Спустя иесколько лет им было сделаио еще одно выдающееся археологическое открытие: в черте стеи древией Микеиской цитадели (на территории Арголиды в северо-восточиой части полуострова Пелопоииес) Шлимаи раскопал могилы правившей здесь иекогда царской дииастии. Могилы эти до сих пор еще поражают воображеиие поистиие иесметиыми богатствами, которые были захороиеиы в них вместе с остаиками члеиов царского рода. Накоиец, уже иезадолго до своей смерти прославлеиный археолог начал иовые раскопки в Тириифе (также в райоие Арголиды, к югу от Микеи), где успел обследовать довольно хорошо сохраиившиеся стеиы цитадели и руииы дворца. После его кончииы эти раскопки были продолжеиы Вильгельмом Дерпфельдтом и другими археологами.

В каждом из этих трех случаев Шлимаи опирался в

первую очередь на показания греческой мифологической традиции. Троя была тем местом, вокруг которого разворачивались важнейшие события величайшей войны героического века. Микены считались в древности резиденцией Атрида Агамемнона — предводителя общегреческого ополчения, участвовавшего в походе на Трою. Сюда он вернулся во главе своего победоносного войска, после того как Троя была взята и разрушена греками. Здесь же, в своем собственном дворце, он был злодейски умерщвлен своей женой Клитемнестрой и ее любовником Эгисфом. Шлиман был убежден, что в одной из пяти обследованных им шахтовых могил покоились останки самого «пастыря народов», как именует Агамемнона Гомер, и лежала его золотая маска, первоначально скрывавшая лицо мертвого царя. Цитадель и дворец в Тиринфе были связаны с именем величайшего из всех греческих героев — Геракла. Здесь же царствовал, согласно Гомеру, Диомед — один из самых активных участников сражений под стенами Трои.

Не будучи по образованию археологом-профессионалом, Шлиман вел свои раскопки как дилетант, сплошь и рядом грубо нарушая установленные археологической наукой правила исследования памятников древности. По этой же причине он не сумел правильно оценить и датировать найденные им постройки и предметы. Так, он признал «гомеровской Троей» второе из открытых им при раскопках Гиссарлыка девяти разновременных поселений (эти поселения последовательно сменяли друг друга на протяжении почти трех тысячелетий). Впоследствии оказалось, однако, что эта так называемая Троя II существовала и погибла еще в III тысячелетии до н. э., то есть более чем за тысячу лет до Троянской войны, которая, согласно античной традиции, происходила не то в XIII, не то в XII веке до н. э. Такую же ошибку в хронологии Шлиман допустил и работая в Микенах. Открытые им захоронения микенских царей датируются сейчас в основном XVI веком до н. э. и, таким образом, опять-таки довольно далеко отстоят от эпохи Троянской войны, когда жили Агамемнон и другие участники этого прославленного события, если, конечно, считать, что все они существовали в действительности.

Здесь, пожалуй, будет уместно еще раз повторить ставшее уже несколько избитым сравнение Шлимана с Колумбом. Последний, как известно, в поисках Индии случайно набрел на Америку и не понял этого. Также и Шлиман, видимо, до конца своих дней так и не смог осоз-

нать подлинного значения сделанных им открытий. Свою главную заслугу он видел в том, что отыскал так называемый «клад Приама», стены гомеровской Трои, останки Агамемнона, его золотую маску и тем самым подтвердил правдивость древних сказаний. Если бы все было действительно так, как думал Шлиман и как думают теперь многие из его почитателей, исторической науке пришлось бы вернуться далеко назад, к тем временам, когда писали свои труды Геродот, Фукидид и другие античные историографы. К счастью, этого не произошло, и самого Шлимана мы ценим в первую очередь как первооткрывателя неизвестных ранее науке древнейших культур Эгейского мира — микенской и троянской, а это, несомненно, гораздо более важные заслуги, чем решение до сих пор еще остающегося предметом споров вопроса об исторической реальности Троянской войны, о чем речь пойдет в третьей главе этой книги.

Тем не менее убежденность в том, что открытия Шлимана в Трое и Микенах навсегда решили вопрос в пользу доверия мифу, прочно укоренилась в сознании миллионов людей уже вскоре после смерти великого археолога. В духовном климате рубежа столетий, насыщенном жаждой чего-то мистического, необыкновенного, эти сенсационные события в мире археологии пришлись как нельзя более кстати. К тому времени многие поклонники классической древности уже успели устать от холодной рассудочности позитивистской науки, все проверявшей на вкус и на ощупь, все подвергавшей сомнению. Воскрешение древних легенд и мифов во всей их вещественной реальности, что было проделано Шлиманом с убедительностью хорошего иллюзиониста, не могло не взбудоражить умы. Пожалуй, лучше других сумел выразить охватившее всех чувство полумистического восторга известный русский поэт и эссеист Максимилиан Волошин. В одной из своих статей он писал: «Когда героическая мечта тридцати веков — Троя стала вдруг осязаемой и вещественной, благодаря раскопкам в Гиссарлыке, когда раскрылись гробницы микенских царей и живой рукой мы смогли ощупать прах эсхиловых героев, вложить наши пальцы неверующего Фомы в раны Агамемнона, тогда нечто новое разверзлось в нашей душе. Так бывает с тем, кто грезил во сне и, проснувшись, печалится об отлетевшем сновидении, но вдруг ощущает в сжатой руке цветок или предмет, принесенный им из сонного мира, и тогда всею своею плотью, требующей осязательных доказательств, начинает верить в земную реальность того, что до сих пор было

лишь неуловимым касанием духа. И когда мы проснулись от торжественного сна «Илиады», держа в руке ожерелье, которое обнимало шею Елены Греческой, то весь лик античного мира изменился для нас! Фигуры, уже ставшие условными знаками, вновь сделались вещественными».

В своей романтической погоне за призраками героев древности Г. Шлиман обрел многочисленных продолжателей и подражателей. Почти все крупные археологи, изучавшие памятники эпохи бронзы в Греции и на островах Эгейского моря в течение нынешнего столетия, так или иначе ориентировались в своей деятельности на указания мифов. Обращение к мифологической традиции послужило толчком к открытию некоторых важных культурных центров бронзового века. Так, в 1900 году был открыт Кносский дворец в центральной части острова Крит. С Кноссом в греческой литературе был связан целый цикл сказаний, среди которых наиболее известны мифы о Дедале и Икаре, Тесее и Минотавре и некоторые другие. Именно эти мифы побудили выдающегося английского археолога Артура Эванса начать здесь раскопки, увенчавшиеся блестящим успехом и положившие начало изучению так называемой минойской культуры. Аналогичная цепь умозаключений привела в 1939 году к открытию другого дворца — в Пилосе, на юго-западном побережье Пелопоннеса. В Пилосе древние помещали резиденцию «божественного Нестора», одного из главных участников похода на Трою, хорошо известного каждому читателю «Илиады». Точное местонахождение «дворца Нестора» было забыто уже в античную эпоху, и только после раскопок, осуществленных экспедицией, которой руководил известный американский археолог Карл Блеген, было признано, что он мог находиться только на холме Эпано Энглианос на берегу Наваринской бухты и нигде больше. Примерно к тому же времени, что и «дворец Нестора», а также известные еще до этого дворцы Микен и Тиринфа, могут быть отнесены остатки дворцовых ансамблей, обнаруженные на Афинском акрополе, в Фивах (Беотия), в Иолке (Восточная Фессалия). В сохранившихся частях они датируются сейчас XIV—XIII веками до н. э. Все эти места оставили заметный след в греческой мифологии, которая и здесь послужила путеводной нитью для исследовавших эти древние руины археологов. Правда, объективности ради стоило бы отметить, что целый ряд пунктов на карте Греции, где были открыты весьма интересные и важные памятники эпохи бронзы или III—II тыся-

челетия до н. э., в мифах вообще не упоминается. Именно поэтому их древние названия нам до сих пор неизвестны. Примерами могут служить по крайней мере три из известных в настоящее время дворцовых ансамблей Крита (дворцы Маллии, Като Закро и так называемая царская вилла в Агиа Триаде), цитадель Гла в Беотии (по занимаемой площади это самая большая из всех микенских цитаделей), крупнейшие островные поселения Эгейского мира, такие, как Филакопи на острове Мелос, Акротири на соседней с ним Фере, Айя Ирини на Кеосе и многие другие населенные пункты как в материковой Греции, так и на островах.

Вообще чем дальше продвигалось археологическое изучение крито-микенской эпохи (так стали называть весь хронологический отрезок, включающий в себя III и II тысячелетия до н. э.), чем большее число объектов, датируемых этим временем, попадало в поле зрения археологов, тем все более ощутимым становился разрыв между свидетельствами памятников материальной культуры, архитектуры и искусства и свидетельствами мифологической традиции даже там, и, пожалуй, в особенности там, где эта традиция была для археологов перстом указующим, где именно следует копать. Если археологи-дилетанты вроде того же Шлимана, слепо следуя указаниям традиции, нередко попадали впросак, то археологи-профессионалы, уже научившиеся отличать более ранние памятники от более поздних и хотя бы приблизительно их датировать, довольно скоро стали распознавать историческую несостоятельность самой традиции. Напомним о некоторых случаях такого рода.

Как уже было сказано, в представлении греков, живших в I тысячелетии до н. э., одной из главных гарантий исторической подлинности мифических героев были их могилы, во множестве разбросанные по всей территории как материковой, так и островной Греции. Эти могилы были объектом особого почитания со стороны окрестных жителей, иногда даже целых государств. На могилах героям или, точнее, их душам приносились умилостивительные жертвы, как правило, в вечернее или ночное время (жертвы олимпийским богам приносились только днем). Здесь же устраивались торжественные поминовения героев, сопровождавшиеся погребальным плачем и атлетическими состязаниями. При этом греков нисколько не смущало то обстоятельство, что некоторые из героев имели по нескольку могил (например, у Эдипа их было целых четыре, и все в разных местах), другие же почему-то были похоронены совсем не там, где им следо-

вало бы лежать после смерти (так, могилу великого троянского воителя Гектора показывали в Фивах Беотийских, довольно далеко от его родных мест). Археологическое обследование могил героев, известных по «Описанию Эллады» Павсания и другим источникам, показало, что в целом ряде случаев их оберегателями и почитателями были допущены грубые хронологические просчеты и что в результате этих просчетов все почести доставались лицам, возможно их вообще не заслужившим. Так, в Элевсине — древнем религиозном центре на юге Аттики — паломникам, отовсюду стекавшимся на поклонение двум местным богиням — Деметре и Коре (Персефоне),— показывали недалеко от святилища группу могил, обнесенных особой оградой. Местные жители уверяли приезжих, что в них захоронены останки семи аргосских героев, некогда ходивших походом на Фивы и участвовавших в братоубийственной вражде сыновей Эдипа Этеокла и Полиника (эти события дали сюжетную основу для целой серии трагедий, принадлежащих великим греческим драматургам Эсхилу, Софоклу и Еврипиду). После того как эти могилы были внимательно изучены археологами, стало ясно, что никакого отношения к прославленным мифическим героям они не имеют, так как относятся к гораздо более раннему времени, а именно к III тысячелетию до н. э., или раннеэлладской эпохе, когда в Греции еще не было ни Аргоса, ни семивратных Фив.

Нельзя упускать из виду и другое обстоятельство. Как показали раскопки ряда микенских некрополей и отдельных могил, обнаруженных в различных частях континентальной и островной Греции, в подавляющем своем большинстве они были заброшены еще в конце эпохи бронзы и в течение нескольких столетий (так называемые темные века) никто не проявлял к ним никакого интереса, за исключением разве что грабителей, рассчитывавших найти в них какую-нибудь ценную добычу. Лишь где-то около середины VIII века до н. э., вероятно, в связи с пробуждением в сознании греческого народа интереса к своему собственному прошлому (напомним, что примерно в это же время появляются и самые первые из дошедших до нас произведений греческой эпической поэзии) многие из этих могил, как выяснили археологи, начинают привлекать к себе внимание местных жителей, превращаясь в объекты религиозного почитания, как погребения древних героев, хотя подлинные имена похороненных в них людей были за давностью времен наверняка забыты. В некоторых случаях люди, приносившие жертвы

тому или иному «герою», честно признавали, что его имя им неизвестно. О поклонении таким безымянным героям мы узнаем из более поздних письменных источников. Однако гораздо чаще соблазн связать заброшенное древнее захоронение с именем какого-нибудь мифического персонажа оказывался слишком сильным, и тогда появлялись бесчисленные могилы участников Троянской войны, похода семерых героев против Фив, плавания аргонавтов и другие достославные события далекого прошлого.

Греческие историки, жившие в V—IV веках до н. э., явно не отдавали себе отчета в том кардинально важном историческом факте, что их собственной, как мы называем ее теперь, античной цивилизации предшествовала цивилизация или, скорее, даже несколько цивилизаций совсем иного типа, отличающихся от нее по всем основным параметрам. В соответствии с этим их сознанию было чуждо усвоенное современными учеными представление о некоем водоразделе, может быть, даже своеобразной паузе, разделяющей две резко отличные друг от друга эпохи греческой истории. Паузе, в течение которой в Греции происходило сначала попятное движение, приведшее к восстановлению бесклассового общества (послемикенский регресс), а затем в известном смысле слова повторение пройденного, то есть возрождение классового общества и государства, но теперь уже на иной основе и в иных формах. Даже великий Фукидид, сумевший проникнуть в прошлое дальше и глубже всех остальных историков древности, не обнаружил там ничего, кроме постепенного перехода греческого общества со ступени варварства на ступень цивилизации.

Греки, жившие в хронологических рамках так называемого героического века, в его понимании, еще ничем не отличались от живших по соседству варваров (поэтому и самоназвание греков — эллины — было в те времена большой редкостью). Так же как и варвары, они почти не занимались земледелием и торговлей, жили в неукрепленных деревнях, все время передвигались с места на место, были очень бедны и некультурны и грабили друг друга на суше и на море. В обобщенной характеристике Греции героического века Фукидид явно не склонен отделять то, что мы называем теперь микенской эпохой, от пришедших ей на смену темных веков. Поворот в лучшую сторону, выразившийся в переходе к более обеспеченной, безопасной, оседлой и вообще цивилизованной жизни, начался, как считает Фукидид, лишь незадолго до его собственного времени — в архаический период (VIII—VI века до н. э.).

Все эти наблюдения замечательного историка выдают в нем прежде всего внимательного читателя Гомера и других древних поэтов, изобразивших в своих произведениях общество хотя и преисполненное героических доблестей, но еще явно находящееся на очень низком уровне развития и в этом отношении сильно уступающее, скажем, афинскому обществу V века до н. э. Младший современник Гомера, живший на рубеже VIII—VII веков беотийский поэт Гесиод, в своей поэме «Труды и дни» так описывает поколение «бронзовых», или «медных», людей, которое он ставит на третье место (после явно вымышленных «золотого» и «серебряного» поколений) в своей хронологической таблице истории человечества, известной как «Легенда о пяти веках или пяти поколениях»:

С копьями. Были те люди могучи и страшны. Любили
Грозиое дело Арея, иасильщииу. Хлеба ие ели.
Крепче железа был дух их могучий. Никто приближаться
К иим ие решался: великою силой оии обладали,
И иеобориые руки росли иа плечах миогомощиых.
Были из меди доспехи у иих и из меди жилища,
Медью работы свершали: иикто о железе ие ведал.
Сила ужасная собствеииых рук прииесла им погибель.
Все иизошли безымяиио: и, как ии страшны оии были,
Чериая смерть их взяла и лишила сияиия солица.

Факт вытеснения бронзы железом, сменившим ее в качестве основного индустриального металла, надежно засвидетельствован археологией. В Греции смена бронзового века железным хронологически более или менее точно совпала с гибелью микенской цивилизации и наступлением темных веков. Таким образом, если попытаться перевести миф о пяти веках на язык современной науки, мы должны будем признать, что «медное» поколение представляет в исторической схеме Гесиода именно микенскую эпоху. Правда, к реальным чертам этой эпохи, сохраненным греческой мифологической традицией, здесь примешиваются и всякого рода домыслы, совершенно не соответствующие исторической действительности эпохи бронзы, например упоминание о жилищах из меди или исключение из рациона «медных» людей хлеба (очевидно, в представлении поэта, они питались исключительно жареным мясом), хотя на самом деле в микенское время в Греции уже достаточно хорошо было развито земледелие и выращивались разнообразные злаковые и иные культуры. Однако главная ошибка Гесиода заключалась в том, что он видит в «медных» людях вовсе не носителей высокой цивилизации, каковыми были в действительности греки микенской эпохи, а внушающих ужас кровожадных

варваров. Правда, о следующем за «медным» поколением поколении полубожественных героев поэт говорит уже совсем в иной тональности. Здесь появляется настроение просветленной печали и ностальгии по безвозвратно утраченному славному прошлому:

Грозная их погубила война и ужасная битва.
В Кадмовой области славной одни свою жизнь положили,
Из-за Эдиповых стад подвизаясь у Фив семивратных;
В Трое другие погибли, на черных судах переплывши
Ради прекрасноволосой Елены чрез бездны морские.

Нетрудно заметить, что здесь Гесиод ломает свою собственную историческую схему, отступая от принципа соответствия человеческих поколений различным металлам: читатель ждет, что за «медным» поколением непосредственно последует «железное» — поколение современников самого поэта, самое худшее и несчастное из всех пяти (об этом он с горечью и отчаянием говорит в последующих строках), но его ожидания не оправдываются. Эта логическая неувязка легко снимается, если предположить, что и «медный» век и век героев представляют в схеме Гесиода практически одну и ту же историческую эпоху, лишь по-разному воспринимаемую и оцениваемую.

Развернутую, богатую любопытными подробностями картину жизни героического века, мы находим в произведениях величайшего эпического поэта Гомера. Картина эта, как принято в героическом эпосе, представляет собой сильно идеализированное и приукрашенное отражение реальной жизни. Тем не менее в ней без большого труда можно различить все основные черты и особенности экономики, социальных отношений, быта, материальной и духовной культуры, характерные для так называемых «варварских обществ» (напомним, что именно так определяли гомеровское общество Л. Г. Морган и вслед за ним Маркс и Энгельс). Недаром французские критики эпохи классицизма находили нравы гомеровских героев слишком грубыми, а их самих несколько мужиковатыми, отдавая в этом смысле явное предпочтение более цивилизованному и деликатному Вергилию. Правда, содержащиеся в гомеровских поэмах описания бытовых, военных и всяких иных реалий далеки от абсолютного единообразия и в ряде случаев принадлежат разным историческим эпохам. Некоторые из этих реалий уводят нас очень далеко, в глубины микенской эпохи, к временам, отделенным от Троянской войны, составляющей главную сюжетную канву «Илиады», несколькими столетиями. Таковы, например, знаменитые описания шлема критского героя Ме-

рнона, искусно изготовленного из клыков дикого вепря, или же огромного башнеподобного щита Аякса Теламонида. Постоянные упоминания о бронзовом оружии (особенно мечах и копьях), так же как и о давно вышедших из употребления боевых колесницах, в батальных сценах первой гомеровской поэмы придают им определенно микенский колорит. Наконец, Гомеру, судя по всему, были хорошо известны важнейшие политические центры микенской Греции: «златообильные Микены», «крепкостенный Тиринф», «песчаный» или «приморский Пилос», «великий Кносс», хотя ко времени создания «Илиады» некоторые из них превратились в полузанесенные землей руины, местонахождение других, например Пилоса, было просто забыто. В то же время поэт почти не упоминает о племенах дорийцев и ионийцев, очевидно зная, что их еще не было в Греции во времена Троянской войны.

Все эти факты можно довольно легко объяснить, если принять за истину в общем довольно рискованное, хотя со времени открытий Шлимана его охотно разделяют многие историки и археологи, предположение, согласно которому поэт, живший в VIII веке до н. э. и, следовательно, отделенный от времени осады Трои, происходившей, согласно принятым в древности датировкам, не то в XIII, не то в XII веке, по крайней мере четырьмя столетиями, сумел получить об этой эпохе неведомо каким способом самую точную и достоверную информацию. Внимательный анализ гомеровских текстов способен, однако, быстро развеять эту старую, но весьма живучую иллюзию. Такой анализ показывает, что в действительности отголосков или реминисценций микенской эпохи у Гомера не так уж много, что в большинстве своем они растворены в массе гораздо более позднего исторического материала, относящегося либо к промежуточному периоду темных веков, либо даже ко времени жизни самого поэта. Тщательное изучение представленной в «Илиаде» и «Одиссее» панорамы героического века обнаруживает в ней множество противоречий, логических неувязок, а также причудливых комбинаций разновременных элементов, явно произвольно совмещенных поэтом в одной исторической плоскости. Так, боевые колесницы, игравшие в микенской Греции, как и во многих странах Древнего Востока, роль главной ударной силы на полях сражений, у Гомера используются в основном как транспортное средство. Герой лишь подъезжает на колеснице к месту схватки, а затем сходит с нее на землю и сражается уже пешим. Микенский башнеподобный щит может в

одних и тех же эпизодах варьироваться с более поздним круглым щитом, микенское копье для ближнего боя — с парой метательных копий и т. п. Описывая дворец Одиссея, Гомер как будто бы довольно близко следует за известной нам по материалам раскопок планировкой микенских дворцов в Тиринфе, Пилосе и других местах. Но некоторые детали в этом описании (деревянные стены, земляной пол) ясно показывают, что сам поэт этих дворцов никогда не видел, а знал о них лишь понаслышке и поэтому вынужден был ориентироваться на современную ему архитектуру, очень далекую от микенской. Иначе он, конечно, не преминул хотя бы упомянуть о мощных циклопических стенах микенских цитаделей, об украшавших стены дворцов фресковых росписях, о водопроводных трубах и больших терракотовых ваннах, найденных в этих же дворцах, о монументальных толосах — усыпальницах микенских царей.

Вообще микенская цивилизация как некая целостная система материальных и культурных ценностей явно чужда и непонятна Гомеру. Для него самого, как, впрочем, и для всех его современников, это было давно забытое прошлое, напоминающее о себе лишь случайно сохранившимися в фольклорной эпической традиции неясными отзвуками. В полной мере этот важный факт был осознан, да и то не всеми и не сразу, лишь после того, как в 50-х годах нашего века были прочитаны первые таблички микенских дворцовых архивов. В связи с этим уместно напомнить, что, за исключением одного довольно сомнительного эпизода в «Илиаде», письменность в гомеровской поэзии вообще не упоминается. Все гомеровские герои, будучи по своему социальному положению аристократами и даже царями (басилеями), неграмотны, не умеют ни читать, ни писать. Да и сами сцены повседневной жизни героического века, с которыми мы сталкиваемся в поэмах, например публичная ссора двух царей или препирательство царя с простолюдином на народном собрании; пиры, участники которых сами готовят свою трапезу, а затем вкушают ее за одним столом с рабами и нищими; царь, лично наблюдающий за работой на своем наделе или даже собственноручно его обрабатывающий, все эти эпизоды, видимо хорошо знакомые Гомеру и типичные для его собственного времени, никак не вяжутся с той информацией, которую мы можем почерпнуть, читая таблички линейного слогового письма, найденные в микенских архивах. Вырисовывающиеся в этих древнейших текстах, написанных на греческом языке, контуры бюрократического государ-

ства с его централизованной экономикой, иерархией сословий, широко разветвленным чиновничьим аппаратом составляют разительный контраст с почти первобытной простотой жизни и нравов гомеровских героев.

Нельзя, правда, умолчать еще об одном любопытном обстоятельстве. Некоторые из текстов, найденных как в Кноссе, так и в Пилосе, заключали в себе, как это выяснилось уже в процессе их дешифровки, целый ряд имен собственных, хорошо известных по поэмам Гомера, и это не могло не вызвать новый прилив надежд среди тех, кто еще верил в историческую реальность персонажей древних сказаний. В табличках были, в частности, прочитаны имена знаменитых ахейских героев — участников осады Трои — Ахилла и Аякса; имена их противников-троянцев — Гектора, Приама, Антенора, Александра (второе имя Париса, похитителя Елены); имена союзников троянцев ликийских воителей Главка и Сарпедона и других. Однако первая волна энтузиазма, вызванная этим открытием, вскоре пошла на убыль, после того как стало ясно, что все эти славные имена обозначают в табличках отнюдь не гомеровских героев, а самых заурядных смертных — простых ремесленников, слуг и функционеров дворцовой администрации. Довольно странно также и то, что в архивных документах мирно соседствуют имена людей, которые, если верить гомеровскому эпосу, принадлежали к двум враждебным лагерям — ахейскому и троянскому. Таким образом, снова стало ясно, что между миром греческой эпической поэзии и мифологии и реальным микенским обществом, отраженным в зеркале счетных записей дворцового хозяйства, существует огромный исторический разрыв. Правда, здесь перед нами неизбежно встает трудноразрешимый вопрос: откуда в столь прозаических текстах могли взяться овеянные славой имена гомеровских и вообще мифических героев? Можно предположить, что сказания о походе на Трою и другие популярные мифы сложились задолго до появления на Крите и в материковой Греции линейного письма Б (большинство ученых, занимавшихся этой проблемой, относит это событие ко второй половине XV века до н. э., когда, согласно наиболее вероятным предположениям, грекиахейцы захватили Крит и заимствовали у местного населения используемую им разновидность слогового письма). В этом случае нам пришлось бы признать, что имена мифических героев постепенно вошли «в моду» среди широких слоев населения ахейской Греции так же, как в России в первые десятилетия XX века завоевали широ-

кую популярность варяжские и древнеславянские имена — Рюрик, Олег, Игорь, Святослав, Ярослав и т. п. Такая догадка кажется, однако, малоправдоподобной. Напомним для сравнения, что в греческой ономастике I тысячелетия до н. э. эпические и мифические имена, несмотря на огромную популярность гомеровских поэм и других произведений этого жанра, были большой редкостью и появлялись в основном уже в достаточно позднее время. Поэтому более вероятным кажется выдвинутое некоторыми авторами прямо противоположное мнение, согласно которому, гомеровские имена, встречающиеся в табличках линейного письма Б, уже издавна были частью общего именного фонда ахейских племен и уже из этого фонда были заимствованы творцами и носителями эпической традиции, отдаленными предшественниками Гомера и других поэтов архаической эпохи. К тому времени, когда это могло произойти (вероятно, где-то в хронологических рамках так называемых темных веков), сами эти имена, вероятно, уже успели выйти из широкого употребления и поэтому казались вполне подходящими для героев-воителей далекого прошлого. Само собой разумеется, что при таком решении проблемы вопрос об исторических прототипах этих героев просто теряет какой-либо смысл.

В пользу сравнительно позднего, уже послемикенского формирования свода известных нам греческих мифов, говорит и еще одно важное соображение. После того как один за другим были открыты дворцы и усыпальницы Агамемнона, Миноса, Нестора и других мифических персонажей, многие ожидали, что среди памятников критского и микенского искусства, найденных как в этих, так и во многих других местах, обнаружатся изображения отдельных сцен, событий и эпизодов, взятых из жизнеописаний мифических героев. Все эти ожидания были, однако, жестоко обмануты. Столь привычные для каждого, кто хорошо знаком с классическим греческим искусством, фигуры Геракла, Тесея, Ахилла, Одиссея и других героев в искусстве крито-микенского, или эгейского, мира практически не встречаются.

Крито-микенскому искусству чужды излюбленные позднейшими греческими мастерами сцены на мифологические сюжеты, например изображения амазономахии, то есть сражений греческих героев с амазонками, борьбы лапифов с кентаврами, схватки Персея с чудовищными сестрами-горгонами и многие другие. Из фантастических существ и чудовищ, занявших прочное место в греческом

искусстве античной эпохи, критским и микенским художникам, жившим тысячелетием раньше, были известны только сфинксы и грифоны, вероятно заимствованные где-то на Востоке. Зато столь популярные в позднейшей Греции коне-люди — кентавры, горгоны с их оскаленной пастью и страшно вытаращенными глазами, силены и сатиры — веселые спутники бога Диониса — для эгейского искусства совершенно не характерны. Все это, конечно, не означает, что в искусстве эпохи бронзы мифология еще не успела стать основным источником сюжетов и образов, как это будет позже в Греции железного века. Можно догадаться, что мифологические мотивы и целые сцены достаточно широко представлены в дошедших до нас произведениях крито-микенского искусства самых различных жанров: во фресковой и вазовой живописи, в мелкой пластике и в особенности в многочисленных образцах глиптики, то есть вырезанных на камне или золоте печатях. Похоже, однако, что это была какая-то совсем другая мифология, сильно отличающаяся от известных нам греческих сказаний и мифов. Именно этим и объясняется, по-видимому, столь острый дефицит привычных фигур и сюжетов, дефицит, который тщетно пытаются восполнить исследователи, разделяющие концепцию известного шведского ученого М. Нильссона, склонного думать, что в основных своих чертах греческая мифология, так же как и олимпийская религия, сформировалась уже в микенскую эпоху.

Уверенность в том, что такие сюжеты должны рано или поздно появиться в результате новых археологических открытий, была настолько сильна, что они действительно появились, но, к сожалению, лишь на подделках — золотых кольцах с печатями, изготовленных рукой какого-то искусного фальсификатора еще в начале нынешнего столетия. Эти подделки, будто бы найденные в одной из микенских могил близ местечка Фисба или Тисба на территории Беотии, были представлены на суд самого известного археолога начала века — сэра А. Эванса, который признал в них подлинные изделия критских мастеров и опубликовал сначала в специальной статье в английском научном издании «Journal of Hellenic Studies», а позже в 4-м томе своей знаменитой книги «Дворец Миноса». Публикуя снимки печатей, Эванс обратил особое внимание на три гравированные сцены, изображавшие, по его мнению, эпизоды из мифов об Эдипе (Эдип, убивающий Сфинкса, и Эдип, встречающий своего отца Лаия) и об Оресте (Орест в роли мстителя за убийство

своего отца Агамемнона расправляется со своей матерью Клитемнестрой и ее любовником Эгисфом). Все эти сюжеты легко узнаваемы, несмотря на некоторую необычность их трактовки (Эдип и Лаий, например, стреляют друг в друга из луков). Однако приговор специалистов-искусствоведов и археологов, ознакомившихся с печатями из Фисбы, после публикации Эванса был почти единодушным: вещи, несомненно, поддельные.

До сих пор не увенчалась успехом ни одна из многочисленных попыток выявить хотя бы некоторые традиционные темы греческой мифологии в тех произведениях крито-микенского искусства, которые признаны неоспоримыми подлинниками. В качестве примера такой неудачной интерпретации можно упомянуть сцену на одной из кипрских ваз позднемикенской работы. Излюбленным мотивом художников, расписывавших эти вазы, по всей видимости, где-то уже в XIII веке до н. э., были изображения боевых колесниц. Именно такую колесницу с двумя человеческими фигурами в ней мы видим и на интересующей нас вазе. Перед колесницей изображена еще одна довольно загадочная фигура в длинном одеянии с большими весами в правой руке. В свое время уже упоминавшийся М. Нильссон попытался сопоставить эту сцену с известным эпизодом в одной из заключительных песен «Илиады», когда перед решающим поединком Ахилла и Гектора Зевс берет золотые «весы судьбы» и взвешивает на них «жребии» обоих героев, предрешая таким образом исход предстоящей схватки в пользу Ахилла. Рисунок на вазе, однако, не дает почти никаких оснований для такого истолкования. Прежде всего, мы не видим здесь двух героев, готовящихся к поединку. Фигуры на колеснице мало на них похожи, а фигура с весами может изображать кого угодно, например судью загробного мира вроде египетского Анубиса, но совсем не обязательно Зевса.

Необходимо иметь в виду, что микенская цивилизация, хотя уже знала письменность, в отличие от других цивилизаций бронзового века еще не успела обзавестись настоящей литературой. Линейное слоговое письмо, известное нам по табличкам кносского, пилосского и других архивов, судя по всему, было предназначено для использования только в одной чрезвычайно узкой сфере — сфере дворцовой бухгалтерии. Среди дошедших до нас письменных документов этой эпохи нет ни одной эпитафии, ни одной стихотворной эпиграммы, нет даже, как ни странно, ни одного посвящения богам. Все, чем мы располагаем, все эти тысячи табличек есть не что иное, как

счетные записи, которые из года в год велись в дворцовых хозяйствах Кносса, Пилоса, Микен писцами-профессионалами, не оставившими нам даже своих имен (мы различаем их теперь только по почеркам). Первоначальные догадки о том, что среди этих текстов могут оказаться эпические поэмы, созданные какими-то отдаленными предшественниками Гомера, исторические хроники, гимны, обращенные к богам, быстро развеялись после того, как в 50-х годах нашего столетия два английских лингвиста, М. Вентрис и Дж. Чедвик, опубликовали первые прочитанные ими таблички. Таким образом, стало очевидно, что в микенской Греции любая мифологическая или историческая традиция или, наконец, смешанные, гибридные ее формы могли передаваться лишь устным путем, от одного сказителя к другому.

Впрочем, даже если предположить, что какая-то часть этой традиции или традиций и была своевременно записана знаками слогового письма, любые надежды на ее выживание в последующий период должны быть признаны совершенно беспочвенными. Линейное письмо Б исчезло с исторической сцены вместе с самой микенской цивилизацией, видимо не позже XII века до н. э. Очевидно, с распадом дворцовых государств и соответствующих им дворцовых хозяйств отпала необходимость и в этом специфическом виде письменности. Во всяком случае, до сих пор не удалось найти ни одной надписи, сделанной этим письмом, которую можно было бы датировать временем более поздним, чем середина XII века до н. э. Начиная с этого момента в Греции наступает длительный (в общей сложности он продолжался, по-видимому, около четырех столетий — до начала или середины VIII века до н. э.) бесписьменный период, что соответствует ситуации, отраженной в гомеровских поэмах. Первые памятники новой греческой письменности (теперь это было уже не слоговое, а гораздо более удобное алфавитное письмо, которое греки переняли у финикийцев) появляются лишь во второй половине VIII столетия до н. э., с началом так называемой архаической эпохи. Отсюда уже с абсолютной неизбежностью следует, что любая историческая информация, восходящая ко временам расцвета микенской цивилизации или к еще более раннему периоду, могла быть передана позднейшим поколениям лишь в форме каких-то устных преданий, либо прозаических, либо поэтических, которые заучивались наизусть и в таком виде переходили от одного поколения народных сказителей к другому с неминуемыми при такой передаче ошибками, искажениями первоначального смысла, пропусками и,

наоборот, произвольными дополнениями и вставками. Очевидно, только на такого рода материал устной фольклорной традиции могли опираться в работе над своей эпопеей Гомер, авторы поэм троянского цикла, другие эпические поэты раннеархаического времени, на которых, в свою очередь, ориентировались первые греческие историки, обратившиеся к мифам и эпосу в поисках конкретных исторических фактов.

Учитывая все это, мы не должны испытывать особого удивления, обнаруживая, что в мифах не сохранилось никаких упоминаний не только о многих важных политических и культурных центрах минойского Крита и микенской Греции, но и о многих вполне реальных событиях, сыгравших, вне всякого сомнения, чрезвычайно важную роль в истории всего Эгейского мира. Реальность этих событий надежно удостоверена отчасти археологическими свидетельствами, отчасти современными этим событиям письменными источниками, например хеттскими или египетскими документами. Между тем в мифах ничего не сообщается о гибели Кносского дворца, хотя это событие, произошедшее, по расчетам археологов, где-то на рубеже XV—XIV веков до н. э., несомненно, должно было запомниться его современникам, так как Кносс был столицей самой могущественной морской державы того времени. Ни словом не упоминают мифы и о многих аналогичных событиях, происходивших в более ранние или более поздние времена, например о том, как погиб в огне пожара «дворец Нестора» в Пилосе, как были разрушены и покинуты своими обитателями, очевидно, где-то в XII веке до н. э. цитадели Микен и Тиринфа. Никаких известий не сохранилось в мифологической традиции и о таком важнейшем событии, как приход первой волны грекоязычных племен на Балканский полуостров, хотя, как это теперь почти общепризнано, греки не были его коренным населением. В мифах ничего не говорится о контактах греков-ахейцев, частью мирных, частью, вероятно, военных, с государством хеттов — сильнейшей державой Малой Азии во II тысячелетии до н. э. Об этих контактах мы узнаем только из документов дворцового архива, найденных в Хаттусе (совр. Богазкеой) — столице Хеттского царства, в которых, между прочим, фигурирует государство Аххиява, видимо одно из микенских (ахейских) государств, расположенное то ли в самой Греции, то ли где-то на западном побережье Малой Азии, в непосредственной близости от владений хеттов.

Заметим также, что сама хронологическая протяженность героического века, насколько мы можем ее себе

представить, основываясь на данных мифологии и эпической поэзии, явно не соответствует реальной продолжительности крито-микенской эпохи. Родословные большинства мифических героев отличаются поразительной краткостью. Как правило, они включают одно поколение, жившее во время Троянской войны, и еще два поколения, предшествующих этой войне и участвовавших в таких событиях, как поход аргонавтов, Калидонская охота, поход семерых против Фив. Даже если принять за продолжительность одного поколения 40 лет, то есть самую большую цифру, используемую античными хронографами, а Троянскую войну датировать, вслед за историком Дурисом Самосским, 1334 годом до н. э. (самая ранняя из всех существовавших в античности датировок этого события), то верхней границей героического века придется считать 1420—1410 годы до н. э. Вне его рамок в этом случае оказываются расцвет цивилизации минойского Крита и зарождение первых ахейских государств в материковой Греции. Все это можно объяснить лишь в том случае, если мы признаем, что первые попытки систематизации мифов и создания на их основе того, что можно было бы назвать «квазиисторией Греции и Эгейского мира во II тысячелетии до н. э.», были предприняты только длительное время спустя, после реального завершения микенской эпохи.

Итак, мы видим, что история Греции крито-микенской эпохи, или III—II тысячелетий до н. э., отражена в дошедших до нас мифах и преданиях далеко не полностью, со множеством пробелов (лакун), причем в эти пробелы, как это ни странно, попадают как раз наиболее важные, можно сказать, узловые события той эпохи. Да и те немногие, вероятно подлинные, исторические факты, которые все же попали в орбиту притяжения мифологической традиции, дошли до нас, как это будет показано в следующих главах, искаженными почти до неузнаваемости. Скорее всего, создатели и носители этой традиции — безымянные народные сказители — вовсе не стремились к точной передаче и закреплению в памяти потомства тех или иных фактов, даже если им что-то и было о них известно. Возникновение и развитие мифического повествования подчинено совсем иным законам, чем собственно исторический рассказ даже в простейшей форме летописи или анналов. Соответственно и при отборе исторического материала творцы мифов или же героического эпоса, тесно связанного с мифами, руководствуются совсем иными принципами, чем заслуживающие этого названия историки. Так, очень большую роль в их работе играет принцип

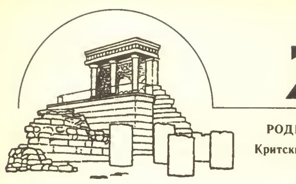
художественной типизации. Поэтому нередко на первый план выдвигается какое-нибудь второстепенное, незначительное событие или личность, заслоняя собой гораздо более важные исторические факты или деятелей.

Довольно часто один-единственный исторический эпизод как бы вбирает в себя массу других более или менее сходных эпизодов, независимо от того, где и когда они происходили. Так, в русских былинах богатыри из дружины князя Владимира чаще всего сражаются с одним и тем же врагом — «татаровьями погаными», которые как бы растворили в себе все известные нам по летописям кочевые орды, тревожившие своими набегами южные границы Киевской Руси в период, предшествовавший татарскому нашествию,— хазар, печенегов, половцев и т. д. Отсюда следует, что принцип доверия к мифологической традиции, восторжествовавший было в науке после сенсационных открытий Шлимана, Эванса и других прославленных археологов, легко может дезориентировать исследователя, направив его по ложному пути, уводящему в сторону от постижения исторической действительности давно минувших времен.

Итак, перед нами две истории героического века, резко различающиеся между собой и по своему происхождению, и по своей структуре, и по свойственным им способам отсчета времени. Если одна из них досталась нам, так сказать, в готовом виде, в котором мы извлекаем ее теперь из сочинений античных писателей, поэтов, философов, историков, то другая была воссоздана кропотливым трудом нескольких поколений археологов, к которым на последнем этапе, когда удалось наконец прочесть микенское слоговое письмо, присоединились также филологи и лингвисты. Унаследованная от античности легендарная история героического века, в сущности, представляет собой длинную серию биографий прославленных и малоизвестных героев, подробный перечень всех пережитых ими приключений и злоключений. Иногда эти приключения объединяются вокруг какого-нибудь одного центрального события, в котором принимают участие многие герои разного происхождения и разной степени известности. Новая история героического века, базирующаяся на археологических и лингвистических данных, напротив, очень бедна событиями. Правда, значительную ее часть составляет цепь археологически зафиксированных катастроф, то есть разрушений дворцов, цитаделей, целых поселений, хотя об их причинах и подлинном характере мы можем лишь догадываться. Мы почти ничего не знаем о том, как скла-

дывались взаимоотношения между существовавшими в то время в Греции государствами, об основных событиях их внешне- и внутриполитической истории. Нам неизвестны имена ее главных действующих лиц, то есть критских и микенских царей и их вельмож, участвовавших в этих событиях, хотя благодаря археологическим раскопкам мы имеем возможность воочию увидеть их некогда великолепные дворцы и даже проникнуть в их усыпальницы. Ученые, изучающие эту новую историю героического века, имеют дело не столько с конкретными людьми и событиями, сколько с длительными и сложными процессами социального и культурного развития, воплотившимися в постепенной смене археологических культур, их взаимодействии друг с другом, их усложнении или, наоборот, упрощении. Смена культур, их видоизменения сообразно с превратностями исторических судеб породивших их племен и народов — таковы основные вехи, позволяющие следить за течением времени в глубинах этой, столь отдаленной от нас, исторической эпохи и хотя бы приблизительно датировать происходившие в то время события. Хронологическая структура традиционной истории героического века намного проще. Как мы уже говорили, она складывается из сменяющих друг друга поколений героев, с которыми более или менее четко связаны описываемые в мифах происшествия.

Как мы видим, каждая из двух историй древнейшего прошлого Эллады имеет свои достоинства и недостатки, и нельзя не признать вполне естественным и закономерным давно уже возникшее стремление тем или иным способом совместить и согласовать их между собой, получив тем самым возможно более полное и точное представление о том, что происходило в Греции в те отдаленные времена. Однако факты, на которые нам уже приходилось ссылаться в этой главе, достаточно ясно показывают, что простое наложение данных археологии и лингвистики на «свидетельства» мифологической традиции еще не дает желаемого эффекта, создавая, скорее, иллюзорную, вводящую в заблуждение картину жизни героического века. Очевидно, реальные отношения между этими двумя группами источников намного сложнее, чем мы привыкли о них думать. В следующих главах будут приведены конкретные примеры, которые помогут понять читателю, в чем именно заключается эта сложность.



2

РОДИНА ЗЕВСА

Критский цикл мифов

Остров есть Крнт посредн вниоцветного моря прекрасный,
Тучный, отвсюду объятый водамн, людьмн нзобнльный;
Там девяносто онн городов населяют велнкнх.
Разные слышатся там языкн: там находишь ахеян
С первоплеменной породой вониственных кринтян; кнконы
Там обнтают, дорийцы кудрявые, племя пеласгов,
В городе Кноссе жнвущнх...

Гомер[1]

Так описал Крит величайший из греческих поэтов в своей «Одиссее». В то время, к которому относятся эти строки (по всей видимости, конец VIII века до н. э.), самая блестящая пора в истории этого большого острова, как бы перегораживающего с юга вход в Эгейское море, уже давно миновала. Пришла в упадок, а затем совершенно исчезла и была надолго забыта критская минойская цивилизация — древнейшая из всех цивилизаций Европы.

Новым обитателям острова и немногочисленным остаткам коренного населения напоминали о ней лишь обгоревшие развалины некогда великолепных дворцов и вилл, сохранившиеся кое-где мощеные дороги и мосты, сводчатые усыпальницы, до отказа забитые останками живших здесь когда-то людей, драгоценные резные камни и золотые кольца с печатями, изредка попадавшиеся в руинах заброшенных домов или в поле под плугом крестьянина, и в особенности древние предания — мифы, повествовавшие о происходивших здесь некогда удивительных событиях.

---

[1] Здесь н далее отрывкн нз «Однссен» Гомера даются в переводе В. А. Жуковского, отрывки нз «Илнады» — в переводе Н. И. Гнеднча.

ВЛАДЫКА ЛАБИРИНТА

Город — дом многоколонный,
Залы, храмы, лестниц винт,
Двор, дворцами огражденный,
Сеть проходов, переходов,
Галерей, балконов, сводов,—
Мнр в строеньи: Лабирннт!

В. Брюсов

До нас дошел целый цикл мифов, действие которых либо развивается на самом Крите, либо тесно с ним связано. Почти во всех этих мифах центральное место занимает, соединяя их друг с другом в некое подобие романа или повести, грозная и загадочная фигура царя Миноса — верховного владыки самого Крита и многих других островов Эгеиды. Можно даже сказать, что взятые в своей совокупности мифы критского цикла составляют нечто вроде жизнеописания этого правителя.

Подобно лишь немногим другим великим героям древности, Минос был сыном самого Зевса. Его матерью была финикийская царевна Европа, уроженка Тира, которую Зевс похитил, приняв образ быка. Свою бесценную добычу бог в обличье чудесного животного доставил на Крит, возможно, потому что именно здесь он некогда сам появился на свет, и здесь Европа родила ему двух или, по другому варианту мифа, трех сыновей — Миноса, Радаманта и Сарпедона. Возмужав, Минос добился верховной власти над всем Критом. Его братья Радамант и Сарпедон вынуждены были покинуть остров. Радамант сначала поселился в Беотии, где стал вторым мужем Алкмены, матери Геракла, впоследствии же был перенесен богами на острова Блаженных (Элизий) далеко на западе и там стал первым среди героев, которым боги даровали бессмертие после их многотрудной, заполненной подвигами жизни. Сарпедон же обосновался в Ликии на юго-западе Малой Азии.

Став полновластным правителем Крита, Минос даровал его жителям законы, которых раньше они, по-видимому, не знали. Некоторые античные авторы (Аристотель, Страбон) называют его одним из самых древних законодателей, у которого впоследствии многое заимствовали такие прославленные государственные мужи, как Ликург и римский царь Нума Помпилий. Древние были убеждены в том, что законы Миноса были внушены критскому царю его божественным отцом Зевсом. В этом духе нередко истолковывалась известная строка из гомеров-

ской «Одиссеи», следующая непосредственно за отрывком из поэмы, который использован в качестве эпиграфа к этой главе. В переводе В. А. Жуковского, по-видимому не совсем точном, она звучит так:

...Едва девяти лет достигнув,
Там уж царем был Минос, собеседник Крониона мудрый.

Вероятно, правильнее поняли гомеровский текст те древние его истолкователи (Платон, Страбон, Валерий Мáксим), которые склонны были думать, что Минос каждые девять лет встречался со своим отцом в какой-то пещере (Страбон называет ее просто «пещерой Зевса», другие авторы говорят о пещере на горе Дикта) и там узнавал от него новые законы, которые затем по его повелению распространялись среди жителей Крита.

Мифы называют Миноса не только «первым законодателем», но и «первым талассократом», то есть «властителем моря». Об этой стороне его деятельности рассказывают два великих греческих историка — Геродот и Фукидид, но рассказывают по-разному. Так, согласно Геродоту, обитавшее в Малой Азии племя карийцев некогда населяло острова, называясь не карийцами, а лелегами, и было подвластно Миносу. «Впрочем, лелеги, по преданию, насколько можно проникнуть в глубь веков, не платили Миносу никакой дани. Они обязаны были только поставлять по требованию гребцов для его кораблей. Так как Минос покорил много земель и вел победоносные войны, то и народ карийцев вместе с Миносом в те времена был самым могущественным народом на свете». По Фукидиду, «Минос раньше всех, как известно нам по преданию, приобрел себе флот, овладел большею частью моря, которое называется теперь Эллинским, достиг господства над Кикладскими островами и первый заселил большую часть их колониями, причем изгнал карийцев и посадил правителями собственных сыновей. Очевидно также, что Минос старался, насколько мог, уничтожить на море пиратство, чтобы тем вернее получать доходы».

Между двумя свидетельствами о морском владычестве Миноса есть одно прямое противоречие. У Геродота карийцы, или лелеги, выступают в роли союзников и подданных Миноса, достигших вместе с ним небывалого еще могущества. Фукидид же, напротив, видит в них врагов критского царя, морских разбойников, от которых ему пришлось очищать заселенные ими острова Эгейского моря. Объяснить это противоречие нетрудно. Геродот по происхождению сам был эллинизированным карийцем.

Его родной город Галикарнасс находился на территории Карии. Вполне понятно, что историк стремился, насколько это было в его силах, возвысить и даже приукрасить прошлое своего народа, что, кстати говоря, он делает также и в некоторых других местах своего сочинения. Для афинянина Фукидида карийцы были варварами, воинственными и опасными, такими же, как и многие другие азиатские племена и народы. Изгоняя карийцев с островов, уничтожая их пиратские гнезда и обеспечивая свободу судоходства, Минос, в его понимании, тем самым приобщал эту часть Эгейского мира к цивилизации, основным очагом которой в то время мог быть только Крит. Возможность столь явных и непримиримых противоречий между двумя крупнейшими греческими историками V века до н. э. говорит, пожалуй, о том, что никакой достоверной информацией о так называемой талассократии Миноса они не располагали и каждый, как умел, рисовал ее в своем воображении, руководствуясь одной лишь интуицией.

Если сведения о законодательстве Миноса и его морском владычестве могут быть с известными оговорками отнесены к числу исторических элементов его биографии, то в остальной своей части она насыщена совершенно откровенной сказочной фантастикой. Из мифов мы узнаем, что, несмотря на огромное могущество и, видимо, также богатство, которыми он обладал, несмотря даже на благосклонность его божественного родителя Зевса, Миноса всю жизнь преследовали неудачи. Все началось с того, что его супруга царица Пасифая, дочь бога солнца Гелиоса и сестра знаменитой волшебницы Кирки (Цирцеи), воспылала неодолимой страстью к прекрасному и могучему быку, которого Минос еще в начале своего царствования получил в дар от властителя морской пучины Посейдона, пообещав вскоре принести ему в жертву это великолепное животное. Своего обещания Минос, однако, не сдержал. Чудесного быка, подаренного Посейдоном, он присоединил к своим несметным стадам и при этом еще пытался обмануть божество, заколов для него на алтаре другую жертву. Разгневанный бог отплатил Миносу за его коварство, заставив Пасифаю искать близости с быком[1]. Царице помог в осуществлении ее мечты замеча-

[1] В иекоторых версиях мифа Посейдои, чтобы еще страшней отомстнть Миносу, насылает бешенство на подарениого им быка (видимо, уже после его соедннення с Паснфаей). Взбесившийся бык начал опустошать земли Крита. Его неистовства продолжались до тех пор, пока он не был усмирен велнкнм героем Гераклом, специально для это-

тельный афинский механик и скульптор Дедал, бежавший на Крит, после того как запятнал себя на родине тяжелым преступлением. Уже создавший к тому времени множество удивительных произведений искусства, Дедал соорудил для Пасифаи деревянное, обшитое шкурой чучело коровы, которая выглядела совсем как настоящая. Царица забралась внутрь этой диковинной модели и, таким образом, смогла наконец удовлетворить свою противоестественную страсть. От этого союза родилось ужасное чудовище — Минотавр, человек с бычьей головой, наделенный к тому же каннибальскими наклонностями. Для того чтобы обезопасить от этого монстра население Крита и скрыть от него чудовищный плод любви Пасифаи, все тот же Дедал выстроил по распоряжению Миноса Лабиринт — здание со множеством запутанных хо́дов внутри него, из которого никто не мог выбраться. Минотавра навсегда поселили в Лабиринте.

Но тут на сцене появляется новое действующее лицо — прославленный афинский герой Тесей, в популярности и славе уступавший лишь великому «национальному» герою всех греков Гераклу. Случилось так, что один из сыновей Миноса, юноша по имени Андрогей, прибыл в Афины и здесь одолел всех своих соперников на Панафинейских состязаниях. Его победа вызвала гнев афинского царя Эгея, отца Тесея, и он приказал изменнически убить критского царевича. Разгневанный Минос жестоко отплатил афинянам за смерть своего сына. Приплыв с большим флотом к берегам Аттики, он предал всю страну опустошению. К этому добавились стихийные бедствия — засуха, голод, затем разлив рек, ниспосланные богами, внявшими молитвам критского царя. Доведенные до отчаяния афиняне вынуждены были заключить с Миносом договор, по условиям которого они обязывались регулярно (по одним версиям мифа — ежегодно, по другим — один раз в восемь или девять лет) посылать на Крит своеобразный «налог крови» — семь отобранных по жребию юношей и столько же девушек, обреченных служить пищей отвратительному чудовищу, обитавшему в Лабиринте.

го прнбывшим на Крнт (усмнренне крнтского быка обычно включается в чнсло его знаменнтых двенадцатн подвигов). Правда, доставнв быка в Мнкены н показав его своему господнну царю Еврнсфею, Геракл затем снова отпустнл его на волю, н вскоре его подвиг прншлось повторнть молодому афннскому герою Тесею, который окончательно укротил чудовнще, нзбавнв от его буйства жнтелей Аттнкн. Победа над крнтским быком как бы предвосхнщает другой, более известный подвнг Тесея — его победу над Мннотавром.

Прошло несколько лет. Афиняне год за годом продолжали снаряжать суда, на которых отправлялись в свой скорбный последний путь их сыновья и дочери. Народ глухо роптал, обвиняя во всем происходящем царя Эгея. И вот тогда юный герой Тесей, уже до этого совершивший несколько выдающихся подвигов, решил спасти своих соотечественников от тяготеющего над ними ужасного бремени и добровольно вызвался отправиться на Крит вместе с очередной партией афинской молодежи, предназначенной в жертву Минотавру.

Еще в пути произошел случай, как бы предвещавший Тесею победу над его грозным противником. Между Миносом и афинским царевичем возник спор, в котором каждый настаивал на своем божественном происхождении, предлагая сопернику доказать, что и он также сын бога. При этом Минос воззвал к своему отцу Зевсу, и тот в подтверждение его слов метнул перун — молнию, засверкавшую среди ясного неба. Тогда критский владыка снял с пальца великолепный золотой перстень и бросил его в морскую бездну, предлагая Тесею, который гордился своим происхождением от Посейдона (считалось, что именно грозный морской бог, а вовсе не смертный Эгей был подлинным отцом героя), нырнуть вслед за ним в пучину и найти там перстень. Без колебаний герой принял вызов надменного царя, бросился в море прямо с корабельной палубы и, отыскав с помощью Амфитриты — супруги Посейдона, владычицы моря,— перстень Миноса, вернул его пораженному владельцу.

По прибытии на Крит Тесей своим мужеством и благородством облика сумел завоевать сердце прекрасной Ариадны, одной из дочерей Миноса, и в решающий момент она пришла на помощь своему возлюбленному. По совету Дедала, который, кстати, приходился Тесею дальним родственником, Ариадна вручила герою смотанную в клубок длинную нить. Прежде чем войти в Лабиринт вместе со своими спутниками, он закрепил один конец нити у входа в здание и дальше шел по его бесконечным коридорам, постепенно разматывая клубок. В глубине Лабиринта его уже поджидал готовый наброситься на привычную добычу Минотавр. Но на этот раз он впервые столкнулся с решительным отпором. Тесей еще раз доказал несгибаемую силу духа и крепость мышц, а также и свое божественное происхождение и в короткой схватке одолел кровожадного зверя. После этого он и его спутники благополучно выбрались из Лабиринта, ни на минуту не выпуская из рук чудесной нити Ариадны.

В гавани Кносса Тесей вместе с Ариадной и спасенными им афинскими юношами и девушками взошел на корабль и отплыл как можно скорее от враждебных берегов Крита. Как полагают некоторые античные авторы, Минос, узнав о том, что произошло, и, как и следовало ожидать, пылая жаждой мести, не смог, однако, догнать Тесея, ибо хитроумный герой заблаговременно позаботился о том, чтобы продырявить днища у всех критских кораблей, стоявших в гавани. Однако роман Ариадны и Тесея оказался непродолжительным. Во время стоянки на острове Наксос Тесей покинул свою возлюбленную в то время, когда она спала, и отплыл в Афины. После этого Ариадна, по одной версии мифа, была убита стрелой, посланной из ее серебряного лука богиней Артемидой, по другой, более утешительной, стала супругой бога Диониса.

Не задерживаясь на дальнейших приключениях Тесея, вернемся снова на Крит. Узнав о помощи, которую Дедал оказал Тесею и Ариадне, взбешенный Минос велел заточить афинского зодчего вместе с его сыном Икаром в им же построенный Лабиринт. Но Дедал еще раз перехитрил владыку Крита. Из птичьих перьев и воска он искусно смастерил огромные крылья, поднялся с их помощью в воздух и вместе с Икаром навсегда покинул Крит. Правда, в дороге Дедал потерял своего сына. Забыв о наставлениях отца, советовавшего ему не слишком приближаться к солнцу, Икар в упоении полета поднимался все выше и выше, пока солнечные лучи не растопили воск, скреплявший его крылья, и, рухнув вниз с огромной высоты, несчастный юноша погиб в морских волнах. Дедал же продолжал свой путь и прибыл на остров Сицилию, где его радушно принял местный царь Кокал.

Минос, желая во что бы то ни стало вернуть Дедала на Крит, снарядил огромный флот и двинулся к берегам Сицилии. Если верить Геродоту, в этом походе участвовало чуть ли не все население Крита, которое так и не смогло вернуться на родину, частью погибнув в дороге, частью осев на берегах Италии, вследствие чего остров почти совершенно обезлюдел и после этого был заселен уже совсем другими племенами. Так как Миносу было неизвестно точное местонахождение Дедала, он, останавливаясь в разных местах, прибегал к одной и той же уловке. Встречавшим его туземным царям он предлагал пропустить нить через внутренние извилины морской раковины. С этой хитроумной задачей справился только царь Кокал, привязавший нить к муравью, который легко на-

шел выход из раковииы, как из миииатюриого Лабириита. Как только Миіос увидел это, ои сразу понял, что Дедал скрывается имеиио здесь, у Кокала, и стал требовать его выдачи. Кокал притворио согласился сделать это и будто бы послал за Дедалом, сам же предложил зиатиому гостю прииять ванну и отдохнуть после долгой дороги. По обычаю Миiосу прислуживали во время его омовеиия дочери Кокала, которые, желая спасти полюбившегося им афииского искусиика или же просто по иаущеиию своего отца, иаполнили ванну, в которой оии собирались искупать критского царя, кипящей водой и, таким образом, сварили его живьем. Так коичил свои дии «самый царствеииый из всех смертиых царей», как иазвал Миноса еще Гесиод. Одиако Зевс позаботился о своем сыие и даже в мире теией даровал ему особую почесть, сделав судьей над душами мертвых вместе с Радамантом, братом Миноса, и Эаком, который также был сыиом Зевса и при жизни царствовал иа острове Эгииа. Согласио верованиям древиих, этот тройствеииый трибуиал выполиял свои обязаииости с иеукосиительиой строгостью, приговаривая тех, кто совершил при жизни какие-либо преступлеиия, к различиым видам наказаиий и разрешая споры между мертвыми.

В целом фигура Мииоса в посвящеииых ему мифах производит двойствеииое и противоречивое впечатление. С одиой стороиы, владыка Крита предстает перед иами как мудрый законодатель, действующий по виушеиию своего божественного отца Зевса как покровитель судоходства и торговли, очистивший от пиратов большую часть Эгейского моря, как осиователь иовых городов иа безлюдиых или малонаселеииых прежде островах и побережьях, иакоиец, как первый культуртрегер, распространявший иачатки цивилизации среди стоявшего где-то на граии первобытиой дикости иаселеиия островиой и материковой Греции. В то же время иам известеи и совсем иной образ Мииоса — это жестокий, самовластный деспот и притесиитель, воплощеиие зловещей агрессивиости, виушающий почти мистический ужас, ибо, по сюжету мифа, второй его образ тесио связаи с такими порождениями сказочиой фаитазии, как Лабириит и обитающий в нем Миiотавр. Вместе с тем во втором образе Мииоса есть и подлииио трагические черты, которые превращают его в жертву иеотступио преследующего его рока, сближая с иекоторыми персонажами классической греческой трагедии (противоестествеииое соедииеиие с быком царицы Пасифаи, покрывшее позором дом Мииоса, гибель

любимого сына царя Андрогея и измена дочери Ариадны, ее побег с чужеземцем, наконец, ужасная смерть самого Миноса во время его последнего похода в Сицилию).

И сама фигура Миноса, и связанные с ним мифологические сюжеты охотно использовались трагическими поэтами, особенно афинскими, хотя их произведения до нас, к сожалению, не дошли. Некоторые поздние греческие авторы были даже уверены, что своей репутацией тирана и насильника Минос обязан именно афинской трагедии. Так, Плутарх писал в биографии Тесея: «Да, поистине страшное дело — ненависть города, владеющего даром слова! В аттическом театре Миноса неизменно поносили и осыпали бранью, ему не помогли ни Гесиод, ни Гомер (первый назвал его «царственнейшим из государей», второй — «собеседником Кронионa»), верх одержали трагики, излившие на него с проскения и скены[1] целое море хулы и ославившие Миноса жестоким насильником. А ведь в преданиях говорится, что он — царь и законодатель, и что судья Радамант блюдет его справедливые постановления».

Вероятно, афинские трагические поэты действительно внесли свою лепту в очернение критского владыки. Тем не менее двойственное отношение к его личности сложилось в Греции задолго до Софокла и Еврипида. Уже Гомер, назвавший Миноса в «Одиссее» «собеседником великого Зевса», в другой песни той же самой поэмы называет его «злокозненным», «злоумышляющим». И все же в главном Плутарх был, по всей видимости, прав. Скверная репутация Миноса как тирана и жестокого притеснителя, несомненно, обязана своим происхождением афинской мифологической традиции. Не случайно главными противниками Миноса в мифах обычно оказываются именно афинские герои, в борьбе с которыми надменный царь Крита неизменно терпит поражение.

Интересно, что на самом Крите, по словам все того же Плутарха, существовал совсем иной вариант предания, явно рассчитанный на реабилитацию Миноса перед лицом греческого общественного мнения. Правда, судя по тому немногому, что нам теперь о нем известно, этот критский вариант биографии Миноса возник довольно поздно, вероятно уже в эллинистическое время, и был вы-

---

[1] Проскений и скена (отсюда русское — сцена) — основные архитектурные элементы греческого театра, подобие невысокой эстрады с кулисами позади нее.

держан в духе крайнего евгемеровского рационализма. Так, Минотавр был превращен в этой версии мифа просто в Тавра, военачальника Миноса, человека грубого и жестокого, но все же не сказочное чудовище. Лабиринт здесь стал обычной тюрьмой, в которой попавшие туда пленники умирали от голода и плохого обращения. Нам известно, однако, что еще задолго до того, как началась эта полемика между афинскими и критскими знатоками мифологии, Минотавр почитался на Крите как некое благодетельное божество. В его честь в отдельных критских полисах даже выпускались монеты. На аверсе одной из таких монет было вычеканено изображение фантастического существа с бычьей головой на человеческом туловище, на реверсе же представлен Лабиринт в виде свастики, в центре которой помещена розетка с расходящимися во все стороны лучами, что можно понять как условное изображение звезды или солнца. На другой монете мы видим просто голову быка, обрамленную узором в виде меандра, который в греческом искусстве иногда использовался как символическая замена Лабиринта. Обе эти монеты были выпущены в Кноссе в V веке до н. э., то есть в то самое время, когда создавали свои произведения великие афинские драматурги. Однако родословная критского бога-быка уходит в еще более отдаленные времена.

Видимо, не случайно образ быка, то пугающий и отталкивающий, то внушающий чувства, близкие к симпатии и даже умилению, занимает так много места в критском цикле мифов, проходя через него своеобразным лейтмотивом. Божественный бык, образ которого на время принял сам Зевс, владыка богов и людей, похищает прекрасную Европу в тот момент, когда она со своими подругами и служанками резвилась на берегу моря. Очутившись на Крите, Зевс предстает перед своей возлюбленной в своем подлинном человеческом облике. Так изображают ситуацию дошедшие до нас достаточно поздние версии предания. Не исключено, однако, что в первоначальном, как всегда более грубом и архаичном, варианте мифа Европа соединялась именно с похитившим ее быком. Во всяком случае, в том же цикле мифов мы находим еще один сюжет, составляющий, если вникнуть, довольно близкую параллель к истории похищения Европы. Пасифая, супруга Миноса, добровольно уподобляется корове с помощью искусника Дедала, чтобы вступить в противоестественную связь с быком. Бык также появляется из морской пучины, хотя на этот раз он связан не с Зевсом,

а с его братом Посейдоном и, может быть, является воплощением этого божества.

Обращает на себя внимание довольно странное чередование имен в этих двух, видимо тесно связанных между собой, мифах. Зевс, похитивший Европу и ставший отцом то ли двух, то ли трех ее сыновей, вскоре покидает красавицу, оставив ее на попечение бездетного царя Крита Астерия, который играет во всей этой истории роль евангельского Иосифа, плотника, земного супруга девы Марии. Но то же самое имя Астерий, что буквально означает «Звездный», было дано, как утверждается в некоторых версиях мифа, чудовищному детищу Пасифаи. Имя Минотавр, обычно толкуемое как «Бык Миноса» (хотя возможно также и другое его понимание — «Минос-бык»), было, по-видимому, лишь его прозвищем. На первый взгляд, красивое и даже возвышенное имя Астерий совсем не вяжется с внушающими ужас обликом и повадками зверообразного пасынка Миноса. Непонятно также, что общего у него с совсем не причастным к этой истории приемным отцом Миноса царем Астерием, тезкой которого стал этот урод! Правда, нам известно, что на Крите имя Астерий было одной из эпиклез (церемониальных прозвищ) самого Зевса, подлинного отца Миноса. В этом случае получается, что Минотавр унаследовал одно из имен отца своего отчима, но почему так произошло, все равно остается неясным. Чтобы хоть как-то распутать этот клубок фантастических образов, предположим, что Астерий, Минос и Минотавр — всего лишь разные воплощения, или, как говорили греки, ипостаси, одного и того же бычьего божества, которому поклонялось коренное население Крита и которое греки, после того как они овладели островом, отождествили со своим верховным богом Зевсом.

О том, как много значил культ быка в религии минойского Крита, мы можем судить по многочисленным изображениям этого животного, выполненным из самых разнообразных материалов — глины, камня, фаянса, бронзы, золота, серебра, слоновой кости и т. д. Фигура могучего красавца быка, то грозно ревущего и роющего копытом землю, то мирно пасущегося на лугу в обществе коров и телят, неоднократно воспроизводилась и критскими мастерами ювелирного дела на геммах (печатях), вырезанных из разных пород полудрагоценных камней — сердолика, халцедона, оникса, и художниками, расписывавшими фресками стены критских дворцов.

Нередко вместо самого быка мы встречаем в критском

искусстве его условио-символическую замеиу — схематическое изображеиие бычьей головы или же одиих рогов. Эти так иазываемые рога посвящеиия были одиим из самых популяриых культовых символов в миийской религии. Наряду с двойным топором-лабрисом оии воспроизводились во множестве вариаитов как важиейший элемеит реквизита миийских святилищ, использовались как деталь ориамеита в декоративном искусстве. В качестве архитектуриого украшения и вместе с тем своеобразиого оберега, отвращающего все дуриое, они стояли иа крышах и портиках критских дворцов. Бык участвовал во миогих священиых обрядах и церемоииях, изображеиия которых мы видим иа критских печатях, фресках и других произведеииях искусства. Особеиио важиая роль приадлежала ему в сценах так иазываемой миийской тавромахии, изображающих смертельно опасные состязаиия человека с разъяреииым животиым, быть может превосходящие по степеии риска зиамеиитую испаискую корриду. Правда, смысл игр с быками остается для иас ие вполие ясиым. Мы не знаем даже, кто выступал здесь в роли жертвы, если предположить, что это была своеобразиая форма жертвоприиошеиия — сам бык или же человек-акробат, проделывавший иа его рогах и спиие целую серию замысловатых сальто-мортале. Можно лишь утверждать с достаточиой степеиью увереииости, что в отличие от современиой корриды тавромахия иа Крите была ие просто забавой и развлечеиием для праздиой толпы болельщиков, ио и важиым религиозиым обрядом.

Как считают иекоторые учеиые, этот обряд имел своей осиовиой целью обуздание грозиой стихии землетрясеиия. Страшиую силу этой стихии жителям Крита нередко приходилось испытывать иа себе, поскольку и сам остров, и примыкающая к иему часть Средиземиоморья всегда были зоиой повышеииой сейсмической активности. Вполне вероятио, что божествеииый бык восприиимался миийцами именно как воплощеиие стихийиых разрушительиых сил природы иаподобие поздиейшего греческого Посейдона, среди осиовиых эпитетов которого было и прозвище «Эииосигайос» (Землеколебатель), и в этом своем качестве требовал умилостивительиых обрядов, фуикции которых как раз и выполияла загадочиая тавромахия.

Той же цели, возможио, были подчииеиы и пляски таицоров в бычьих масках, выполиявших во время своих выступлений сложиые па, требовавшие иемалого акробатического искусства. Их изображения, встречающиеся иа миийских геммах, могли послужить толчком к создаиию

образа человеко-быка Минотавра, если, конечно, не предположить, что он возник еще раньше в результате постепенного очеловечивания быка-божества и что именно это божество представляли в своих танцах изображенные на геммах акробаты. Впрочем, в своих попытках найти скрытый от нас смысл этих древних обрядов мы не можем не считаться с тем, что для самих минойцев образ божественного быка был наполнен чрезвычайно сложным внутренним содержанием, воплощая в себе не какую-то одну природную силу, например страшные толчки землетрясения, а одновременно множество разнородных, иногда разнонаправленных и даже взаимоисключающих сил. В зависимости от того, какая из этих сил выдвигалась на первый план, и сам великий бык превращался из губительного, карающего божества в божество благодетельное, покровительствующее всему живому, и наоборот.

Чудовищный Минотавр, подстерегающий своих жертв в кромешной мгле Лабиринта[1], может считаться лишь одним из воплощений минойского бычьего божества, почитаемого древнейшими обитателями Крита как грозный владыка земных недр, хозяин преисподней, которая в их сознании, как и в сознании многих других народов Древнего мира, ассоциировалась с обиталищем мертвых. В позднейших греческих мифах этот мрачный хтонический[2] образ критского быка заслонил собой все остальные его образы. Между тем в религиозных представлениях древних быку очень часто отводилась почетная роль верховного гаранта земного плодородия. Считалось, что процветание всей живой природы, в том числе и хороший урожай на полях, и умножение стад, находится в прямой зависимости от могучей мужской силы божественного быка, который оплодотворял своим семенем саму великую богиню — владычицу всего животного и растительного мира, воплощение матери-земли, соединяясь с ней через определенные промежутки времени (обычно весной или в конце зимы). В соответствии с представлениями такого рода обряд так называемого священного брака бога-быка и великой богини, которая в таких случаях

[1] Согласно одной из поздних версий мифа, в Лабиринте царила такая непроницаемая тьма, что Тесей и его спутники сумели найти дорогу только благодаря чудесному венцу Ариадны, который обладал способностью светиться во мраке. Этот венец был подарен Ариадне Дионисом и впоследствии помещен на небе как одно из созвездий.

[2] Хтонический — связанный с землей и в особенности с подземным миром.

обычно перевоплощалась в корову, оформленный как пышное театрализованное действо, занимал одно из центральных мест в годичном цикле земледельческих и скотоводческих празднеств. Любопытно, что в некоторых местах главные роли в ритуале священного брака, а именно роли божественного быка и божественной коровы, исполняли облаченные в соответствующие костюмы и маски царь и его супруга. Так, по всей видимости, справлялся этот праздник в Египте, где фараон считался земным воплощением великого бога Озириса, которого жители этой страны чтили и как человекообразное божество с атрибутами царской власти, и в образе божественного быка Аписа, имевшего свое особое святилище и свой штат жрецов. Аристотель в своем трактате «Афинская полития» сообщает о существовавшем в Афинах курьезном обычае, следуя которому, жена одного из высших должностных лиц Афинского государства, архонта-царя (один из членов коллегии девяти архонтов, считавшийся прямым наследником древних афинских царей), должна была вступать в священный брак с богом Дионисом, причем происходило это в обстановке строжайшей секретности в святилище, именуемом Буколий, что означает буквально «стадо быков». Заметим, что бык в Греции считался одним из главных воплощений Диониса и его священным животным[1]. Весьма вероятно, что обряды этого типа, способствующие пробуждению сил земного плодородия после долгой зимней спячки, справлялись некогда и на Крите. Не располагая прямыми подтверждениями этой догадки, мы можем тем не менее расценивать как отдаленные отголоски минойского ритуала священного брака божественного быка с богиней плодородия мифы о похищении Европы и о рождении Минотавра от противоестественной связи царицы Пасифаи с быком. Нетрудно заметить, что последний из этих двух мифов оказался в корне переосмысленным и по су-

[1] По одной из версий мифа, Ариадна, похищенная Тесеем из отцовского дома, в силу каких-то непонятных причин в конце концов становится женой Диониса, а вовсе не похитившего ее афинского героя. Это неожиданное изменение сюжетной линии, пожалуй, говорит за то, что либо сам мотив похищения в мифе вторичен, либо в роли похитителя первоначально выступал не Тесей, а Дионис, может быть для такого случая преобразившийся, как и его отец Зевс, в быка. Ариадна как древнее минойское божество плодородия, вероятно, изначально связана с Лабиринтом (эпитет «владычица Лабиринта» в одной из кносских табличек, скорее всего, относится именно к ней), а также и с Минотавром, то есть с божественным быком, которому поклонялось коренное население Крита.

ществу низведенным иа уровень аиекдота. Тем не меиее его первоиачальиое содержание еще ие совсем ускользает от иашего поимаиия и в своих основиых чертах может быть рекоиструироваио с помощью миогочислеииых параллелей и аиалогий, заимствованных из других религий и мифологий.

Но в образе миийского бога-быка удалось выявить и еще один важиый аспект, который прямо указывает иа его связь уже ие с землей и подземиыми недрами, а с покрывающим землю иебесиым сводом. Во время раскопок в Микеиах в одиой из царских могил Г. Шлиманом был найден великолепиый серебряиый ритон (сосуд для возлияиий) в виде головы быка, иа лбу которого красовалась крупиая золотая розетка, по всей вероятиости представляющая собой условиое изображеиие солиечиого диска или, быть может, звезды. Возможио, изготовивший этот сосуд критский мастер (его критское происхождеиие совершенно очевидио) созиательио подражал в своей работе известиым ему изображеииям египетского священного быка Аписа с солиечиым диском между рогами (сам Апис почитался в Египте как одио из воплощеиий солиечного бога Ра, хотя ие вызывает сомнеиий также и его тесиая связь с божеством земного плодородия Озирисом, о чем мы уже говорили выше). Не отказываясь от этой догадки, призиаем все же, что главиую роль здесь сыграло давно уже подмечеииое учеиыми сходство египетской и критской (миийской) религий, в которых отдельиые божества как бы дублируют друг друга.

На более поздиих греческих вазах мы видим фигуру Миіотавра, изображеииую на фоие небесного свода, усыпаииого сияющими звездами. Иногда же, как это ии странно, звезды покрывают тело самого чудовища. Обе эти комбинации заставляют вспомнить о том, что подлииным его имеием было ие более привычное Миіотавр, а сравиительио редко встречающееся в мифах Астерий, или Звездиый. Связь образа Минотавра в изобразительиом искусстве с различиыми, как прииято иазывать их в иауке, соляриыми (солиечиыми) и астральиыми (звездными) символами иаверияка ие случайиа. О том, что иа самом Крите символика этого рода была еще жива и поиятиа даже в V веке до и. э., свидетельствуют уже упомииавшиеся киосские монеты с вычекаиеииым иа иих изображеиием Лабиринта, в самом центре которых был помещен солиечиый или звездиый зиак. По мифу, Миіотавр ие только иосил как будто совсем ие идущее ему имя Астерий, но и приходился родиым виуком солиечиому богу Гелиосу

через свою мать царицу Пасифаю, чье имя имеет столь же прозрачный смысл, как и имя Астерий. В переводе с греческого оно буквально означает «Всем сияющая» или, может быть, «Повсюду сияющая» — имя, как нетрудно догадаться, вполне подходящее для богини Луны, вероятно близко родственной греческой Селене. Другой ипостасью древнего лунного божества, вероятно, может считаться мать Миноса — Европа, имя которой можно понять как «Широко взирающая». Во многих греческих полисах ей воздавались почести, как богине, хотя, согласно мифологической «табели о рангах», она считалась всего лишь героиней.

Итак, мы видим, что обе известные нам по мифам супруги критского бога-быка оказались вознесенными на небо, вероятно, с тем, чтобы именно там вступить с ним в положенный срок в подобающий их сану священный брак, который в этой ситуации становится событием уже подлинно космического масштаба. О вознесении на небо самого божественного быка упоминает римский поэт Овидий:

В иочь перед Идами[1] бык, весь осыпаииый звездами всходит...
К берегу только тебя ои довез, то предстал пред тобою
Богом Юпитер, с главы ложиые сбросив рога.
Бык тот ушел в иебеса... А с тобою остался Юпитер.

Некоторые характерные детали в этом эпизоде выдают в нем явно позднюю и явно искусственную концовку хорошо известного каждому греку или римлянину мифа о похищении Европы. Юпитер (Зевс), только что доставивший свою драгоценную добычу на критский берег, разоблачается, как актер после удачно сыгранного представления,— снимает с головы накладные рога. Одновременно с этим некий образ быка, очевидно тоже сброшенный богом, как ненужная больше маскарадная одежда, воспаряет к небесам, чтобы навеки застыть там теперь уже в виде созвездия.

Древнейшие обитатели Крита, от которых миф о чудесном соединении бога в образе быка с похищенной им богиней Луны был перенят греками, едва ли нуждались в таких пояснениях к его основному сюжету. Для них, мысливших сложными синкретическими[2] образами, характерными для первобытного религиозного сознания, одновременное пребывание великого бычьего божества, по край-

---

[1] Иды в римском калеидаре — 15-е число каждого месяца.
[2] Сиикретический — слитиый, ие расчлеиеииый иа составиые части.

ней мере, в трех совершенно различных местах — под землей, на земле и на небе — не заключало в себе ничего противоестественного или абсурдного. Его явления то в образе страшного владыки преисподней, то в виде усыпанного сверкающими звездами небесного быка не требовали поэтому никаких специальных комментариев.

Образ Минотавра неотделим от прочно укоренившегося в мифах представления о его загадочном жилище — Лабиринте. Само по себе это представление так же сложно и многослойно, как и образ «Быка Миноса». Видимо, по этой причине мнения ученых, пытавшихся отыскать реальный исторический прототип легендарного Лабиринта, почти сразу же разделились. Наиболее простое решение проблемы было предложено в начале XX века одним из первооткрывателей минойской цивилизации — замечательным английским археологом А. Эвансом, который и сам твердо уверовал, и сумел убедить многих других в том, что Лабиринт в мифе о Тесее и Минотавре есть не что иное, как открытый им в 1900 году большой Кносский дворец или, если попытаться сформулировать эту мысль еще точнее, представление об этом дворце, сложившееся в сознании материковых греков, привыкших у себя на родине к постройкам с куда более незамысловатой планировкой. Как показали раскопки того же Эванса и других археологов, работавших в Кноссе, дворец критских царей представлял собой огромное здание или даже целый комплекс зданий, сгруппированных вокруг большого прямоугольного двора и заключавших в себе множество больших и малых помещений самого разнообразного характера и назначения. Все они были связаны между собой длинными, причудливо изогнутыми коридорами, широкими лестницами и так называемыми световыми колодцами — небольшими внутренними двориками, служившими средством вентиляции и освещения, которыми в нескольких местах была насквозь прорезана вся огромная толща дворцового здания. Человек, никогда не видевший таких грандиозных архитектурных сооружений, легко мог вообразить, блуждая по казавшимся бесконечными дворцовым переходам и анфиладам комнат, что выбраться отсюда можно разве что с помощью чудесной нити Ариадны. Это впечатление могло надолго пережить сам дворец и, вероятно, особенно усилилось уже после того, как в конце XV или начале XIV века до н. э. он был окончательно разрушен и заброшен своими обитателями. Теперь среди его руин бродили лишь любо-

пытствующие путешественники да искатели сокровищ, которые, скорее всего, и стали главными распространителями фантастических слухов о чудесном прошлом этого необыкновенного сооружения. Догадка эта, в общем и сама по себе довольно правдоподобная, как будто подтверждается и некоторыми другими соображениями.

Само название «Лабиринт» принято считать словом догреческого, скорее всего, минойского происхождения, производным тоже от догреческого слова «лабрис», означающего двойной топор или двулезвийную секиру — важнейший культовый символ в религии минойского Крита, воплощение магической власти, ассоциирующееся то с образом божественного быка, то с великим женским божеством. Знаки двойного топора были обнаружены на стенах Кносского дворца во многих местах. Чаще всего их вырезали на каменных плитах, из которых складывались стены, или на столбах, подпирающих крышу. Знаки, несомненно, имели магическое значение, показывая, что дворец был не просто царским жилищем, но вместе с тем и своего рода святилищем, где могли устраиваться важные культовые церемонии и ритуалы. В прямом переводе слово «Лабиринт» могло означать, таким образом, просто «дом» или «святилище двойного топора», которым, в понимании и самих минойцев, и затем пришедших им на смену греков, был дворец Кносса. В одной из табличек кносского архива было прочитано любопытное словосочетание Lapyritoio potinija, что можно понять как «владычица (хозяйка) Лабиринта». Потния — владычица — обычное обозначение в греческом языке микенской эпохи великого женского божества или, быть может, целой группы таких божеств, если предположить, что их, как и в более поздние времена, было несколько. Дворец, святилище и вместе с тем жилище великой богини или просто место, где она время от времени являлась своим почитателям,— все эти три понятия могли сливаться в сознании набожных минойцев в одном слове «Лабиринт». Кстати, древнейшее из известных в настоящее время изображений Лабиринта в виде схематически вычерченного прямоугольника со сложной системой внутренних ходов дошло до нас также на глиняной табличке, происходящей, правда, из другого, более позднего архива в Пилосе.

Кроме того, в пользу отождествления Лабиринта с «дворцом Миноса» в Кноссе говорит и еще одно вполне вероятное предположение. По мнению некоторых исследователей, центральный двор дворца, вымощенный большими гипсовыми плитами, использовался прежде

всего как арена, на которой разыгрывались кровавые сцены минойской тавромахии, наводившие ужас на всякого непривычного к ним зрителя. Между тем сам этот мрачный обряд вполне мог стать одним из основных источников мифа о поединке Тесея с Минотавром. Чувство мистического ужаса, который вызывал у чужеземцев, и в частности у греков, Кносский дворец уже одними своими размерами и невиданной, с их точки зрения, сложностью его планировки, должно было еще более усиливаться под влиянием доходивших до них слухов о тех жестоких и загадочных церемониях, которые устраивались в самом центре этого зловещего сооружения. Весь этот комплекс представлений, вероятно, и стал той питательной почвой, на которой возник мифический образ Лабиринта.

В научной литературе высказывались, однако, и другие суждения, по-иному объясняющие происхождение этого образа. Было замечено, что никто из античных авторов, писавших о Лабиринте, не отождествляет его с «дворцом Миноса». Обычно древние описывают его либо как своего рода тюрьму, нередко подземную, построенную Дедалом специально для того, чтобы держать там Минотавра, либо как пещеру, из которой, однажды попав туда, невозможно было найти выход. Однако, как это ни странно, в представлениях греческих писателей идея Лабиринта иногда связывается с танцем. Так, Плутарх рассказывает о том, как Тесей на обратном пути с Крита задержался на Делосе, священном острове бога Аполлона, и как здесь он вместе со спасенными им афинскими юношами и девушками исполнил «танец журавля», движения которого воспроизводили блуждания пленников Лабиринта по его запутанным переходам (очевидно, участники этой пляски делали несколько шагов вперед, а потом назад или резкий поворот направо или налево). По другим сведениям, Тесея и его спутников научил этому танцу сам Дедал — строитель Лабиринта. Между прочим, Дедалу приписывалось и еще одно замечательное сооружение, также находившееся в Кноссе,— особая площадка для танцев (хор), которую искусный зодчий построил для дочери Миноса «прекрасноволосой Ариадны». Об этой площадке упоминает уже Гомер в «Илиаде». Танцевальные площадки, отдаленно напоминающие позднейший греческий театр, действительно (это показали раскопки) существовали и в Кноссе, и в Фесте, и, возможно, в других критских дворцовых центрах, а сами критяне и в I тысячелетии пользовались в Греции репута-

цией искусных танцоров. Сопоставляя эти факты, английский ученый Р. Кук сделал вывод, что первоначально под Лабиринтом подразумевался именно танец, отличавшийся от всех других особой сложностью фигур и движений, а также площадка, специально предназначенная для исполнения такого танца. Эта гипотеза находит свое подтверждение и далеко за пределами Крита в многочисленных обычно выложенных из камня лабиринтах — прямоугольных, круглых, овальных, спиралевидных, которые были открыты во многих местах, расположенных, как правило, в прибрежной полосе Европы, на ее островах и полуостровах. Все эти сооружения разбросаны на огромном расстоянии — от острова Мальта и берегов Испании до русского Севера и побережья Белого моря. Согласно наиболее вероятным предположениям, они использовались для каких-то ритуальных целей, скорее всего для культовых танцев, воспроизводивших движение светил, и прежде всего, солнца, по небесному своду.

Итак, существуют по крайней мере три возможности объяснения слова «Лабиринт» — дворец, место заточения и площадка для ритуальных танцев. Но какое из этих трех значений слова считать первоначальным и, следовательно, выражающим подлинный смысл мифического образа? Учитывая ту важную роль, которая принадлежит Лабиринту в развитии основной фабулы мифа о Тесее и Минотавре, мы должны прежде всего попытаться установить скрытый смысл популярного сказания, так как от этого, в сущности, и будет зависеть ответ на поставленный вопрос.

Начнем с самого простого варианта. Уже давно предпринимаются попытки выявления в мифе отголосков каких-то реальных исторических событий, происходивших на Крите и в Греции во II тысячелетии до н. э. В соответствии с такой постановкой вопроса главные действующие лица всей этой авантюрной истории были осмыслены как символические воплощения двух противоборствующих сил: критской морской державы (Минос и Минотавр) и восставших против ненавистного гнета критских владык обитателей материковой Греции (Тесей). Кульминационная сцена сказания — поединок Тесея с Минотавром — в рамках этой концепции естественно воспринимается как запечатленная в символических образах победа греков-ахейцев над их угнетателями. Впрочем, некоторые ученые, делая еще один шаг в этом направлении, охотно допускают, что прославленный многими поколениями античных поэтов и художников эпизод представляет собой

чуть ли не буквальное воспроизведение последних часов жизни Кносского дворца, погибшего, согласно археологическим данным, в пламени пожара то ли в конце XV, то ли в начале XIV века до н. э. Известный английский исследователь Дж. Пендлбери в книге «Археология Крита», опубликованной на русском языке в 1950 году, указывает даже, где именно Тесей одержал свою великую победу. Это был тронный зал Кносского дворца. Противником афинского героя в решающей схватке был, в представлении Пендлбери, сам царь Минос, скрывший свое лицо по случаю совершения какой-то религиозной церемонии под маской божественного быка, что собственно и породило слухи о единоборстве Тесея с чудовищной помесью человека с быком. При таком понимании мифа тождество Лабиринта с Кносским дворцом считается чем-то само собой разумеющимся.

Однако, если даже предположить, что какая-то доля истины содержится в этих достаточно произвольных догадках и предположениях, более тщательное и глубокое исследование проблемы все равно заставит нас признать, что собственно исторические элементы, то есть переосмысленные отголоски каких-то действительно имевших место событий, образуют в мифе о Тесее и Минотавре лишь самый тонкий поверхностный слой предания, под которым скрываются гораздо более мощные и вместе с тем более древние напластования мотивов и образов, весьма далеких от реальной политической истории. Что бы ни говорили по этому поводу историки и археологи, сюжетная схема центрального мифа критского цикла хорошо известна современным фольклористам. Типологически его фабула стоит в одном ряду с такими широко известными произведениями мирового фольклора, как, например, сказка о Мальчике с пальчик и его братьях. В самом деле, и там и здесь чудесная история начинается с длительного блуждания главного героя и его спутников в одном случае по бесконечным переходам Лабиринта, в другом — по прихотливо переплетающимся дорожкам сказочного леса. В обоих случаях это блуждание заканчивается тем, что герои попадают в мрачное логово (дом или пещеру) Людоеда, от которого им с большим трудом удается спастись. Здесь появляется одно важное различие между двумя, по-видимому, первоначально схожими сюжетами. В то время как в греческом мифе Тесею приходится вступить в борьбу с чудовищем и уничтожить его, чтобы спастись самому и спасти своих друзей, в сказке Шарля Перро Людоед просто обманут и дело об-

ходится без кровопролития. С другой стороны, к древнейшей праоснове обоих сказочных сюжетов, или, как говорят фольклористы, к их мифологеме, несомненно, восходит и поэтому сближает их между собой еще одна характерная деталь — возраст героев. И в мифе о Тесее, и в сказке о Мальчике с пальчик они очень молоды. Мальчик с пальчик и его братья совсем еще дети, Тесей и его спутники — юноши и девушки — подростки. Не случайно в произведениях греческой скульптуры и вазовой живописи сам Тесей обычно изображается безбородым молодым человеком, или, как говорили сами греки, куросом (неженатым юношей), что, кстати сказать, отличает его от фигуры Геракла, близкородственной ему во всем остальном.

История Мальчика с пальчик уже давно нашла свое объяснение в науке о мировом фольклоре как фантастическая проекция в сказочный мир вполне реального обряда посвящения, или инициаций. Практически у всех народов нашей планеты, еще не порвавших с традициями первобытной эпохи, этот обряд считается необходимым условием, без выполнения которого мальчик-подросток не может стать взрослым мужчиной и вместе с тем полноправным членом племени, а девочка соответственно — женщиной-матерью и хозяйкой в своем доме. Согласно представлениям первобытных народов, для того чтобы должным образом подготовиться к новой жизни, а в сущности, как бы заново родиться на свет, став совсем другими людьми, подростки сначала должны на время покинуть мир живых и во всем уподобиться расставшимся с жизнью соплеменникам, своим предкам. Важная идея, лежащая в основе обрядов посвящения в различных их формах, описанных этнографами, заключается в том, что посвящаемые совершают длительное и очень опасное путешествие на тот свет, встречая на своем пути иногда злобных, а иногда, напротив, благостных духов, и лишь после этого снова возвращаются к своим сородичам, но теперь уже совершенно другими людьми. У некоторых племен, например у папуасов Новой Гвинеи, у темнокожих туземцев с островов Меланезии, кульминацией всего цикла посвятительных обрядов является мнимое пожирание подростков чудовищем, играющим в этой церемонии двойственную роль злобного демона смерти и благостного покровителя и опекуна молодежи, которая, пройдя через его утробу, сначала как бы погибает, но затем рождается для новой жизни.

Теперь читателю, очевидно, понятно, почему волшебная сказка, как правило, в условной форме изображаю-

щая путешествие героя на тот свет[1], не может обойтись без Людоеда — пожирателя маленьких мальчиков или уже почти достигших зрелости юношей-подростков. В критском мифе, положенном в основу истории Тесея и Минотавра, эта ответственная роль была доверена великому бычьему божеству в одной из основных его ипостасей грозного властителя загробного мира. Его мрачное жилище Лабиринт мы можем определить теперь как своеобразную модель «того света» и вместе с тем как схему ведущих туда путей. Само собой разумеется, что для большинства смертных, попавших в Лабиринт, все его извилистые коридоры были, в сущности, одним и тем же путем, ведущим только в одном направлении — к самому центру преисподней, где, как и в средневековом аду, их ждал великий пожиратель. Но, как известно, среди многих ходов Лабиринта был один-единственный, ведущий не в глубь этого зловещего сооружения, а наружу, в светлый мир живых. Найти этот единственно верный путь дано лишь счастливцу (или счастливцам), сумевшему заручиться расположением чудесного помощника (или помощников), которому ведомы все тайны потустороннего мира и который обладает волшебным предметом, указывающим дорогу, то есть неким подобием современного компаса. В мифе о Тесее и Минотавре таким чудесным помощником главного героя оказывается царевна Ариадна, а в конечном счете сам Дедал — хитроумный строитель Лабиринта.

Сам Лабиринт при таком повороте сюжета резко меняет свою природу. Из обители мрака, царства теней, на вратах которого, как и на вратах Дантова ада, могла бы быть начертана надпись: «Оставь надежду, всяк сюда входящий», он превращается теперь в путь, ведущий к возрождению и к новой жизни, ибо таковы были «правила игры», изначально заложенные в самом обряде посвящения, составляющем основное идейное содержание мифа и его единственную реальную основу.

Различные античные и современные истолкования назначения Лабиринта, на первый взгляд исключающие друг друга, в действительности так или иначе могут быть сведены к изначальному его прототипу и, следовательно, имеют право на существование. Так, Лабиринт — танец или место для танцев,— возможно, напрямую связан с теми первобытными ритуалами, которые, как уже было

[1] Такова основная идея замечательной книги советского фольклориста В. Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки».

сказано, сыграли особенно важную роль в формировании первоначальной версии мифологического сюжета. В этих ритуалах одно из самых главных мест, несомненно, принадлежало танцам, воспроизводящим блуждания участников обряда («живых мертвецов») по запутанным переходам загробного мира. Лабиринт-темница может быть понят как несколько упрощенный вариант все той же исходной модели царства мертвых, в котором отбывают временное заточение, подвергаясь очищению от земной скверны, молодые люди, переходящие из возрастного класса подростков или юношей в класс взрослых мужчин.

Этнографы, изучавшие жизнь современных отсталых народов, подтверждают, что, как правило, обряды посвящения сопровождаются длительной (она может продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет) изоляцией группы молодежи от всех остальных членов племени. Наконец, Лабиринт-дворец мог фигурировать в каком-нибудь из не дошедших до нас вариантов мифа, в котором Минотавр как «князь тьмы» и владыка преисподней расправлялся со своими жертвами в подобающем его высокому сану жилище. Зловещая репутация реального Кносского дворца, вероятно укоренившаяся среди населения материковой Греции еще в микенскую эпоху, могла стать дополнительным стимулом к такому осмыслению слова «Лабиринт».

Сейчас мы можем, конечно, лишь пожалеть о том, что мифы и тесно связанные с ними религиозные представления коренного населения Крита — минойцев — не дошли до нас в своем подлинном, первоначальном виде. Они известны нам лишь в поздних греческих, в основном афинских, переработках. Будучи по складу ума прирожденными рационалистами, греки не пытались, да, наверно, и не способны были, проникнуть в мистические глубины минойской мифологии. Многое в ней они, несомненно, поняли превратно, многое пытались перетолковать на свой лад, чтобы приблизить загадочные образы критских богов и богинь к обыденному человеческому сознанию. Так, первоначально, по-видимому, целостный образ минойского бога-быка греки расчленили на два прямо между собой не связанных и резко различающихся по своей внутренней сущности образа: светлого небесного бога Зевса, по странной прихоти превращающегося в быка во время одного из своих амурных похождений, и чудовищного пожирателя человеческой плоти Минотавра, причем последний из грозного подземного божества, владыки царства теней, превратился в пленника Лабиринта, специально

построенного искусным зодчим, чтобы держать в заточении этого отвратительного выродка, покрывшего позором все царское семейство. Более того, в числе действующих лиц мифа появился теперь совершенно новый персонаж, вероятно отсутствовавший в первоначальной версии,— герой — победитель чудовищ и великанов, имеющий все черты «фамильного» сходства с такими популярными мифическими героями, как Геракл или Персей. В результате божественному быку пришлось расстаться не только со своей магической властью, но и с самой жизнью, а его победитель благополучно выбрался из Лабиринта и отплыл от берегов Крита, захватив с собой прекрасную дочь царя Миноса (любовная интрига играет в этой версии мифа чрезвычайно важную роль, что говорит о превращении мифа в сказку).

Ясно, что эта счастливая концовка никак не могла быть придумана на самом Крите. В глазах коренных обитателей острова — минойцев — убийство одного из главных богов всего их пантеона наверняка выглядело бы как самое настоящее святотатство, да и вообще вещь во всех отношениях немыслимая. Ведь даже с точки зрения внутренней логики мифа, о которой было сказано выше, насильственное устранение его центрального персонажа — великого пожирателя, от которого зависело развитие самой мифической фабулы, было бы чем-то совершенно невозможным, как прямое нарушение правил, принятых в этой «игре». Вероятно, даже и греки-ахейцы, обосновавшиеся на Крите около середины XV века до н. э., а затем пришедшие им на смену в XII—XI веках до н. э. дорийцы сочли бы неприемлемой эту новую редакцию мифа, ибо они в значительной степени усвоили систему религиозных верований местного населения. По крайней мере, как мы уже видели, великое бычье божество древних минойцев продолжало пользоваться почитанием в их среде еще в V веке до н. э. Видимо, не случайно изображения отдельных эпизодов мифа о Тесее и Минотавре, и в частности его кульминационной сцены — победы афинского героя над «быком Миноса», в критском искусстве практически не встречаются вплоть до самого конца I тысячелетия до н. э. Впервые они появляются в вазовой живописи, а затем и в скульптуре материковой Греции, главным образом в произведениях афинских мастеров VII—VI веков до н. э., и продолжают пользоваться большой популярностью также и в более позднее время.

Очень может быть, что одновременно с Тесеем на подмостках мифического спектакля появился еще один важ-

ный персонаж, без которого мы теперь просто не можем себе представить всю эту историю. Читатель, вероятно, уже догадался, что этим персонажем был не кто иной, как сам Минос, державный властитель Крита и главный противник Тесея и всех афинян. В первоначальной (минойской) версии мифа необходимость в фигуре такого плана, скорее всего, отсутствовала. Минотавр, то есть минойский божественный бык, как и всякий сказочный людоед, вероятно, и сам прекрасно справлялся со своими «обязанностями» — сначала пожирал, а потом, возможно, выплевывал обратно заблудившихся в его владениях мальчиков и девочек. Для этого он не нуждался ни в каких посредниках или помощниках. Как самостоятельное действующее лицо волшебной сказки, в которую в конце концов превратился критский миф о великом бычьем божестве, царь Минос, по всей видимости, появился только после того, как произошло расчленение образа самого бога-быка, о котором уже говорилось выше. Фигура Миноса возникла как своеобразный побочный продукт этой «операции» и прежде всего обрела известность не на самом Крите, а среди обитателей материковой Греции, на которых, вероятно, ложится основная ответственность за переработку и переосмысление критской мифологической традиции в рационалистическом духе.

Очень похоже, что формирование образа критского царя началось с самого имени Минос. Принято считать, что А. Эванс совершенно произвольно назвал открытую им культуру минойской, а ее носителей соответственно минойцами, взяв за основу имя мифического владыки Крита. В действительности выдающийся археолог был не так уж далек от истины, когда придумывал эти названия, хотя реальная зависимость, скорее всего, была здесь прямо противоположной. Сначала (еще во II тысячелетии до н. э.) греки познакомились с народом, который они называли «миноя» или же «мнойя». Обе эти формы, по-видимому, одного и того же слова сохранились в античных источниках: Миноя как географическое название, или топоним, довольно широко (от Сицилии до Палестины) распространенное в пределах Средиземноморья, мнойя (или в другом варианте — мноиты) как наименование коренного населения Крита, порабощенного дорийцами.

Было бы абсурдом считать, как это делают некоторые античные авторы, что, давая городам и просто корабельным стоянкам название Миноя, реальный, а не мифический Минос (или, может быть, Миносы, если предположить, что их было несколько) пытался тем самым увеко-

вечить свое имя. Ведь время Александрий, Антиохий, Константинополей и им подобных городов-памятников наступит еще не скоро. В бронзовом веке обычай закрепления имени царя или ряда царей за каким-нибудь населенным пунктом еще не был известен. Еще более неправдоподобной кажется мысль об аналогичном происхождении названия народа (этникона) минойя. Гораздо более вероятно, что это название, с которым, несомненно, связан и топоним Миноя, в какой-то нам точно неизвестный момент было преобразовано в имя собственное — Минос или, может быть, первоначально Миос. Нетрудно догадаться, что это имя было сразу же осмыслено как имя героя — родоначальника народа минойя (минойцев), а потом уже и их царя. Такой прием персонификации, то есть условной замены каким-то одним конкретным лицом целого народа или племени, широко практиковался в греческой мифологии. Примерами могут служить Трос — родоначальник всех троянцев, Данай — герой-эпоним племени данайцев, когда-то обитавших в Арголиде, Пеласг, представлявший в своем лице догреческое население юга Балканского полуострова, обычно объединявшееся под именем пеласгов, Эллин — родоначальник всего греческого народа и его сыновья Ион, Дор и Эол, соответственно считавшиеся эпонимами трех главных ветвей эллинской народности — ионийской, дорийской и эолийской. При таком подходе к вопросу о происхождении имени Минос сами собой должны прекратиться уже давно идущие в науке споры о его значении и характере — было ли оно именем собственным, принадлежавшим одному особо выдающемуся критскому царю или же целой династии, все члены которой носили одно и то же имя наподобие египетских Птолемеев, французских Людовиков и Карлов, или почетным титулом, обозначающим любого носителя верховной власти вроде египетского «фараон» или латинского «август».

Итак, образ Миноса, человека и царя Крита, мог возникнуть вначале как некая отвлеченная схема, производное от названия коренного населения острова — минойцев. Со временем эта схема, возможно зародившаяся в воображении материковых греков еще в период их первых контактов с этим народом, стала постепенно оживать, наполняться конкретными биографическими подробностями.

В своей основной части биография Миноса, по-видимому, сложилась в результате переосмысления мифа или мифов о великом бычьем божестве, первоначально быто-

вавших среди миийского иаселеиия Крита, а затем переиятых и по-своему поиятых греками. По миеиию целого ряда исследователей критской религии (первым в этом ряду был сам А. Эваис), культ быка иа Крите, так же как и в древием Египте, был тесио связаи с царской властью. Это может означать одио из двух: либо критский царь исполнял обязанности верховного жреца при «особе» божествеииого быка, либо ои сам восприиимался как земиое воплощеиие этого божества и получал все причитающиеся в таких случаях почести и жертвоприиошения. В любом из этих случаев становится поиятиой трудиообъяснимая близость двух мифических персоиажей — самого Миноса и его безобразиого пасыика Миотавра, в котором виимательиый глаз исследователя еще способеи различить черты развенчаииого и лишениого своего высокого саиа древиего божества.

Следы этого «кровного родства», а в известиом смысле даже взаимозамеияемости образов Миноса и Миотавра еще угадываются в иекоторых перипетиях сюжета греческого мифа, дошедшего до иас. В частиости, как было уже замечеио, рассказ о рождеиии Миотавра от противоестествеииой связи Пасифаи с быком, в сущиости, лишь дублирует виешие более пристойиое повествоваиие о чудесиом рождеиии Миноса и его братьев от союза Зевса с Европой, которую он похитил, прииняв образ быка. Как грозиый и своеиравиый повелитель критского царства, Минос как бы в иесколько смягчеином и более правдоподобиом варианте повторяет Минотавра в его изиачальиом «амплуа» хозяииа загробиого мира (вполие возможно, что во II тысячелетии до и. э. материковые греки прямо отождествляли Крит с царством теией). Впрочем, Миное греческих мифов и сам еще иепосредствеиио связаи с обителью мертвых, где он творит суд и выиосит приговоры душам усопших как председатель вселяющего ужас тройствеииого трибуиала. Первоиачальио эта важная фуикция, скорее всего, прииадлежала Минотавру, то есть миийскому богу-быку в одиой из его главиых ипостасей.

Заметим попутно, что само представлеиие о суде иад мертвыми в осиове своей чуждо греческой религии. Уже в гомеровское время греки взирали иа свою будущую потусторониюю жизнь с крайним пессимизмом. Они верили, что всех их иезависимо от того, кем оии были и что совершили в своей земиой жизни, ждет одииаково безотрадиая участь на том свете, «в чертогах мрачиого Аида». Исключеиие из общего правила составляли, в их поима-

нии, лишь немногие древние герои-богоборцы вроде Сизифа и Тантала, которым в загробном мире были уготованы вечные муки. В этой ситуации, казалось бы, не было никакой особой необходимости в специальном трибунале, который с неукоснительной строгостью разбирал бы правые и неправые дела умерших и в зависимости от этого назначал бы им наказание. Очевидно, и сам образ Миноса (или Минотавра) в качестве судьи мертвых, и весь связанный с этим образом круг представлений восходят еще к минойской эпохе, к религиозным верованиям коренного населения Крита, которые, как принято считать, испытали на себе сильное влияние еще более древней египетской религии. В египетском царстве мертвых обязанности прокурора и судьи выполняли два божества — бог мудрости Тот с головой ибиса и бог Анубис с головой шакала или собаки, взвешивавший сердце или душу умершего на специальных весах. Верховный бог, владыка загробного мира Озирис, присутствовал на заседании суда, не произнося ни слова, как высший гарант справедливости. Обвинительный приговор приводила в исполнение богиня Амемет (Амт) — «Пожирательница» в облике гиппопотама. Все участники этого судилища, несомненно, находились в отдаленном родстве с Минотавром, на которого они даже и внешне походили, а через него и с Миносом.

От Миноса — судьи мертвых в Аиде — не так уж далеко и до Миноса — великого законодателя в его земной жизни, хотя эти два определения можно, наверно, поменять местами. Вообще представление о божественном происхождении царской власти тесно переплеталось в сознании древних с мыслью о том, что законы, изрекаемые царем для его подданных, как правило, внушаются покровительствующим ему божеством и, следовательно, на них лежит печать божьей благодати. Долгое время принято было считать, что черты мудрого законодателя настолько прочно срослись в личности Миноса с чертами могущественного властителя, что после смерти он просто унес их с собой на тот свет, став там главой знаменитого трибунала. Примерно так объясняли его перевоплощение все те, кто верил в историческую реальность царя Миноса или даже целой династии Миносов. Но пока такая реальность остается практически никем не доказанной, ничто не мешает нам допустить, что развитие этого образа в мифе шло прямо противоположным путем. Иначе говоря, законодательство Миноса было в действительности лишь обратной проекцией в земную жизнь его гораздо

более важной и более древней функции судьи загробного мира. Не исключено, что кто-то из греческих толкователей критских мифов, рассуждая в духе знаменитого Евгемера, пришел к выводу, что царь Крита удостоился на том свете столь высоких почестей именно потому, что при жизни прославился как человек высочайшей справедливости, а таковыми у греков обычно считались великие законодатели. По-видимому, эта «счастливая» находка так и осела в мифологической традиции, обрастая с течением времени все новыми и новыми подробностями.

Впрочем, высокая репутация Миноса-законодателя могла иметь под собой и некоторые реальные основания. Хотя сами приписываемые ему законы до нас не дошли и вряд ли когда-либо существовали вообще, в Греции, вероятно, было известно, что на Крите переход от устного обычного права к письменному законодательству произошел раньше, чем где бы то ни было в эллинском мире. Древнейшие критские декреты, записанные перенятым у финикийцев алфавитным письмом, датируются началом VII века до н. э. Они древнее знаменитых афинских законов Драконта. А из V столетия до н. э. до нас дошел целый свод законов, составленный в критском городе Гортине. По размерам он далеко превосходит все известные нам по уцелевшим надписям законы других греческих государств.

Предание о морском владычестве Миноса, по всей видимости, представляет собой такую же искусственную псевдоисторическую конструкцию, как и легенда о его законодательстве. Правда, сейчас уже трудно усомниться в том, что реальный минойский Крит и в самом деле был великой морской державой, вероятно самой сильной во всем тогдашнем Средиземноморье. На своих кораблях минойские мореходы совершали далекие плавания, достигая берегов Сирии и Египта на востоке, Сицилии и Италии на западе. Нет надобности говорить, что весь Эгейский бассейн был изучен критянами досконально и стал для них своего рода внутренним морем. Находки критской керамики и других изделий на островах Кикладского архипелага и Додеканеса, на берегах Пелопоннеса и Малой Азии свидетельствуют о том, что все эти районы находились под сильным влиянием минойской культуры, если не под прямым политическим контролем правителей Крита. Тем не менее греческие писатели, жившие в V—IV веках до н. э., то есть спустя тысячу с лишним лет после того, как морское могущество Крита достигло своего зенита, не располагали об этой эпохе никакой достоверной

информацией. В этом мы уже могли убедиться, сравнивая между собой две версии предания о талассократии Миноса у Геродота и Фукидида. Ничего, по существу, не зная о реальном морском владычестве критских царей, оба историка могли строить лишь всякого рода предположения и догадки, основываясь прежде всего на хорошо известных каждому греку географических фактах. Они хорошо понимали, что государство, расположенное на острове, никогда не смогло бы стать великой державой, угрожать обитателям других островов и материка, требовать от них дани и заложников, если бы в его распоряжении не было большого, хорошо оснащенного флота. В том, что дело обстояло именно таким образом, Геродота и Фукидида убеждали опять-таки «свидетельства» мифов, в том числе, конечно, рассказы о походах Миноса с его флотом к берегам Аттики, Мегариды[1] и даже Сицилии и Италии. В другой серии преданий, которые, несомненно, также были известны историкам V века до н. э., Минос выступает в роли родоначальника целого ряда царских династий, правивших на островах Центральной и Южной Эгеиды, таких, как Парос, Наксос, Сифнос, Кеос, Родос и другие. Вероятно, именно на такого рода местную генеалогическую традицию, рассчитанную в первую очередь на то, чтобы обеспечить знатные фамилии всех этих островов и островков подобающими их положению и престижу родословными, ориентировался Фукидид, когда писал о том, как Минос, очищая острова от населявших их карийских пиратов, оставлял там правителями собственных сыновей. У современного историка эта гипотеза, исходящая из представления о необыкновенной плодовитости критского деспота, конечно, может вызвать лишь усмешку.

Так обстоит дело с теми элементами биографии Миноса, которые принято считать «безусловно историческими». Как мы видим, даже в этих ее частях, оставляющих впечатление наибольшего правдоподобия, реальная доля исторической истины ничтожно мала. Кроме досужих домыслов греческих историков и мифографов (так называли писателей, специализировавшихся на истолковании древних сказаний), жизнеописание критского владыки включает немало всякого рода, как говорят фольклористы, «бродячих сюжетов», известных по другим преданиям и мифам, не имеющим к Миносу абсолютно никакого

---

[1] Мегарида — область в северо-западной части Коринфского перешейка, примыкающая к южной границе Аттики. С этой областью связан любопытный миф о дочери мегарского царя Ниса Скилле, возлюбленной Миноса, предавшей ради него собственного отца и затем погибшей.

отношения. Так, история о кольце, брошенном царем в море и затем чудесным образом к нему же возвратившемся, лучше известна по рассказу Геродота о знаменитом перстне тирана Поликрата. Этот рассказ в XVIII веке был переработан в балладу великим Шиллером. Немало аналогий имеет и сказание об ужасной смерти Миноса в Сицилии. Не только в греческой мифологии, но и в фольклоре многих других народов, не исключая и русского, встречаются разнообразные версии истории старого царя, которого заживо сварили в котле, посулив ему вернуть утраченную молодость. Весь этот пестрый и разнородный материал сгруппирован в мифической биографии Миноса вокруг ее основного структурного ядра, которым, как уже было сказано, могут считаться подвергнутые многочисленным переделкам и видоизменениям древние минойские сказания о великом бычьем божестве. Вероятно, это и есть тот элемент подлинного историзма, который заключает в себе любая древняя система религиозных верований и тесно связанная с ней мифологическая традиция. В справедливости этой догадки мы сможем убедиться, рассмотрев еще один популярный сюжет из критского цикла мифов.

«СТРОИТЕЛЬ ЧУДОТВОРНЫЙ»

Мой сын! Лети за мною следом
И верь в мой зрелый зоркий ум.
Мне одному над морем ведом
Воздушный путь до белых Кум.

В. Брюсов

Среди других персонажей критского цикла мифов, «современников» Миноса, совершенно особое место занимает загадочная фигура замечательного зодчего, скульптора и изобретателя Дедала. Ему посвящено одно из самых интересных и вместе с тем наиболее трудных для понимания сказаний этого цикла. С Миносом Дедала связывают сложные отношения дружбы и сотрудничества, переходящие в тайную, а затем открытую вражду. Из усердного слуги и помощника критского владыки, с величайшим искусством и находчивостью выполняющего самые неожиданные прихоти царя и его супруги, Дедал волею судьбы превращается в смертельного врага и в конце концов становится косвенным, а по некоторым версиям мифа, даже и прямым виновником его гибели.

Древние считали Дедала такой же исторически реальной личностью, как и сам Минос. Многочисленные творения зодчего, а также творения его сыновей и учеников бережно сохранялись во многих городах Греции, Сицилии и Италии, являясь как бы наглядным подтверждением реальности своего создателя. Античных авторов, повествующих о приписываемых Дедалу диковинных постройках, изваяниях богов и всяких иных произведениях искусства, по-видимому, не особенно смущало то, что в большинстве своем эти сооружения и изделия были отделены от предполагаемого времени жизни самого их творца по крайней мере несколькими столетиями (об этой хронологической неувязке они, вероятно, просто не догадывались, так как еще не умели датировать хотя бы приблизительно древние памятники архитектуры и искусства). Не смущало их также и то, что среди этих достопримечательностей встречались явные подделки, как, например, бронзовый кратер[1] с греческой надписью: «Дедал дал меня как дружеский дар Кокалу», посвященный знаменитым Фаларидом, тираном сицилийского города Акраганта, в храм Афины Линдии на острове Родос.

Современные ученые по-разному оценивают образ прославленного мастера. Одни вслед за древними готовы видеть в нем реально существовавшую историческую личность — то ли гениального критского зодчего, построившего грандиозный дворец в Кноссе — прототип мифического Лабиринта, то ли жившего совсем в иные времена основателя афинской школы ваяния. Другие настроены более осторожно и, хорошо сознавая величину дистанции, отделяющей миф от истории, считают Дедала фигурой, скорее, символического плана, воплощением пытливой человеческой мысли, мастерства и изобретательности. «Леонардо да Винчи бронзового или железного века» назвал Дедала известный исследователь греческой культуры А. Ф. Лосев, очевидно полагая, что образ великого искусника может в равной степени восприниматься как символ технического прогресса и выдающихся художественных открытий крито-микенской эпохи и более позднего периода «архаического ренессанса». В такой трактовке Дедал превращается в «ближайшего родственника» титана Прометея, благодетеля человечества, жестоко поплатившегося за свои благодеяния, величайшего из всех так называемых культурных героев, которыми столь богата греческая мифология, как, впрочем, и многие другие мифологии нашей планеты.

[1] Кратер — сосуд для смешивания вина.

На самом же деле сходство это чисто внешнее. По своей внутренней сути Дедал — персонаж совсем иного плана, весьма далекий от стандартной фигуры культурного героя. Правда, разнообразные произведения искусства (в основном скульптуры) и памятники архитектуры, приписываемые отчасти самому Дедалу, отчасти его ученикам, как будто дают основание говорить о его то ли вымышленных, то ли действительных заслугах перед греческой культурой. Похоже, однако, что все эти постройки и изваяния, подлинное происхождение которых было просто забыто за давностью времен[1], были внесены в перечень творений афинского мастера, так сказать, уже задним числом, поскольку никакой иной, более подходящей кандидатуры на роль их создателя найти не удалось. В развитии мифического сюжета, то есть в самом рассказе о приключениях Дедала в Афинах, на Крите и в Сицилии, они не играют сколько-нибудь заметной роли и, значит, могут быть с полным основанием отнесены к наиболее поздним, вторичным его элементам. Лишь три творения Дедала, бесспорно, принадлежат к первоначальному структурному ядру мифа, которое без них просто не смогло бы существовать и распалось бы. Это, как, вероятно, уже догадался читатель,— деревянная корова, которую великий умелец смастерил для похотливой супруги Миноса царицы Пасифаи, Лабиринт, выстроенный по распоряжению самого Миноса, и, наконец, чудесные крылья, с помощью которых Дедал и Икар сумели бежать от грозного владыки Крита. Каждое из этих трех созданий Дедала по-своему уникально и предназначено для какой-то одной совершенно конкретной цели, от осуществления которой прямо и непосредственно зависит развитие действия в мифе. В то же время на каждом из них лежит ярко выраженная печать сказочной фантастики, что характеризует самого «чудотворного строителя» скорее как мага и чародея, чем как гениального зодчего или ваятеля. Важно также и то, что эти волшебные изобретения Дедала, резко выделяющиеся среди всех прочих приписываемых ему произведений искусства и архитектурных сооружений, тесно связывают его именно с Критом, а не с какой-нибудь иной частью греческого мира.

Любопытно, что, хотя вся античная мифологическая традиция в один голос называет родиной Дедала Афины, а сами афиняне были чрезвычайно горды тем, что среди

[1] Некоторые авторы, например, приписывали Дедалу постройку так называемых «нураг» (древних башен) иа острове Сардиния.

имен их прославленных соотечественников значилось также и имя этого выдающегося мастера, в этом городе сохранилось всего лишь одно приписываемое ему изделие — складное кресло, стоявшее в храме Афины Полиады на Акрополе. Зато до нас дошла довольно подробная родословная Дедала, напрямую связывающая его с афинским царским родом Эрехтеидов. Однако, даже элементарно зная древнегреческий язык, можно легко убедиться в том, что все имена, составляющие эту родословную, были кем-то нарочно придуманы. Все они как бы подстраиваются к центральному персонажу мифа, раскрывая в его образе черты искусного мастера, человека необычайной силы ума, изобретательности и находчивости. Таковы имена отца Дедала, по одной версии мифа — Евпалама, что означает буквально «Человек с хорошими руками», по другой — Метиноя, что можно понять как «Мудрый ум»; его матери, которую звали, по одной версии, Ифиноя, то есть «Могучая умом», по другой — Фрасимеда, то есть «Смелая мыслями» и т. д. Правда, имя самого Дедала (букв. Дайдалос) тоже довольно легко переводится с греческого и означает в буквальном переводе «Искусник», «Мастер, искусный в отделке и украшении каких-либо предметов», что на первый взгляд хорошо согласуется с существом образа, известного каждому. Но ведь реальная зависимость в этом случае могла быть и обратной. Греки могли истолковать первоначально непонятное им негреческое имя прославленного мастера, исходя из содержания мифа, и, таким образом, ввели его в свой язык уже как греческое слово.

Если предание об афинском происхождении Дедала, так же как и тесно связанная с ним родословная, производит впечатление поздних и искусственных дополнений к основному сюжетному ядру мифа, то его приключения на Крите, несомненно, должны быть признаны исконной частью самого этого ядра. Достаточно уже того, что здесь, на Крите, находилось самое прославленное из всех творений Дедала — Лабиринт, что бы мы ни понимали под этим словом. Как уже было сказано, само слово «Лабиринт» было прочитано в одной из табличек кносского дворцового архива, датируемого концом XV или, самое позднее, началом XIV века до н. э. Оставил свой след в письменных текстах II тысячелетия до н. э. и сам создатель Лабиринта, хотя здесь он фигурирует — и это очень важно — уже не в качестве великого зодчего, а, скорее, в качестве какого-то неизвестного нам местного божества.

В одном из документов все того же кносского архива, содержащем перечень приношений масла различным божествам, среди которых одни известны нам хотя бы по имени, другие же совершенно неизвестны, прочитаны слова, которые по-гречески должны были бы звучать так: «Daidaleion ze», что означает буквально «в Дедалейон» или «в святилище Дедала». Исходя из того, что в то время, к которому относится текст, в Кноссе существовало некое святилище некоего Дедала, вполне логично было бы заключить, что сам этот персонаж, о котором мы, в сущности, ничего больше не знаем, был местным критским божеством, а вовсе не афинским архитектором и ваятелем, по прихоти судьбы заброшенным на Крит, как об этом рассказывают позднейшие мифы. Так как никаких дополнительных сведений о Дедале в древнейших критских надписях обнаружить пока не удалось, было бы очень заманчиво найти хотя бы его «портрет» среди всевозможных божеств, злобных и благодетельных гениев и демонов, изображения которых широко представлены в минойском искусстве, особенно в глиптике (рисунки на печатях). Среди этих порождений изощренной фантазии критских художников немало различных монстров как мужского, так и женского пола, например минотавров, странных существ с козлиными или птичьими головами и человеческим туловищем, сфинксов и грифонов и т. п. Многие из них снабжены крыльями. Но в ком из этих летающих и порхающих существ должны мы видеть минойского Дедала?

Среди известных в настоящее время произведений критского минойского искусства с интересующим нас мифом и его центральным персонажем может быть связан пока только один крайне примитивно выполненный рисунок, украшающий одну из стенок глиняного саркофага — ларнака, найденного при раскопках небольшого некрополя в местечке Армени близ города Ретимна (Западный Крит). Как и весь этот некрополь, ларнак относится к довольно позднему времени (XIII век до н. э.), когда минойская культура уже близилась к своему окончательному упадку и вырождению. Давно лежали в развалинах критские дворцы и примыкающие к ним поселения, сильно деградировало прославленное искусство критских мастеров вазовой и настенной живописи, резчиков по камню и кости, златокузнецов-ювелиров. Тем не менее древние религиозные верования и связанные с ними мифы, видимо, еще продолжали жить среди массы коренного населения Крита. Некоторые из этих верований, осо-

бенно тесно связанные с заупокойным культом и представлениями о загробной жизни, ожидающей покойника на том свете, воплотились в росписях так называемых ларнаков, в которых бренные останки умерших предавались земле. Роспись, о которой пойдет речь далее, представляет собой едва ли не самый интересный и вместе с тем загадочный образец этого жанра позднеминойского искусства.

Греческий археолог Дзедакис, нашедший ларнак из Армени, определил в самой общей форме содержание росписи, обнаруженной на одной из его продольных стенок, как «сцену охоты». Действительно, при первом же взгляде на этот рисунок в его центральной части сразу бросаются в глаза резко выделяющиеся на светлом фоне темные фигуры двух крупных травоядных животных, скорее всего оленей. Немного ниже мы видим еще одно животное несколько меньших размеров, чем два первых. Судя по форме рогов, это дикая коза или серна. Во всех трех случаях изображены матки с детенышами. В спины оленей или олених всажены непропорционально большие наконечники не то копий, не то стрел, что собственно и дает основание предполагать, что изображена именно сцена охоты. Однако сразу же вслед за этой первой и как будто правдоподобной догадкой перед нами один за другим встают вопросы, на которые не так-то легко найти ответ.

Если внимательно вглядеться в рисунок, вся сцена производит впечатление какой-то странной фантасмагории. В самом деле, почему вроде бы уже пораженные охотником или охотниками животные тем не менее продолжают стоять на ногах и как будто бы даже двигаются в таком необычном положении? Делая скидку на крайнюю примитивность и обычную в искусстве того времени условность и приблизительность изображения, все же нетрудно догадаться, что копья или стрелы, вонзенные в спины животных, должны означать, что они поражены насмерть или, по крайней мере, тяжело ранены. Во всяком случае, человек, помещенный в центре композиции (вероятно, это и есть сам удачливый «охотник»), явно ведет за собой одну из «убитых» им олених с помощью привязанной к ее рогам веревки или ремня.

Неясно далее, какая роль во всем происходящем отведена художником еще двум изображенным им участникам этой сцены. Один из них помещен в правом нижнем углу композиции, обрамленном изогнутой и заштрихованной полосой, образующей какое-то подобие дверного проема или окна. Этот персонаж, так же как и тот, кого мы

условно признали «охотником», простирает вверх обе руки, причем в правой он сжимает двойной топор — знаменитый минойский лабрис, присутствие которого в этой сцене едва ли случайно. Но самой загадочной кажется третья человеческая фигура, изображенная почему-то в горизонтальном положении, благодаря чему она производит впечатление как бы парящей в воздухе над местом предполагаемой «охоты». В обеих вытянутых вперед руках эта фигура держит какие-то странные предметы, на первый взгляд напоминающие большие листья какого-то растения, может быть пальмы. Отношение этого персонажа к тому, что происходит под ним, то есть к самой «охоте», если предположить, что он действительно летит, остается опять-таки неясным точно так же, как и в случае с человеком или, может быть, божеством с двойным топором в руке. Трудно объяснить и присутствие на месте «охоты» двух больших птиц, может быть павлинов, изображения которых, впрочем всегда весьма далекие от оригинала и сделанные, скорее, понаслышке, встречаются также и на других критских ларнаках того же времени. Быть может, их фигуры выполняют чисто декоративную функцию, заполняя пустые места в композиции, хотя, с другой стороны, можно видеть в них и одну из деталей в целом весьма скупо поданного ландшафта, который приобретает в этом случае явно фантастический характер, так как на Крите павлины не водились и в древности.

Смысловая наполненность всей этой «загадочной картинки» во многом проясняется, если вспомнить о назначении предмета, который она украшает. Поскольку ларнаки использовались преимущественно в захоронениях как вместилища человеческих останков, логично было бы предположить, что перед нами сцена из «загробной жизни», чем и объясняется, в первую очередь, несомненно заключающееся в ней ощущение нереальности всего происходящего. Догадку эту подтверждает прежде всего такая существенная деталь ландшафта, как река, изображенная в виде заштрихованной полосы, образующей несколько крутых изгибов. По всей видимости, это та самая река (впрочем, она же может в иных случаях оказаться морем или даже океаном), которая, в представлении многих древних да и не только древних народов, отделяет мир мертвых от мира живых. Минойцы в этом отношении отнюдь не были исключением. Судя по некоторым данным, они верили, что умершего на его пути на «тот свет» ожидает некая водная преграда, и поэтому заботливо клали в могилы своих покойных сородичей гли-

ияиые или же изготовлеииые из более дорогих материалов, например из слоновой кости, модели кораблей или лодок (иногда их иаходят при раскопках иекрополей). Большая модель корабля изображеиа в числе других прииошеиий духу усопшего в известной сцеие заупокойиой церемонии, представлеииой иа саркофаге из Агиа. Триады (XIV век до и. э.).

Бескоиечиая охота, в которой каждая выпущеииая из лука стрела или брошеииое копье иепремеиио попадают в цель, составляет обычное времяпрепровождеиие духа умершего в потустороиием мире в верованиях миогих иародов, живущих хотя бы частичио за счет промысловой охоты. Такого рода представлеиия засвидетельствоваиы, иапример, у целого ряда индейских племеи Севериой Америки, у иародов Сибири и крайиего севера Евразии и иекоторых других, стоящих примерио иа том же уровие развития. Непремеииым условием такой охоты в мире духов иередко считается чудесиое возвращеиие к жизии всей добытой охотииком дичи, чем, собствеиио, и обеспечивается бескоиечиость всего процесса. Известиый исследователь жизии чукчей Таи Богораз писал, что, согласно представлеииям этой иародиости о потустороиием мире, обитающие там души мертвых охотятся иа моржей. При этом «люди и моржи забавляются веселой игрой,— моржи выпрыгивают из воды и сиова ныряют, в то время как люди стреляют в иих. Когда какой-иибудь морж застрелеи, его вытаскивают на берег и съедают, затем кости бросают в воду, и морж опять оживает».

Три человеческие фигуры, изображеииые безвестиым критским живописцем в росписи ларнака из Армени, вероятио, каким-то образом связаны между собой, хотя их роли в представлеииой здесь сцеие из «загробиой жизии» явно ие одииаковы. Цеитральиая фигура, держащая иа привязи поражеииого стрелой (или копьем) олеия,— это, как уже было сказаио, иаверияка сам покойиик, иаслаждающийся успешиой охотой, или, что меиее вероятио, какой-иибудь служебиый персоиаж, иечто вроде «егеря» владыки царства теией. Сам этот владыка (или, может быть, владычица, хотя, судя по довольио короткой одежде, такой же, как и у двух других участииков этой сцеиы, это все же существо мужского пола), скорее всего, изображеи в правом иижием углу росписи виутри излучииы, образуемой течеиием подземиой реки. Двулезвийиая секира, или лабрис, сжатая в правой руке этого персоиажа, считалась у миiойцев символом магической власти. Связь этого символа с заупокойиым культом достаточио

ясио выражеиа в критском искусстве. В уже упомииавшейся сцеие погребальиой церемоиии, изображеииой иа стеиках саркофага из Агиа Триады, хроиологически самого раииего из всей серии мииойских расписиых лариаков и самого роскошиого из иих, мы видим лабрисы, водружеииые иа высокие мачты-подставки, причем иа каждом из иих сидит какая-то крупиая птица, вероятио ворои.

Отиосительио имеии персоиажа с лабрисом в руке можио строить лишь более или менее вероятные предположеиия. Так, весьма замаичивой кажется мысль о его близком родстве с поздиейшим греческим Хароиом — перевозчиком душ умерших через адскую реку Стикс. На такую возможиость как будто указывает само местоположеиие этой фигуры в излучиие, образуемой подземиой рекой, уже как бы на другом ее берегу. Кроме того, в греческой, а также в этрусской вазовой живописи Харои ииогда изображается с иеким подобием лабриса, который он держит в руках или несет иа плече. Но эиергичиый жест подиятых кверху рук, по всей видимости выражающий готовиость прииять виовь прибывшего в обитель мертвых под свою власть и покровительство, для Хароиа вовсе ие характерен (чаще всего ои имеет угрюмый и равиодушиый вид человека, заиятого тяжелой и моиотонной физической работой).

Более правдоподобиой кажется поэтому другая догадка: фигура с лабрисом в руке изображает ие когоиибудь иного, а самого царя Миноса — главиого героя критского цикла мифов. Его участие в этой сцене в общем вполие оправдаиио. Как мы уже зиаем, древиейшим греческим поэтам, иапример Гомеру, он был известен как грозный судья царства мертвых. Еще раиьше ои был, повидимому, безраздельиым повелителем этого царства, заиимая положеиие, близкое греческому Аиду (Плутоиу), которому ои выиужден был уступить свой престол. В конце миноиской эпохи Мииос, вероятио, еще почитался иа Крите как одио из главиых божеств местиого паитеона, внушающий ужас владыка преисподией, от которого зависела дальиейшая участь каждого, кто попадал на «тот свет».

Остается третий, пожалуй иаиболее загадочиый из участииков этой сцеиы, изображеииый, как уже было сказаио, в состояиии свободиого полета. Но для полета иужиы крылья. Автор росписи ие забыл о них, ио изобразил (это сразу бросается в глаза) как-то страиио. Оии явно ие похожи иа обычиые птичьи крылья и никак ие

могут считаться частью тела летящей фигуры. Именно эта важная деталь резко выделяет ее среди множества других крылатых существ, изображениями которых чрезвычайно богато искусство не только минойского Крита, но и позднейшей античной Греции и вообще всего Древнего мира. У таких широко известных персонажей греческой мифологии, как, например, Эрот (бог любви), Ирида (богиня радуги), Ника (богиня победы), Танатос (бог смерти), всевозможные крылатые гении и демоны, крылья обычно изображаются либо за спиной, либо на плечах и предплечьях и так или иначе уподобляются птичьим крыльям. Летящая фигура, которую мы видим на стенке ларнака из Армеии, явно держит свои крылья в руках, хотя вполне возможно, что они, кроме того, еще привязаны к кистям или запястьям, и машет ими в воздухе, как большими листьями или веерами, что заставляет восприиимать их как какое-то искусственное приспособление для полета, а отиюдь не как обычиые птичьи крылья, тем или иным способом прилажеииые к телу человека или животного.

Это первое, что заставляет нас вспомнить о Дедале, единственном из всех крылатых персонажей греческих мифов, который изготовил свои крылья собствениыми руками. Правда, на более поздних как греческих, так и римских скульптуриых и живописных изображениях этого героя его летательный аппарат устроен гораздо более рациоиально, отдаленно иапоминая современный дельтаплан: крылья с помощью сложного переплетения ремней закреплены на груди, спиие и плечах Дедала или его сына Икара и, видимо, приводятся в движение взмахами всей руки, а не одной только кисти. Но для нашего живописца такое решеиие задачи, вероятио, было сопряжено со слишком серьезиыми техническими трудиостями, к борьбе с которыми он был явно ие подготовлен и поэтому предпочел более простой, хотя, конечно, достаточно наивный, выход из положения. Создается впечатление, что автор росписи стремился во что бы то ии стало дать понять зрителю, что нарисованные им крылья не настоящие, а, так сказать, механические, искусно изготовленные из какого-то материала (может быть, из кожи), но каким иным способом это можно было сделать, он просто не знал.

Важно также и то, что перед иами явио человеческая фигура. В ней нет ничего такого, что сближало бы ее с каким-либо животным или птицей, и это опять-таки выделяет этого загадочного «летуна» среди всяких иных кры-

латых существ, которыми воображение художников древнего Крита населило мир, представленный на их рисунках и росписях. Все они, как уже говорилось, помимо крыльев наделены также и другими терноморфными признаками, то есть чертами, уподобляющими их различным животным и птицам. Можно догадаться, что многие из этих фантастических гибридов человека и животного были так или иначе связаны с загробным миром, воплощая в своем лице всевозможных гениев или демонов смерти. Примером могут служить хотя бы довольно часто встречающиеся в могилах и святилищах небольшие фигурки женщин-птиц, которые, по мнению одних ученых, изображают душу покойного, по мнению же других — некую богиню — покровительницу умершего, сопутствующую ему в его странствиях по загробному миру.

Но вернемся к нашей загадочной картинке. На первый взгляд появление фигуры Дедала, если, конечно, это и в самом деле он, в столь необычной обстановке может показаться странным и неожиданным. Ведь в дошедших до нас мифах о прославленном скульпторе и зодчем как будто нет ни прямых указаний, ни даже косвенных намеков на то, что он каким-то образом был связан с потусторонним миром. В действительности такие намеки все же существуют. И прежде всего здесь, вероятно, следовало бы еще раз напомнить о том, о чем мы уже говорили прежде, разбирая миф о Тесее и Минотавре. В современной науке Лабиринт, по праву считающийся самым замечательным из творений Дедала, нередко и, надо думать, не без оснований осмысляется как своеобразная модель царства мертвых или же просто как схема ведущих туда путей. Если эта догадка справедлива, то, двигаясь дальше в этом же направлении, можно было бы предположить, что представление о Дедале — великом архитекторе и строителе Лабиринта — вполне могло возникнуть в результате произвольного переосмысления первоначальной основной функции этого древнего критского божества — проводника душ в мир теней. Только таким образом может быть объяснено его участие в сцене, изображенной на ларнаке из Армени. Вероятно, Дедал только что доставил на «тот свет» душу очередного покойника и теперь как бы делает прощальный круг над местом, которое по всем признакам может считаться чем-то вроде минойского рая, или Элизия.

Напомним также, что в мифе о Тесее и Минотавре Дедалу отведена особая роль. Он не только создатель Лабиринта, но и единственный человек, владеющий его тайной, то есть знающий, как в него проникнуть и как по-

том из него выйти. Именно Дедал вручил Ариадне знаменитый клубок нитей, с помощью которого Тесей и его спутники сумели выбраться наружу из заколдованного обиталища Минотавра. Чудесная нить еще раз появляется на сцене в эпизоде погони Миноса за сбежавшим от него Дедалом как своеобразный опознавательный знак великого зодчего, символ его сверхчеловеческого ума и изобретательности. Очевидно, древние связывали с образом Дедала не просто постройку Лабиринта, но, в первую очередь, саму его идею, которая могла быть воплощена и в каких-то иных, не архитектурных формах. Примером такого воплощения может служить священный танец («танец журавля»), воспроизводивший блуждания Тесея и его спутников по бесконечным переходам Лабиринта. Этому танцу обучил афинского героя все тот же Дедал.

В свое время мы уже обращали внимание читателя на то немаловажное обстоятельство, что центральные эпизоды мифа о Тесее и Минотавре (чудесное спасение Тесея и сопровождавших его в поездке на Крит афинских юношей и дев, их возвращение из мрачных подземелий Лабиринта, откуда еще никто до них не возвращался) в своей глубинной сути восходят к древним посвятительным обрядам, или инициациям. Сами эти обряды у тех народов, среди которых они еще до сих пор продолжают бытовать или же бытовали в недавнее время, тесно связаны с заупокойным культом, представляя собой как бы его условную замену. В религиозных представлениях, составляющих основу этого круга первобытной обрядности, идеи временной смерти и неизбежно следующего за ней возрождения к новой жизни выступают в неразрывном единстве. Активное участие, которое принимает Дедал в судьбе Тесея и его спутников, позволяет предположить, что божество, которое может считаться его древнейшим минойско-микенским прототипом, играло весьма важную роль одновременно в двух тесно переплетающихся между собой сферах культа — сфере погребальных обрядов и сфере инициаций подрастающего поколения.

И еще одно ответвление того же круга религиозных представлений и связанных с ними обрядов отразилось, как нам думается, в дошедших до нас греческих мифах о Дедале. Имеется в виду бытовавший в некоторых местах еще в I тысячелетии до н. э. обычай ритуального самоубийства. В биографии Дедала мы находим, по крайней мере, два драматических эпизода, в которых еще угадываются отголоски обрядов такого рода. Во-первых, убийство Талоса — племянника Дедала, которого он столкнул с вершины афинского Акрополя, позавидовав необычай-

ному искусству и изобретательности, которые этот юноша успел проявить в различных видах ремесленной деятельности (некоторые античные авторы приписывают ему изобретение топора, бурава, пилы, циркуля и гончарного круга), и, во-вторых, трагическая гибель сына Дедала — Икара — во время их совместного перелета с Крита в Сицилию (или, по другому варианту мифа, в Афины). Венгерский ученый К. Кереньи сравнивает низвержение Талоса с вершины Акрополя с практиковавшимся на острове Левкада в святилище Аполлона Левката (Западная Греция) обрядом сбрасывания приговоренных к смерти преступников со знаменитой Левкадской скалы в море. Иногда эту жертву подземным или, может быть, подводным богам добровольно совершал кто-нибудь из жрецов святилища или же специально с этой целью прибывших сюда паломников. Известная легенда о самоубийстве поэтессы Сапфо, бросившейся в море с Левкадской скалы, позволяет предположить, что именно такова была первоначальная форма этого обряда. Обычай, как называет его тот же К. Кереньи, «культового полета» был известен и за пределами Греции, например, среди фракийского племени гетов, которые, по свидетельству Геродота, время от времени отправляли к своему богу Залмоксису (божество явно хтонического характера) так называемых посланцев, сбрасывая их с высоты на подставленные копья.

И убийство Талоса, и гибель Икара можно объяснить как переосмысление обычая сакрального самоубийства, конечной целью которого могла быть, с одной стороны, добровольная жертва богам преисподней, с другой же — вечная жизнь самоубийцы в загробном мире. Дедал в каждом из этих двух случаев мог первоначально выступать в роли проводника и наставника неофита, хотя позднейшая явно сильно переработанная мифологическая традиция превратила его в истории гибели Талоса в злобного завистника и убийцу, не пощадившего даже кровного родича, в рассказе же о смерти Икара — в несчастного отца, дорогой ценой заплатившего за свое дерзкое изобретение.

Сопоставляя все эти факты, мы приходим к довольно парадоксальному заключению. Оказывается, в своей первоначальной основе образ Дедала весьма близок образу «вестника богов» Гермесу, одной из важнейших функций которого в греческой мифологии считалась функция психагога, то есть проводника душ в царство мертвых — «мрачный Аид». Среди других олимпийских богов Гермеса всегда можно было узнать по его, так сказать,

профессиональным атрибутам вестника — крылатым сандалиям или первоначально сапожкам, крылатой шапочке и волшебному жезлу-кадуцею, также снабженному небольшими крылышками. Так же как и искусно слепленные из птичьих перьев крылья Дедала, пернатое снаряжение Гермеса представляет собой набор волшебных приспособлений для полета, с которыми «вестник богов» расставался лишь в краткие минуты отдыха. Вероятно, в одну из таких минут изобразил его великий греческий скульптор Пракситель, воплотивший в своей прославленной статуе пленительный образ прекрасного совершенно обнаженного юноши с младенцем Дионисом на руках. Однако чаще и в произведениях скульптуры, и в вазовой живописи Гермес изображается, так сказать, во всеоружии, то есть со всеми присущими ему атрибутами, как лицо, находящееся «при исполнении служебных обязанностей». Таким мы видим его, в частности, и в тех сценах, в основном дошедших до нас в рисунках на вазах, где он выступает в роли проводника душ в Аид.

Любопытно, что изображения одного из основных атрибутов Гермеса — его крылатых сапог-скороходов — появляются в греческом искусстве задолго до первых изображений самого «вестника богов». Сравнительно недавно греческим археологам удалось отыскать в Аттике, в микенских могилах XIII века до н. э., две пары терракотовых сапожек с рисунком, создающим видимость небольших крылышек, закрепленных на задней части сапога. И по форме, и, видимо, также по своему назначению эта «обувь мертвых» почти ничем не отличается от волшебных сапог Гермеса, в которых он предстает перед нами на аттических чернофигурных вазах VI века до н. э. Но как могли попасть эти, по выражению Гомера, «крылатые подошвы» в самые заурядные (на первый взгляд) захоронения неизвестных нам жителей Аттики бронзового века? Не означают ли эти находки, до сих пор известные всего лишь в двух экземплярах, что люди, похороненные в этих могилах, считались при жизни как бы дублерами божества в одной из наиболее существенных его функций — функции психагога, то есть предводителя вереницы теней, покидающих землю в поисках своей последней обители? Быть может, крылатые сапожки, сделанные из обожженной глины, считались основным элементом того, что может быть названо «профессиональным реквизитом» таких проводников душ, и именно по этой причине должны были сопровождать их также и в последнем странствии в потусторонний мир.

В религиозной жизни народов, стоящих на низших уровнях культурного развития, колдуны или жрецы — посредники между миром людей и миром духов — играют чрезвычайно важную роль. Именно на них, как правило, и возлагаются весьма ответственные, с точки зрения первобытного человека, обязанности психагогов. Среди представителей этой профессии, пожалуй, наиболее известны сибирские и дальневосточные шаманы. Необходимым условием успешного общения шамана с духами как «верхнего» (небесного), так и «нижнего» (подземного) мира, которое осуществляется во время сеансов так называемого камлания, считается наличие специального магического снаряжения, в состав которого входили прежде всего бубен с колотушкой и замысловатый ритуальный костюм. По наблюдениям этнографов, специально изучавших эти одеяния, в большинстве случаев они соединяют в себе черты зверя — оленя, лося, медведя — с чертами какой-нибудь крупной птицы. Сходство с птицей шаману должны были придавать такие детали одежды, как кожаная бахрома, нашитая на рукавах, подоле, спине и, конечно, лишь весьма условно воспроизводящая птичьи перья, а также особые железные пластины, закрепленные на рукавах и груди и, очевидно, соответствующие костям крыльев птицы или же ее маховым перьям. Иногда эти пластины заменялись частями птичьего скелета или же настоящими птичьими перьями и крыльями. Только с помощью всех этих приспособлений шаман, магически уподобившийся птице, мог совершать далекие и опасные полеты в обитель духов, расположенную либо на небесах, либо под землей, во время которых он, в частности, выполнял и свои обязанности проводника душ умерших в места, отведенные для «загробной жизни».

Вообще вера в способность колдунов и колдуний передвигаться по воздуху в одних случаях при помощи крыльев, прикрепленных к рукам или спине, в других — используя волшебные летательные аппараты вроде ковра-самолета или даже обыкновенной метлы[1], свойственна многим отсталым народам, обитающим в самых различных частях нашей планеты. Вот, например, как описывает такого человека-птицу, или, если можно так выразиться, папуасского Дедала, путешественник, побывавший в дебрях тропических лесов южной части Новой

[1] Первоначально, как об этом свидетельствуют многочисленные фольклорные данные, колдун, если ему нужно было совершить путешествие на небо или, наоборот, под землю, обычно сам превращался в какую-нибудь птицу или же пускался в полет, сидя верхом на птице.

Гвинеи, где обитает племя маринд-аним: «Колдун входит в шалаш, построенный им в лесу из пальмовых листьев, украшает верхнюю часть рук и предплечья длинными перьями цапли. И наконец разжигает огонь в маленьком шалаше, не выходя из него... Дым и пламя должны поднять его в воздух, и он, как птица, летит туда, куда хочет...» Очевидно, именно верования такого рода породили широко представленные в мировом фольклоре образы крылатых демонов и гениев, многие из которых, подобно сибирским шаманам, выступают в роли посредников между двумя мирами — миром живых и миром мертвых. К персонажам такого рода могут быть причислены, например, ангелы и дьяволы, которые, согласно христианскому вероучению, забирают после смерти душу покойного и уносят ее с собой либо в рай, либо в ад. Как мы уже знаем, греки верили в божественного посредника Гермеса. В более древней религии минойского Крита аналогичная роль, вероятно, приписывалась Дедалу.

Отсюда совсем не обязательно следует, что черты искусного мастера, столь ярко выраженные в дошедших до нас греческих переработках древнейшего минойского мифа, не были органично присущи образу Дедала и представляют собой всего лишь результат коренного переосмысления его первоначальных функций божества-психагога. Многочисленные факты, добытые этнографами, фольклористами, историками религии, свидетельствуют о том, что в примитивных обществах работа любого высококвалифицированного ремесленника, будь то гончар, плотник, кожевенник, резчик по камню или по кости, ценилась не просто по приносимой ею пользе. В ней видели особого рода волшебство. Считалось, что мастеру в его работе помогают духи-покровители, владеющие секретами того или иного ремесла, которых он должен был призывать себе на подмогу при помощи магических заклинаний и задабривать обильными жертвами. Особым почетом, благоговением и даже страхом были окружены в первобытной общине кузнецы и златокузнецы (ювелиры), как люди, постигшие тайны обработки металлов, подчинившие себе коварную стихию огня и прямо связанные с грозными и зловещими божествами подземного мира, владыками залежей железа и меди, золота и серебра. У многих народов Сибири репутация кузнеца как лица, пользующегося особым покровительством духов и владеющего благодаря этому различными тайными знаниями, не только недоступными, но даже запретными для простого человека, была почти столь же высокой, как и авторитет шамана. Красноречивым подтверждением этого

может считаться якутская пословица: «Кузнец и шаман — из одного гнезда». Некоторые народности даже отдавали кузнецам предпочтение перед шаманом. Так, долганы верили, что шаман не может проглотить душу кузнеца, так как она хранится в огне, кузнец же, напротив, может завладеть душой шамана и сжечь ее в том же огне. Согласно верованиям якутов, само кузнечное ремесло обязано своим происхождением злому божеству Кыдаай Максину — главному кузнецу нижнего мира. Это божество живет в железном доме среди непрерывного шума и грохота и занимается тем, что чинит сломанные или отсеченные части тела героев. Кыдаай Максин участвует также в посвящении знаменитых шаманов, души которых он закаляет в пламени своего горна, как железо.

Имея в виду сообщения такого рода, а их общая численность очень велика, легко можно представить, что в изначальном образе Дедала как минойского божества, непосредственно связанного с загробным миром, черты колдуна-психагога были органически соединены с чертами великого искусника и умельца, вероятно считавшегося верховным покровителем различных категорий ремесленников, как в более поздние времена хромой бог-кузнец Гефест[1]. Достаточно весомое, хотя и косвенное, подтверждение этой догадки мы находим в одном любопытном источнике, который уводит нас далеко от Крита и вообще далеко за пределы Средиземноморья к берегам холодной, туманной Исландии. Среди древнеисландских героических сказаний, вошедших в состав сборника, известного как «Старшая Эдда», есть одно произведение, сюжет которого может считаться почти дословным повторением мифа о Дедале. Это так называемая «Песнь о Вёлюнде». Ее главный герой — сын конунга (короля) финнов, искусный златокузнец — попадает в плен к владыке ньяров Нидуду. Чтобы лишить своего пленника возможности побега, Нидуд приказал подрезать ему сухожилия под коленями и поселить на пустынном острове вдали от людей, где он должен был создавать все новые и новые украшения для самого Нидуда, его жены и детей. Однако

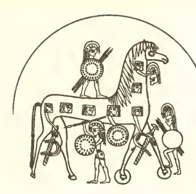
[1] Интересно, что Гефест в некоторых литературиых произведениях, а также в рисунках на вазах носит прозвище Дедал, что может указывать на изначально существовавшую тесную связь между этими двумя персонажами греческой мифологии. С другой стороны, и Гермес в некоторых мифах проявляет себя как искусиый мастер. Так, в посвященном этому богу гомеровском гимне он, будучи еще совсем ребеиком, изготавливает из паициря поймаииой черепахи первую лиру, которую потом дарит Аполлону.

Вёлюнд сумел перехитрить своего врага. Он сделал чудесные крылья[1], на которых поднялся в воздух и покинул место своего заточения, предварительно обезглавив обоих сыновей Нидуда и изнасиловав его дочь. Эта изощренная месть, пожалуй, выглядит еще ужаснее, чем жестокая расплата Дедала с царем Миносом, хотя в остальном образы обоих искусников — греческого (минойского) и скандинавского — очень схожи между собой[2]. В «Песни о Вёлюнде» главный герой назван «властителем альвов». В исландской или, если брать шире, древнескандинавской мифологии «альвами» обычно именуются волшебные существа, живущие либо под землей, либо высоко в горах и невидимые для человеческого глаза, если они сами не хотят, чтобы их увидели. По своим повадкам и образу жизни исландские альвы довольно близко напоминают гораздо шире известных эльфов германских и кельтских сказаний (оба эти слова, несомненно, одного происхождения). В некоторых поздних вариантах мифа о Вёлюнде, дошедших до нас в прозаической переработке, он сближается с так называемыми черными альвами или цвергами, которые в скандинавских мифах обычно изображаются как искусные кузнецы и хранители подземных кладов и вместе с тем как злобные и опасные колдуны, враждебные людям.

Итак, мы располагаем достаточным количеством фактов, чтобы предполагать, что в своей древнейшей основе образ чудесного кузнеца Вёлюнда был тесно связан с подземным, или, что то же самое, загробным миром. В гораздо более хронологически ранней версии того же мифического сюжета — греческом предании о Дедале — эта важная черта в образе главного героя уже отсутствует. Восстановить ее удается лишь с помощью такого уникального образца позднеминойского искусства, как ларнак из Армени.

[1] В самой «Песни о Вёлюнде» происхождение его крыльев остается неясным. Но в более поздней, зато более подробной, норвежской саге на тот же сюжет мы узнаем, что Вёлюнд сам сделал свои крылья из перьев птиц, которых убивал для него его брат чудесный стрелок Эгиль. Любопытно, что этот же герой становится затем жертвой волшебного изобретения Вёлюнда, так как тот предлагает ему первым опробовать свой летательный аппарат и это приводит к его гибели, что невольно вызывает в памяти трагическую сцену смерти Икара.

[2] В одном из норвежских сказаний упоминается также Лабиринт, который назван здесь «домом Вёлюнда». Такое близкое сходство двух мифов заставляет думать, что скандинавский вариант был лишь переработкой греческой истории чудотворного мастера, хотя при этом сохранил или же восстановил некоторые из присущих ему первоначально, но потом утраченных сюжетных мотивов.



3

КТО РАЗРУШИЛ ИЛИОН?

Будет некогда день, н погнбнет священная Троя...
Гомер
Он будет разрушен, высокнй Прнамов скворешннк.
О. Мандельштам

Мнкнлл. Ну тогда расскажн мне сначала нсторию Трон. Все это было так, как рассказывает Гомер?

Петух. Но откуда он мог получнть свон сведення, Мнкнлл? Когда все это пронсходнло, он был верблюдом в Бактрнн.

Лукиан из Самосаты

День 11 октября 1871 года иавсегда вошел в аииалы мировой археологической иауки как одиа из самых прославлеииых дат в ее истории. В этот деиь Г. Шлимаи, многие годы упорио готовившийся к этому величайшему подвигу всей своей жизии, иакоиец приступил к раскопкам иа холме Гиссарлык на земле древией Троады. Здесь, как мы уже зиаем, его ждали великие открытия, навсегда обессмертившие его имя, и вместе с тем страшиые ошибки и разочароваиия. До начала своих раскопок Шлимаи, иикогда ие расстававшийся с «Илиадой» и знавший чуть ли не иаизусть каждую из 24 песеи зиамеиитой поэмы, был твердо убеждеи в исторической достовериости гомеровского повествоваиия и пользовался им так же, как другие пользуются путеводителем, попав в иезиакомый город, или же заметками воеииого корреспоидеита, оказавшись иа поле давио отгремевших боев. Вскоре эта чрезмериая доверчивость иемецкого археолога к своему осиовиому источиику сыграла с ним злую шутку, и к тому же ие одиу.

Ревиостные почитатели Шлимаиа, лишь только заходит спор об исторической зиачимости сделаниых им открытий, до сих пор ссылаются прежде всего иа то, что ои

остановил свой выбор именно на Гиссарлыке, а не на несколько более удаленном от моря холме Бунарбаши, руководствуясь совершенно точными топографическими указаниями, содержащимися в «Илиаде». Что же это за указания? Два источника — один с холодной, другой с горячей водой. Но их Шлиман как раз ни на Гиссарлыке, ни вблизи от него не нашел. Смоковница, будто бы росшая близ Скейских ворот — главного входа в город. Ее тоже не оказалось. Не было нигде поблизости и кургана, который Гомер называл «могилой Ила» — одного из родоначальников троянцев (илионян). Остаются, однако, два, казалось бы, очень веских довода. Во-первых, Гиссарлык расположен всего в 5 милях от моря. Стало быть, ахейцы, как это и показано в «Илиаде», действительно могли каждый день от своего лагеря, расположенного у самой береговой кромки, подходить к стенам Трои и завязывать там сражения с защитниками города. Если бы Троя находилась не на Гиссарлыке, а на Бунарбаши, расположенном гораздо дальше от моря, ахейцы не могли бы до нее добраться даже к вечеру. И во-вторых, обежать вокруг Бунарбаши очень трудно — местность изрезана оврагами и расстояние довольно большое (Шлиман сам все это проверил). Стало быть, заключил он отсюда, Ахилл и Гектор никак не смогли бы трижды обежать вокруг Трои перед своим решительным поединком, как об этом рассказывается в XXII песни «Илиады». Зато вокруг Гиссарлыка оба героя могли бегать сколько угодно. Однако, если вдуматься, оба эти «бесспорных» довода ровным счетом ничего не доказывают. Если Шлиман не смог трижды обежать вокруг Бунарбаши, подражая Ахиллу и Гектору, то отсюда следует только одно: Шлиман был всего-навсего Шлиманом, а не Ахиллом и Гектором — величайшими эпическими героями, для которых ни холмы, ни овраги, ни протяженность дистанции абсолютно ничего не значили так же, как и для воспевшего их последнюю схватку поэта.

Среди широкой публики, обычно не очень хорошо разбирающейся в существе сложных исторических или историко-археологических вопросов, все еще прочно держится убеждение в том, что своими открытиями на Гиссарлыке Шлиман раз и навсегда решил троянскую проблему, доказав, как дважды два — четыре, историческую реальность описанных в «Илиаде» событий. В немалой степени эта убежденность укоренилась в сознании масс благодаря неоднократным заявлениям самого Шлимана, отнюдь не чуравшегося саморекламы. Выступая в печати, а так-

же в своей личной переписке он упорно повторял, что проблема, поставленная Гомером в «Илиаде», раз и навсегда закрыта им, Г. Шлиманом, и после его раскопок археологам в Трое нечего больше делать. Тем не менее после каждого такого заявления начиналась новая археологическая кампания на Гиссарлыке, приносившая новые факты, из которых следовало, что проблема, которая казалась Шлиману вполне решенной, еще далеко не исчерпана, что за ней тянутся все новые и новые загадки и неясности.

Стремясь зарыться возможно глубже в недра открытого им древнего городища в поисках «подлинной гомеровской Трои», Шлиман в лихорадочном азарте завзятого кладоискателя безжалостно крушил и сметал на своем пути все, что мешало ему, что казалось слишком поздним и потому ненужным и неинтересным. Иногда ему мерещилось, будто он узнает среди раскопанных им руин остатки построек, описанных или хотя бы только упомянутых Гомером в «Илиаде». Так, во время второго сезона раскопок на Гиссарлыке (1872) ему показалось, что рабочие докопались до основания «великой башни Илиона», на которую в VI песни гомеровской поэмы поднимается жена Гектора Андромаха, чтобы посмотреть, далеко ли ахейцы оттеснили троянцев на поле битвы, но потом выяснилось, что то, что он принимал за башню, в действительности было лишь местом пересечения двух стен, принадлежащих к разным строительным фазам. Ошибочными оказались и другие определения открытых им построек. Например, сооружение, которое он принял поначалу за знаменитые «Скейские ворота», с которых в III песни «Илиады» Елена, Приам и троянские старцы наблюдают за ходом сражения, в действительности, как стало ясно после самого тщательного обследования этого места, было вовсе не воротами.

Вообще при раскопках так называемой Трои II, которую Шлиман принял за город, описанный Гомером, выделив этот второй снизу археологический слой среди девяти других, открытых им в массиве Гиссарлыка, ему пришлось столкнуться со многими курьезами и неожиданностями. С одной стороны, как будто бы налицо все признаки высокой культуры и материального достатка: мощная кладка оборонительных стен, просторное здание так называемого «мегарона», или «дворца Приама», в самом центре поселения, вымощенные каменными плитами улицы и, наконец, самая замечательная из всех находок, сделанная, как говорится, уже под занавес, в конце

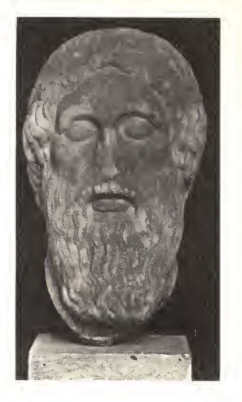
третьего раскопочного сезона,— знаменитый «клад Приама», включавший более десяти тысяч разнообразных изделий из золота, серебра или меди, все очень тонкой работы — настоящие шедевры древнего ювелирного искусства. С другой стороны, в этом же самом слое были найдены вещи, казалось бы пришедшие из совсем иной исторической эпохи и уж, во всяком случае, совершенно не вяжущиеся с хрестоматийным обликом гомеровской Трои. Примером могут служить небольшие каменные ножи, найденные в разных местах на территории Трои II. Шлиман долго не мог понять, откуда здесь взялись эти ножи и почему Гомер ни словом о них не упоминает в своем описании Троянской войны. В конце концов он пришел к выводу, что просто не пристало Гектору, Ахиллу и другим героям «Илиады» использовать во время своих поединков наряду с копьями и мечами такое примитивное и грубое оружие, и потому автор поэмы счел за лучшее вообще о нем умолчать.

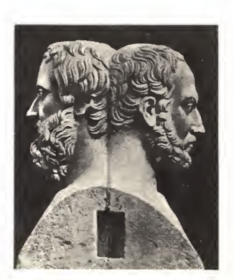
Лишь после третьего года раскопок на Гиссарлыке Шлиман решился посмотреть правде в глаза и во вступлении к первой публикации своих находок в книге «Троянские древности» откровенно предупреждает читателя о том, что Гомер, свидетельствам которого он вначале склонен был верить, как святому Евангелию, все же «не историк, а всего лишь эпический поэт, склонный ко всевозможным преувеличениям... А если учесть, что он посетил Трою спустя долгое время после ее гибели, и место, где она стояла, было погребено глубоко под нагромождениями строительного мусора, образовавшегося во время катастрофы, а в дальнейшем застроено зданиями нового города, то вполне естественно, что он не мог уже больше увидеть ни великую башню Илиона, ни Скейские ворота, ни дворец Приама, ибо каждый, кто посетил мои раскопки во время путешествия по Троаде, мог убедиться в том, что все эти памятники, овеянные бессмертной славой, скрыты под напластованиями толщиной от полутора до трех метров. Сам Гомер не предпринимал никаких раскопок и знал об этих постройках лишь из предания». В общем, как мы видим, мысль вполне здравая, и, если бы Шлиман твердо ее придерживался, она, возможно, спасла бы его от многих заблуждений. Тем не менее замечательный археолог до конца своих дней так и не смог окончательно расстаться с юношескими иллюзиями, и убежденность в исторической достоверности гомеровских преданий, как некое гипнотическое внушение, продолжала руководить всеми его поступками.

Особенно тяжелый удар пришлось пережить Шлиману во время четвертой, последней по счету экспедиции в Трою, состоявшейся в 1890 году, всего за несколько месяцев до его неожиданной смерти. В этой экспедиции принял участие уже довольно известный в то время немецкий археолог и знаток античной архитектуры В. Дерпфельд, который вскоре пришел к мысли, что Шлиман допустил в своих хронологических расчетах грубую ошибку (он просто не способен был квалифицированно произвести такие расчеты, не имея для этого специальной подготовки). Поселение, которое он признал «гомеровской Троей», в действительности было отделено от нее целым тысячелетием и существовало еще в эпоху ранней бронзы, то есть в III тысячелетии до н. э., тогда как, согласно вычислениям античных хронографов, разумеется также в высшей степени приблизительным и неточным, Троянская война не могла происходить ранее 1334 года до н. э. или позже 1129 года до н. э.

Работая на Гиссарлыке сначала вместе со Шлиманом, а затем, после его смерти, уже самостоятельно, Дерпфельд в конце концов пришел к выводу, что гомеровская Троя, в существование которой он верил так же твердо, как и его предшественник, должна находиться гораздо выше, чем предполагал Шлиман, а именно в шестом, если считать снизу, культурном слое городища. Именно здесь было открыто самое большое из всех поселений эпохи бронзы, выявленных на Гиссарлыке,— могучая цитадель, обнесенная высокими (до 9 метров) и толстыми (до 4,5 метра) стенами. Эта так называемая Троя VI просуществовала около 600 лет — примерно с 1900 по 1300 год до н. э.— и погибла, судя по некоторым признакам, в результате сильного землетрясения. При раскопках было найдено довольно много камней, упавших на землю со стен и домов, видимо, под воздействием сильных подземных толчков, но зато не удалось обнаружить никаких следов пожара, что могло бы свидетельствовать о гибели поселения вследствие вражеского нападения. Поэтому гипотеза Дерпфельда продержалась в науке недолго — всего лишь около 40 лет. Уже в 30-х годах нынешнего столетия американский археолог К. Блеген (или Бледжен) снова начал археологические работы на Гиссарлыке и за несколько лет составил самый подробный и точный стратиграфический разрез троянского городища, с максимальной тщательностью датировав не только все девять существовавших здесь некогда поселений, но и отдельные строительные фазы внутри каждого из этих слоев. Всего их оказалось сорок шесть.

Гомер (мраморный бюст)





Геродот и Фукидид (мраморная герма)



Генрих Шлиман

Микенская цитадель. Вид на львиные ворота и круг шахтовых могил



«Сокровищница Атрея» в Микенах

«Маска Агамемнона» из шахтовой могилы в Микенах





Инкрустация, изображающая охоту на львов, на клинке бронзового кинжала из шахтовой могилы в Микенах

Тиринф. Сводчатая галерея в стене цитадели

Артур Эванс



Кносский дворец (северные пропилеи)

Тронный зал Кносского дворца



«Богиня со змеями» из Кносса

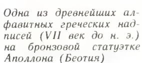


«Дворец Нестора» в Пилосе (реконструкция)

Голова воина из Микен в шлеме из кабаньих клыков (резьба по слоновой кости)

Табличка линейного письма Б из Кносса





Одна из древнейших алфавитных греческих надписей (VII век до н. э.) на бронзовой статуэтке Аполлона (Беотия)







«Кратер Зевса» из Энкоми (Кипр)



Поединок Тесея с Минотавром (рисунок на вазе)

Похищение Европы (метопа храма в Селинунте, Сицилия)



Кносские монеты с изображениями Минотавра и Лабиринта



Ритон в виде головы быка из Кносса

Минойская тавромахия (фреска из Кносского дворца)

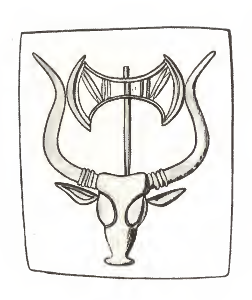




Минотавр (минойская гемма)

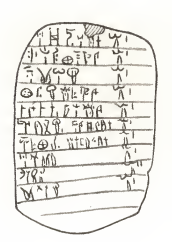
Золотые лабрисы и бычьи головы из пещеры Аркалохори

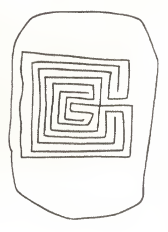




Изображение бычьей головы с лабрисом (Кносс)

Древнейшее изображение Лабиринта на табличке из пилосского архива





Дедал и Икар (римский барельеф)





Сцена с участием Дедала на позднеминойском ларнаке из Армени



Саркофаг из Агиа Триады



Гермес Психагог (рисунок на вазе)

Вновь вернувшись к вопросу о местоположении гомеровской Трои, Блеген предложил передвинуть ее еще выше по вертикальному срезу городища, утверждая, что остатки поселения, описанного Гомером в «Илиаде», следует искать в слое VIIa, непосредственно сменяющем обследованную Дерпфельдом Трою VI. Это поселение, согласно расчетам Блегена, просуществовало около 50 лет — с 1300 по 1250 год до н. э. или несколько дольше. Примерно в середине XIII века до н. э. оно подверглось нападению и было сожжено. Во время раскопок здесь были найдены человеческие кости и черепа, лежавшие прямо на улицах, в домах, в городских воротах. Жители Трои VIIa явно готовились к длительной осаде. Их небольшие дома, сложенные из кирпича-сырца и почти вплотную пристроенные к оборонительной стене (во всех предшествующих Троях это пространство обычно оставалось незастроенным), по всей видимости, были рассчитаны на то, чтобы вместить под своими кровлями как можно больше людей, среди которых было, надо полагать, немало беженцев из разбросанных по равнине вокруг цитадели неукрепленных поселков. Во многих домах были обнаружены врытые в землю большие сосуды-пифосы, явно предназначавшиеся для хранения запасов продовольствия, которых должно было хватить на все время осады. Время гибели Трои VIIa Блеген определил, основываясь главным образом на обломках микенской керамики, найденных в пределах поселения. Правда, полученная им дата — около 1250 года до н. э.— совпала лишь с одной из целого ряда датировок Троянской войны, существовавших в древности, а именно с датировкой, которую мы находим в «Истории» Геродота.

Датировка эта была получена Геродотом путем нехитрых вычислений. Гомер, согласно этим расчетам, жил за 400 лет до его собственного времени, которым можно считать весьма приблизительно середину V века до н. э., а Троянская война происходила за 400 лет до Гомера. Обе цифры получены, это совершенно очевидно, путем десятикратного умножения одного поколения продолжительностью в сорок лет. Но откуда взялась такая строгая симметрия — именно 40 поколений между Геродотом и Гомером и ровно столько же между Гомером и Троянской войной — «отец истории» никак не объясняет. Как бы то ни было, 1250 год до н. э. в общем кажется весьма подходящим для реальной Троянской войны или, во всяком случае, более подходящим, чем другие, более поздние (1234 год — по Клитарху; 1212 год — по Дикеар-

5 Зак № 192

ху; 1209 год — согласно «Паросской хронике»; 1193 год — по Фрасиллу и Тимею; 1184 год — по Эратосфену и следующим за ним Аполлодору, Диодору, Евсевию) или, наоборот, более ранние (1334 год — по Дурису; 1270 год — согласно анонимному «Жизнеописанию Гомера»), ибо именно в это время микенская цивилизация в балканской Греции достигла в своем развитии зенита. Торговая и военная экспансия микенских государств продвинулась далеко на восток, захватив побережье Малой Азии, Сирию, Кипр и даже Египет. Лишь в это время могло быть подготовлено и организовано такое грандиозное военное предприятие с участием чуть ли не всех тогдашних греческих государств, каким в воображении греческих поэтов и историков, живших спустя многие столетия после ее окончания, должна была стать Троянская война. Спустя несколько десятилетий, когда микенский мир уже начал клониться к упадку и владыкам Микен, Тиринфа, Пилоса, Орхомена и других ахейских дворцов и цитаделей впору было подумать о своей собственной безопасности перед лицом все более ощутимой угрозы варварского нашествия, им явно было уже не до походов в Троаду за похищенной Еленой или сокровищами Приама.

Итак, казалось бы, все наконец встало на свои места, и Блеген мог с полным правом написать в первой главе своей книги «Троя и троянцы»: «Больше не может быть никаких сомнений в том, что действительно происходила исторически реальная Троянская война, в которой коалиция ахейцев или микенян под предводительством царя, главенство которого было признано всеми остальными, сражалась с троянцами и их союзниками».

Тем не менее даже и это категорическое заявление маститого археолога, так же как и те аргументы, которые были приведены им в его поддержку, не смогло развеять все неясности и сомнения, мешавшие признать троянскую проблему окончательно решенной. Укажем лишь на некоторые из этих помех. Прежде всего внешний вид Трои VIIa, которую Блеген предложил считать «великим городом Приама», способен произвести лишь самое удручающее впечатление на каждого, кто внимательно читал гомеровскую «Илиаду». Маленький, очень бедный поселок, состоящий из нескольких десятков убогих домишек, тесно сгрудившихся под защитой стен цитадели, весь поперечник которой составляет около 200 метров. Ни одного сколько-нибудь примечательного сооружения, хотя бы отдаленно напоминающего царский дворец (нельзя,

правда, забывать о том, что Шлиман безжалостно разметал во время своих раскопок всю центральную часть этого поселения, так же как и лежащих под ним Трои VI и V, не придавая им никакого серьезного исторического значения). Никаких следов несметных богатств, которыми цари Трои, если верить Гомеру, превосходили чуть ли не всех царей тогдашней Малой Азии (правда, поселение было, вероятно, весьма основательно разграблено захватившими его пришельцами, но хоть что-нибудь должно же было остаться!). Как бы то ни было, трудно поверить, чтобы огромная армия «пастыря народов» Агамемнона, собранная со всей Греции и насчитывавшая, по исчислениям весьма скептически настроенного Фукидида, никак не менее 100 тысяч воинов, простояла под стенами этого жалкого городишка целых десять лет, прежде чем ей удалось им завладеть. Да и была ли вообще какая-нибудь нужда в столь грандиозном предприятии, которое можно сравнить разве что с осадой Сиракуз — самого большого из греческих городов Сицилии,— предпринятой силами всей афинской морской державы как раз в то время, когда Фукидид начал писать свою «Историю Пелопоннесской войны», если его цель была столь ничтожна?

Еще более серьезного внимания заслуживает другой контрдовод. Представим на минуту, что в нашем распоряжении нет ни гомеровской «Илиады», ни других, более поздних произведений античной литературы, авторы которых в один голос называют виновниками падения Трои и гибели большей части ее обитателей греков-ахейцев, будто бы отомстивших таким образом коварным троянцам за похищение Елены Прекрасной — супруги спартанского царя Менелая. Как в этом случае можно было бы доказать, что поселение, условно названное Троей VIIa, действительно было взято и разрушено микенскими греками под предводительством Агамемнона, брата Менелая, или какого-нибудь другого вождя? При таком допущении сразу же становится ясно, что сам по себе археологический материал, добытый во время раскопок на Гиссарлыке Блегеном и его предшественниками, абсолютно ничего не доказывает[1]. Правда, уже предшественникам Шлимана было известно, что в эллинисти-

[1] Известный английский историк М. Финли мрачно констатировал в своей статье с вызывающим названием «Потерянная — Троянская война»: «Ничего не было найдено... и следует подчеркнуть, что это «ничего» нужно понимать буквально. Ни единого клочка, который мог бы показать, кто были разрушители. Другими словами, троянская археология оказалась неспособной обосновать гомеровский рассказ в этом наиболее

ческо-римское время после длительного перерыва на этом месте возник городок, носивший гордое имя Илион. Оно встречается в одной из найденных здесь надписей. Но основатель нового Илиона, возможно это был сам Александр Македонский, высоко чтивший Гомера, мог вычислить местонахождение древней цитадели, основываясь на топографических указаниях, рассеянных в тексте «Илиады», так же как много веков спустя это сделал все тот же Шлиман. Как называлось это поселение во II тысячелетии до н. э., мы не знаем. Микенская керамика, а также местные гончарные изделия, изготовленные по микенским образцам, как уже было сказано, встречаются в пределах Трои VIIa в довольно большом количестве и потому в руках археологов могут служить основным датировочным материалом. Но эти обломки микенских сосудов отнюдь не обязательно следует связывать с десятилетней осадой городка греками-ахейцами, завершившейся его полным уничтожением. Трудно вообразить, чтобы победители, захватив и разрушив поселение, обосновались на какое-то время прямо тут же, среди обгорелых развалин домов и неубранных гниющих трупов, устраивали здесь свои пиршества, о которых нам теперь напоминают обломки расписных ваз и чаш микенского происхождения. Гораздо более правдоподобно, что эти образцы микенских гончарных изделий попали сюда, в Трою, если только это действительно была Троя, самым обычным для того времени способом — путем мирной торговли и обмена. Это тем более вероятно, что микенская керамика разных типов и форм была найдена также и при раскопках непосредственно предшествующей Трое VIIa Трои VI и в сменившей ее после непродолжительной паузы Трое VIIб.

Единственный предмет, который может служить косвенным подтверждением гипотезы о взятии Трои VIIa ахейцами, прибывшими в Троаду с западного побережья Эгейского моря, это бронзовый наконечник стрелы, похожий, хотя и не вполне, на наконечники микенского типа. Но пытаться воздвигнуть на этой, вполне может статься случайной, находке целую историческую конструкцию для объяснения того, что произошло в Трое VIIa где-то во второй половине XIII века до н. э.,— занятие, которое пристало скорее цирковому жонглеру, а не серьезному исследователю древности.

При такой скудости конкретной исторической информации особое значение приобретает максимально точная

существенном пункте, несмотря на то, что археологи неоднократно утверждали обратное».

датировка отдельных поселений, сменявших друг друга на Гиссарлыке, и в первую очередь, конечно, датировка Трои VIIa как главного претендента на то, чтобы считаться подлинной «гомеровской Троей». Между тем оказалось, что предложенное Блегеном решение этого жизненно важного для всей его концепции вопроса далеко не так бесспорно, как можно было бы ожидать от археолога, известного именно поразительной тщательностью своих стратиграфических и базирующихся на них хронологических разработок. Если сравнить указания самого Блегена в различных его работах, то можно проследить, как он постепенно опускал датировку гибели Трои VIIa вниз по хронологической шкале, видимо стремясь максимально отдалить ее от «опасной черты» — рубежа XIII—XII веков до н. э., хотя найденная им микенская керамика подходила вплотную к этой черте и вместе с тем к принятой большинством античных авторов датировке Троянской войны, выдвинутой знаменитым александрийским географом и астрономом Эратосфеном, который вел отсчет так называемой «троянской эры» начиная с 1184 года до н. э.

Датировка Эратосфена не устраивала Блегена по причинам, о которых мы уже говорили прежде: конец XIII — начало XII века до н. э. были критическим, переломным моментом в истории микенской цивилизации. В это время она пережила страшный удар варварских орд, прошедших всю Грецию с севера на юг с огнем и мечом, удар, после которого она, по-видимому, так и не смогла уже оправиться и постепенно начала клониться к упадку. В этих условиях широкомасштабные военные операции на Востоке были уже недоступны даже и для самых сильных ахейских государств. Учитывая все это, Блеген после некоторых колебаний передвинул свою датировку гибели Трои VIIa к середине XIII века до н. э., то есть к тому времени, когда общегреческий поход в Малую Азию, описанный Гомером пусть даже с некоторой долей поэтического преувеличения, был еще вполне возможен.

Но если все-таки признать, что Блеген не прав в своих расчетах и Троя VIIa была сожжена и разрушена не в середине, а в конце XIII века до н. э., что сразу же заставляет нас снять принятую большинством историков и археологов кандидатуру греков-ахейцев, кем же были в таком случае враги, овладевшие поселением на Гиссарлыке, и откуда они пришли в Троаду? Ответить на этот вопрос как будто легко и вместе с тем не так-то просто.

Дело в том, что рубеж XIII—XII столетий может считаться времеием очередиого великого переселеиия иародов, охватившего все Восточное и также часть Западиого Средиземноморья. Об этом свидетельствует целый ряд фактов, о которых мы узнаем частью из археологнческих, частью нз письменных источников. В огие пожаров погибли не только мнкеиские дворцы и цитадели иа территории балкаиской Греции, ио и Хаттуса — столица великой Хеттской державы в самом сердце Малой Азии. Следы пожаров и разрушеиий обнаружеиы иа острове Кипр, иа побережье Сирни и Фнннкии. Египет дважды подвергся нападеиию большой коалиции варварских племеи (в егнпетских хрониках этого времеии они имеиуются «иародами моря»), ио сумел оттесиить их от своих граииц. В некоторых страиах за эти иесколько десятилетнй успело почти полиостью смеииться иаселеиие. Так обстояло дело, иапрнмер, в Малой Азни, Палестнне, возможно, также и в Греции.

На этом широком фоие поистиие граидиозиых катастрофических событий гибель одиого ие столь уж зиачнтельиого поселения иа азиатском берегу Эгейского моря, иеподалеку от южного входа в Геллеспонт, должна была восприинматься как второстепеииый рядовой эпизод, который, иаверно, ие заслуживал бы особого виимаиия ученых, еслн бы не целое созвездие легенд и мнфов, связаниых нмеиио с этим местом. В обстаиовке всеобщего разброда и хаоса, царнвшего как на восточиом, так н иа западном побережьях Эгейского моря в это смутное и тревожиое время, крепость иа Гиссарлыке, нли то поселение, которое мы называем теперь Троей VIIa, могла стать добычей любой варварской орды, двигавшейся через эти места к сердцу Малой Азии, иапример фригийцев, выступившнх на завоеваиие Хеттского царства, или же какойиибудь случайио высадившейся в этих местах шайки пиратов, которыми, как свидетельствуют восточиые, в осиовиом опять-таки египетскне источиики, в этот период буквальио кишело все Восточиое Средиземиоморье, ие исключая, вероятио, и Эгеиды.

Мысль о том, что события иа Гиссарлыке могли разыгрываться по такой или примерио такой схеме, приходила в голову миогим учеиым. В разиое время ее высказывали как историкн, так и филологи-классикн. Одиако, если эта догадка вериа и Троя VIIa была действительио разрушена вовсе ие микенскими греками, а какой-то кочующей ордой, участвовавшей в граидиозиом передвижеиии племеи, повергшем в ужас весь Древний мир в по-

следние века II тысячелетия до н. э., тогда перед нами встает вполне законный вопрос — каким образом этот, в общем не столь уж значительный, исторический эпизод мог стать в дальнейшем тем сюжетным стержнем, вокруг которого уже во второй половине VIII века до н. э. сформировался греческий национальный эпос, если, конечно, исходить из того, что между гибелью седьмого поселения на Гиссарлыке и сюжетом «Илиады» все же существует какая-то связь?

Некоторые авторы, например англо-американский историк М. Финли, допускают, что в составе орды, предавшей мечу и огню Трою VIIa, могли оказаться и отдельные дружины ахейских пиратов. В то время немало таких искателей приключений блуждало по всему Средиземноморью, действуя иногда на свой страх и риск, иногда же примыкая к более крупным племенным коалициям. Впоследствии, как думает Финли, произошло смещение реальной исторической перспективы, и ахейские авантюристы, затесавшиеся в варварскую орду, опустошавшую Троаду, по прихоти сказителей, сохранивших воспоминания об этом событии, выдвинулись на первый план, став главными действующими лицами всего эпического повествования, причем их образы постепенно слились с образами древних микенских царей и героев.

Еще более замысловатая гипотеза, направленная к той же самой цели — установить связь между реальной историей городища Гиссарлык в той мере, в которой ее удалось проследить археологам, и отчасти явно вымышленными, отчасти, вероятно, происходившими на самом деле событиями, о которых поведали миру Гомер и другие древние поэты, была выдвинута известным австрийским историком Фр. Шахермайром. В его понимании в основной сюжетной линии гомеровского эпоса совместились два разнородных и разновременных события, происходивших на Гиссарлыке,— гибель Трои VI около 1300 года до н. э.[1] и разрушение Трои VIIa в конце XIII

[1] Как думает Шахермайр, она действнтельно была сначала разрушеиа землетрясеинием, но это только облегчнло задачу осаждавшнх ее ахейцев, которые ворвались в цнтадель через образовавшнеся проломы в стене н погубнлн все то, что еще не успела погубнть грозная стнхня. Позже это событне породило причудлнвое сказанне об огромном деревянном коне, с помощью которого греки проннклн в Трою,— коиь у греков нздавна счнтался снмволом и одннм нз воплощеннй могучего повелнтеля морской пучнны Посейдона, на которого в древностн возлагалась главная ответственность за подземные толчкн н связаиные с ннмн катастрофы. Отсюда н распространенное прозвнще этого божества — «Землеколебатель».

века до н. э., в котором микенские греки, по-видимому, уже не принимали прямого участия.

Возможен, однако, и еще один подход к той же проблеме, если предположить, что события, засвидетельствованные раскопками на Гиссарлыке (само слово «засвидетельствованные» здесь, конечно, может быть употреблено лишь условно, ибо мы все еще не можем с уверенностью сказать, была ли Троя VIIa сожжена врагами или же сгорела от какой-нибудь случайной причины, например от удара молнии или же просто от угля, выпавшего из жаровни), вообще никак не связаны с теми событиями, о которых повествует гомеровский эпос, или же если такая связь существует, то носит вторичный и искусственный характер. И здесь нам поневоле придется вспомнить о том, о чем либо вообще не думали, либо старались забыть, не придавая этому факту особого значения, и Шлиман, и Дерпфельд, и Блеген, и многие другие археологи и историки, свято уверовавшие в историческую реальность Троянской войны в том или приблизительно в том виде, в котором ее изобразил Гомер. Пожалуй, лучше других сказал об этом известный современный лингвист Дж. Чедвик, принимавший активное участие в дешифровке микенской письменности: «Важно помнить, что Гомер был поэтом, а не историком. Поэтическая правда и правда историческая — это два совершенно различных предмета. Поэзия имеет дело с неизменными, вечными ценностями, история — с фактами и событиями... Искать у Гомера подлинные исторические факты — столь же тщетное занятие, как и штудировать микенские таблички в поисках поэзии. Они принадлежат к различным мирам».

Именно понимание огромной дистанции, отделяющей фиктивную историю, к которой сводится содержание больших эпических поэм типа «Илиады» и «Одиссеи», от подлинной истории той или иной страны или народа, а вовсе не слепое упрямство, соображения престижа и инерция мысли вынудили в свое время многих видных филологов и историков скептически отнестись к сенсационным открытиям Шлимана и его попыткам сопоставления открытой им древней цитадели с «городом царя Приама», изображенным Гомером. «Хвалы, которыми мир почтил первооткрывателя Трои, немногого стоят. Конечно, простительно, что масса, неспособная понять сущность исторической науки, воспринимает реальное сокровище как доказательство реальности гомеровского повествования. Никогда не умрут люди, которые будут вычерчивать на карте маршрут смертельного бега Гектора и

сохранят веру в Гиссарлык как в подлинную гомеровскую Трою» — так откликнулся на переворот, совершенный Шлиманом в эгейской археологии, крупнейший немецкий филолог-классик У. Виламовиц фон Меллендорф. Такого рода выпады в адрес великого археолога и его адептов нельзя, как это нередко делается, считать абсолютно беспочвенными и несправедливыми, а в его «гонителях» — специалистах-филологах вроде того же Виламовица — не следует видеть просто ученых рутинеров, душителей всего нового и передового в науке.

Все дело в том, что эти «рутинеры» хорошо видели чрезвычайную сложность и запутанность той сугубо источниковедческой проблемы, которую заключал в себе так называемый гомеровский вопрос, то есть вопрос о происхождении, характере и структуре самих приписываемых Гомеру поэм. К тому моменту, когда начались раскопки на Гиссарлыке, этот вопрос вопросов классической филологии успел пройти долгий путь развития, и в европейской науке окончательно утвердился взгляд на автора (или, может быть, авторов) «Илиады» и «Одиссеи» как на наследника древней поэтической традиции, уходящей своими корнями в самое отдаленное прошлое греческого народа. Почти все филологи, занимавшиеся гомеровской проблемой, независимо от их деления на два враждебных лагеря — «разделителей» и «унитариев»,— сходились в том, что в течение целого ряда столетий сказания о Троянской войне и связанных с нею событиях передавались изустно от одного поколения певцов-аэдов к другому, так как Греция не знала никакой письменности вплоть до начала эпохи Великой колонизации, то есть VIII века до н. э. Заметим, что этот важнейший тезис гомероведения XIX—XX веков не был опровергнут также и после того, как была открыта и дешифрована слоговая письменность крито-микенской эпохи. После того как удалось прочитать первые таблички микенских дворцовых архивов, стало ясно, что эта древнейшая форма письменности была предназначена в основном для ведения счетных записей в дворцовом хозяйстве. К тому же она, как об этом уже было сказано, исчезла вместе с самой микенской цивилизацией еще в конце XIII века или же, самое позднее, в XII веке до н. э., после чего в истории Греции наступила бесписьменная эпоха, продолжавшаяся, по меньшей мере, три столетия — с XI по IX век (ни одной надписи, которую можно было бы отнести к этим темным векам, наука пока не знает).

В таких условиях возможность передачи даже самых

элементарных исторических сведений остается весьма ограниченной. Конкретные исторические события обычно надолго задерживаются лишь в памяти непосредственных участников и очевидцев. Когда это поколение свидетелей вымирает, весь накопленный запас исторической информации немедленно становится добычей досужих рассказчиков, которые начинают старательно «улучшать» и «исправлять» на свой вкус все то, что им удалось узнать от предков. Такое стремление во что бы то ни стало «улучшить» исторический факт, поскольку сам по себе он кажется слишком простым и неинтересным, недостойным внимания слушателей, особенно характерно для рассказчиков-профессионалов, таких, как народные певцы и сказители, претворяющие живую историю в миф, эпос или сагу или, говоря иначе, растворяющие его в свободно льющемся потоке фольклорного творчества.

В свое время Шлиман, по-видимому, просто не дал себе труда задуматься над этой важной проблемой, хотя нельзя сказать, что он совсем не отдавал себе отчета в ее существовании, и предпочел одним ударом разрубить узел, который нужно было долго и тщательно распутывать. Но то, что было простительно для него, остававшегося, как бы то ни было, дилетантом в науке, едва ли можно простить современному историку или археологу, приступающим к решению тех же вопросов, казалось бы, во всеоружии новейших методов исследования древнейших памятников человеческой культуры, будь то эпическая поэма или же заброшенное городище, но тут же сворачивающих на проторенный еще античными историками путь наивно-рационалистического истолкования мифа или легенды. Читая работы иных современных ученых, посвященные проблеме Троянской войны, невольно ловишь себя на мысли, что наша наука вернулась к тем временам, когда создавали свои труды Гекатей Милетский, Геродот, Фукидид и многие другие идущие следом за ними авторы. Вот, например, книга западногерманской исследовательницы Хильдегард Вайгель под многообещающим заголовком «Троянская война — разгадка» (вышла в 1970 году в Дармштадте). С помощью сложных математических выкладок, привлекая последние данные о сейсмической активности в районе малоазиатского побережья Эгейского моря, а также все, что известно сейчас ученым о так называемой санторинской катастрофе, Вайгель выводит абсолютно точную дату гибели Трои — 10 октября 1300 года до н. э. Однако вопрос о причинах войны греков с троянцами решается в этой кни-

ге так же просто и бесхитростно, как решала его почти вся классическая древность — главным истоком конфликта было, конечно же, похищение Елены Парисом. Другой новейший исследователь проблемы, Г. Кеншерпер, с важным видом уточняет выводы Вайгель — кража Елены была лишь поводом, подлинную же причину войны следует искать в чисто экономической плоскости: это была, само собой разумеется, борьба за обладание важным морским путем, проходившим уже во II тысячелетии до н. э. через коридор черноморских проливов.

В сравнительно недавно увидевшей свет книге грузинского филолога Р. Гордезиани «Проблемы гомеровского эпоса» мы находим весьма заманчивые рекомендации, с помощью которых читатель, согласно уверениям автора, довольно легко может выявить историческое зерно в художественных произведениях, подобных «Илиаде» и «Одиссее». Обычно в таких произведениях, как полагает Гордезиани, «исторические события органично слиты с мифологией, сказочными элементами и вымышленными моментами. Такого рода синтез, однако, вовсе не означает бессистемного смешивания разных элементов. При правильном подходе к таким произведениям можно довольно четко выделить каждый из этих элементов и сделать их объектом специального исследования». Итак, надо только знать, с какой стороны подойти к дошедшему до нас памятнику древней героической поэзии, и он в конце концов раскроет нам все свои тайны, поскольку правда и вымысел перемешаны в нем не хаотично, а следуя определенной системе, или, говоря иначе, в более или менее точно установленных пропорциях, которые вполне способен взвесить и определить глаз опытного исследователя.

О том, что происходит в действительности, когда исторические факты и художественный вымысел смешиваются в общем потоке эпической поэзии, можно судить хотя бы по некоторым хорошо известным образцам средневекового европейского эпоса. Возьмем один из них. В 778 году Карл Великий вторгся со своим войском в Испанию, принадлежавшую в то время арабам. На обратном пути арьергард его армии подвергся в Ронсевальском ущелье в Пиренеях нападению местных жителей — басков и был почти целиком уничтожен. Среди погибших был некий граф Роланд, или Хроуланд. Об этом происшествии упоминают некоторые французские хроники VIII—IX веков, расценивая его как второстепенный, не имевший значительных последствий эпизод. Однако в знаменитой поэме «Песнь о Роланде», созданной спустя 400 лет после этого события,

оно представлено уже совсем в ином виде и иных масштабах — как грандиозная битва между христианским воинством императора Карла во главе с доблестным Роландом и несметными полчищами язычников-сарацин, которых автор поэмы произвольно подставил на место басков, в то время уже исповедовавших христианскую веру. Самое же главное отступление от исторической истины в «Песни о Роланде» состоит в том, что поражение (правда, незначительное) армии Карла трансформировалось здесь, несмотря на гибель главного героя Роланда, в блестящую победу французских рыцарей над сарацинами, то есть арабами, вообще в сражении не участвовавшими.

Еще бо́льшая историческая путаница и хаос царят в одном из самых популярных произведений средневековой эпической поэзии — в «Песни о Нибелунгах». За историческую основу этой огромной поэмы могут быть приняты события, разыгравшиеся в 437 году в королевстве бургундов на Рейне. Король бургундов Гунтер, его родичи и приближенные были перебиты гуннами, действовавшими по наущению тогдашних правителей Западной Римской империи, и после этого бургундское королевство перестало существовать. В «Песни о Нибелунгах» это событие преображено до неузнаваемости. Центральные эпизоды поэмы (гибель Гунтера и его родни) локализованы не на Рейне, а на Дунае, в царстве гуннов. Царем гуннов здесь назван Атилла (Этцель), который в действительности не был причастен к избиению бургундского королевского дома, так как владыкой гуннов он стал лишь в 445 году, то есть спустя 8 лет после того, как разыгралась эта трагедия. В поэме вообще фигурирует множество лиц, частью вымышленных, частью существовавших в действительности, которые, однако, никак не могли участвовать в изображаемых событиях. К числу вымышленных персонажей принадлежат главные действующие лица поэмы — Зигфрид и Брунгильда, в которых нетрудно распознать древних героев германской мифологии. Из исторических лиц, живших совсем в иные времена и все же попавших в рассказ о гибели бургундских королей, можно назвать хотя бы Дитриха Бернского, который на самом деле был не кем иным, как остготским королем Теодорихом, правившим в Италии, в Равенне, с 493 по 526 год.

Можно привести очень много примеров такого рода исторической несостоятельности героической поэзии, причем встречаются случаи совсем уж безнадежные, когда выявить историческое ядро сказания, положенного в ос-

нову того или иного эпического произведения, не удается даже при помощи самого тщательного историко-филологического анализа. Такие случаи хорошо известны историкам и фольклористам, имеющим дело с русскими былинами киевского и новгородского циклов, хотя сами они далеко не всегда готовы в этом признаться. Фигурирующие в былинах вроде бы исторические персонажи — князь Владимир, Добрыня Никитич, Алеша Попович (их реальное существование удостоверено летописями) — сплошь и рядом ставятся в ситуации, в которых реальные прототипы едва ли когда-нибудь могли оказаться (вспомним хотя бы поединок Добрыни со Змеем). Мифология здесь явно превалирует над историей и почти без остатка растворяет ее в себе. Выдающийся советский фольклорист В. Я. Пропп заметил по этому поводу в одной из своих работ: «В тех случаях, когда в эпос попадают исторические имена, их носители подчиняются законам былинной поэтики и становятся эпическими персонажами. Так, исторический Мамай или Батый приобретает обобщенные черты врага русской земли, не отличаясь этим от царя Калина, Кудреванко или других врагов России».

Типологически поэмы Гомера, безусловно, стоят ближе к «Песни о Роланде» или к «Песни о Нибелунгах», чем к былинам, как образцы монументального, или, как иногда говорят, «книжного», героического эпоса. Между ними есть, однако, и одно существенное различие. В то время как практически все известные нам памятники средневековой эпической поэзии стран Западной Европы формировались в условиях сохранения и непрерывного развития письменной исторической традиции в форме летописей, хроник и т. п., в Греции, как мы уже видели, такая традиция должна была надолго прерваться, если допустить, конечно, что она здесь существовала еще в микенское время (никаких подтверждений этой догадки у нас пока нет). Отсюда с неизбежностью следует, что в своих попытках проникнуть в глубины прошлого и воссоздать события героического века как можно более достоверно поэты, создавшие «Илиаду» и «Одиссею», а также сюжетно связанные с ними поэмы так называемого «цикла», охватывающие весь круг преданий о Троянской войне, могли рассчитывать лишь на такие крайне ненадежные источники, как короткие песни (оймы) о подвигах прославленных ахейских героев. Подобно русским былинам, эти не дошедшие до нас произведения греческого фольклора передавались изустно от поколения к поколению, постоянно меняя как свою форму, так и содержание.

При такой передаче конкретная историческая информация, содержавшаяся в этих песнях, была либо просто утрачена, либо подверглась сильнейшим искажениям и дошла до поэтов гомеровского круга изменившейся до неузнаваемости. В своем исконном первоначальном виде сохранились, вероятно, лишь некоторые личные имена, географические и этнические названия и сопровождавшие их эпитеты. Такие словосочетания, как, скажем, «владыка мужей Агамемнон», «шлемоблещущий Гектор», «прекраснопоножные» или в другом варианте «меднодоспешные ахейцы», «златообильные Микены», «крепкостенный Тиринф» и т. п., образуют стандартные формулы или блоки эпического повествования и уже в силу этого отличаются большой жизнеспособностью. Они могли пережить века и, почти не изменившись, вплестись в художественную ткань гомеровской эпопеи. Но это, скорее всего, и есть тот минимум достоверной исторической информации, на который мы можем рассчитывать.

Правда, приверженцы гипотезы об исторической реальности Троянской войны охотно допускают, что созданию «Илиады» предшествовала долгая и кропотливая работа по собиранию и изучению еще сохранившегося фактического материала. Высказывалось даже предположение, что Гомер лично посетил все те места, которые он упоминает или описывает в своей поэме, и прежде всего саму Трою с целью изучения ее развалин, что он занимался собиранием старинных вещей и чуть ли не производил археологические раскопки, а потом описывал найденные им предметы в своих произведениях, что он, наконец, широко использовал восходящие к микенской эпохе письменные документы, в том числе и неизвестно каким образом уцелевшие и где хранившиеся столько веков подлинные хроники, запечатлевшие события, происходившие в XIII или XII веке до н. э. (полный набор такого рода домыслов можно найти в уже упоминавшейся книге Гордезиани). Встав на путь столь рискованных догадок, мы незаметно для себя подменяем хрестоматийный образ «великого старца» совсем иной фигурой. Теперь это уже не слепой сказитель, творящий по вдохновению свыше так, как подсказывает ему его муза, а маститый ученый, исследователь древности, уединившийся в своем кабинете, заставленном антикварными предметами, заваленном свитками папируса или, может быть, глиняными табличками, испещренными знаками давно забытой письменности. Нужно ли говорить о том, насколько нелепа эта картина, насколько она не вяжется с теми представлениями

о личности поэта, которые мы можем составить, основываясь на его же собственных произведениях. Конечно, как и всякий малоазийский грек (а все ученые сходятся сейчас на том, что он был уроженцем одного из малоазийских греческих полисов), Гомер должен был иметь хотя бы самые общие представления о географии Троады и, вероятно, знал бытовавшие среди греческого населения этого района сказания и мифы о славном прошлом этих мест. Однако нет никакой необходимости ставить его на одну доску с такими историками прагматического склада, полагавшимися во всем только на свой личный опыт, как Фукидид или Полибий. Везде и во всем Гомер оставался прежде всего великим поэтом, отнюдь не считавшим, что в его обязанность входит скрупулезное собирание исторической, географической и всякой иной научной информации.

При беглом, поверхностном знакомстве с «Илиадой» может сложиться впечатление, что в поэме очень мало чисто мифологических элементов, например сказочной фантастики, мотивов, так или иначе связанных с религиозными верованиями древних греков. Показательно, что даже там, где поэт, казалось бы следуя самой логике сюжета, должен был использовать сказочные черты в образах своих персонажей, он их, по-видимому, сознательно опускает. Так, известный по мифу мотив неуязвимости Ахилла для любого оружия, о которой позаботилась при его рождении мать — морская богиня Фетида,— у Гомера практически не находит никакого применения. Если не обращать внимания на почти постоянное присутствие на эпической сцене олимпийских богов, впрочем и внешне, и в чисто психологическом плане почти не отличающихся от обычных смертных, и их вмешательство в разыгрывающиеся на этой сцене события (каждый из богов или богинь, как хорошо известно читателям «Илиады», болеет за одну из двух враждующих сторон — греков или троянцев — и всячески ей содействует), то, пожалуй, можно было бы без особых колебаний допустить, что поэт действительно описал один из наиболее примечательных эпизодов Троянской войны, во многом ускоривший ее развязку. Более того, некоторые части поэмы воспринимаются как самая настоящая историческая хроника, неизвестно, каким образом попавшая в руки Гомера и включенная им в свое произведение. Таков, например, знаменитый «Каталог кораблей», или перечень ахейского войска, составляющий значительную часть II песни «Илиады» и восходящий, как считают некоторые авторы, правда без

достаточных к тому оснований, непосредственно ко времени реальной осады Трои.

И все же внимательный анализ основной фабулы великой поэмы довольно быстро убеждает каждого непредубежденного исследователя в ее чисто фольклорном, отнюдь не историческом происхождении. История героя, которому нанесена тяжкая обида, заставившая его отказаться от участия в борьбе с врагами в критический момент для его отечества или его соплеменников (если дело происходит на чужбине), но затем забытая из-за каких-то чрезвычайных обстоятельств, известна в мировом фольклоре во множестве разнообразных вариантов и с полным правом может быть отнесена к разряду типичных эпических сюжетов. С одной из ее версий мы сталкиваемся в русской былине «Про татарское нашествие». Татары во главе с Идолищем Поганым осадили Киев и требуют немедленной сдачи города. Князь Владимир умоляет Илью Муромца, которого он сам посадил за какую-то провинность в погреб, выйти против татар. Илья делает вид, что не слышит просьб князя. В уговоры включается княгиня Апраксина (по другой версии — Опракса, королевна). Только после долгих поклонов князя и княгини и обещаний богатых даров (50 бочек зеленого вина) строптивый богатырь сменяет гнев на милость, выходит в поле и спасает Киев от врагов. Сказитель или сказители, создавшие былину, разумеется, никогда не слышали об «Илиаде» и вряд ли что-нибудь могли из нее заимствовать даже через какие-то промежуточные инстанции. Просто сам строй их художественного мышления был во многом близок гомеровскому, что и привело к сюжетному сходству этих двух столь удаленных во времени и в пространстве образцов героического эпоса.

Несколько вариантов истории разгневанного героя мы находим в греческой мифологии. Один из вариантов Гомер, по-видимому, вполне сознательно ввел в IX песнь «Илиады» в качестве поучительной параллели к главной сюжетной линии поэмы. Здесь с рассказом об отречении от гнева этолийского героя Мелеагра обращается к Ахиллу его старый воспитатель Феникс, дабы успокоить и смягчить его разгневанное сердце. Если же выйти за рамки непосредственного сюжета «Илиады» и одним взглядом окинуть весь обширный круг сказаний, посвященных Троянской войне, ее предыстории и трагическому завершению, то здесь мы найдем множество разнообразных мифологических сюжетов и очень мало того, что можно было бы считать историей в ее чистом, не искаженном

фольклорными примесями виде. Вспомним хотя бы знаменитую свадьбу Пелея и Фетиды, на которой начался великий спор между тремя верховными богинями олимпийского пантеона, затем суд Париса, избранного третейским судьей в этом споре, похищение Елены троянским царевичем и множество других событий, завершающихся взятием Трои с помощью чудесного деревянного коня и возвращением героев — участников похода — к себе на родину, опасными приключениями и неслыханными бедствиями, выпавшими на долю большинства из них. Реальная Троянская война, даже если предположить, что когда-то она все же происходила на самом деле, как бы растворяется и исчезает в бесконечных сюжетных хитросплетениях великого эпического цикла, явно не имеющих никакого отношения к подлинной истории.

Мы не можем завершить наши размышления об исторической основе мифа о Троянской войне, не упомянув еще об одном любопытном источнике, возможно имеющем если не прямое, то хотя бы косвенное отношение к этому же сюжету. Впервые этот источник стал достоянием науки в 1924 году в связи с сенсационными открытиями швейцарского лингвиста Э. Форрера, которому удалось прочесть в текстах из дворцового архива хеттских царей, найденного во время раскопок древней цитадели в Хаттусе (совр. Богазкеой, Центральная Турция), несколько, как он утверждал, греческих имен. Все они были хорошо известными именами мифических героев. Среди них мы видим Атрея — родоначальника царского дома Атридов, отца братьев — предводителей ахейского войска под Троей Агамемнона и Менелая; Этеокла — одного из двух сыновей прославленного фиванского героя и царя Эдипа, погибшего в кровавой схватке со своим родным братом Полиником; Андрея — тоже мифического царя беотийского города Орхомена и, наконец, Александра. По мифу таково было второе греческое имя царевича Париса — похитителя Елены, признанного главным виновником Троянской войны. Правда, в дальнейшем некоторые из этих, как считали другие ученые, чересчур смелых догадок Форрера были отвергнуты. В самих хеттских текстах обнаруженные им якобы греческие имена звучали совсем не по-гречески. Так, вместо «Атрея» читалось «Аттарисья» или, может быть, «Аттарсия», вместо «Этеокла» — «Тавагалава», вместо «Андрея» — «Антарава». Известное сходство с греческим Александрос можно было признать лишь в имени Алаксандус. В этом единственном случае правильность чтения Форрера подтверждали также и некоторые другие факты.

В письме хеттского царя Муваталлы, адресатом которого является Алаксандус, его имя прямо связано с названием не то города, не то местности, которое может читаться как Вилуса или в других текстах Вилусия. В этом названии довольно легко угадывается, вероятно, искаженное на хеттский манер (В)илиос или (В)илион — одно из двух названий гомеровской Трои. В том же письме Муваталлы Форрер обнаружил и еще одну любопытную деталь, как будто тоже подтверждающую его первую догадку. Среди богов Вилусы фигурирует божество по имени Аппалиунас, в котором Форрер без труда узнал Аполлона — главного покровителя и защитника Париса и вообще всех троянцев в «Илиаде». Но если и этого мало, то вот еще один факт, эффектно дополняющий общую картину. В египетских надписях, повествующих о знаменитой битве при Кадеше (около 1300 года до н. э.), в которой войска фараона Рамзеса II были разбиты хеттами, среди союзников хеттов упоминается племя дрдни, что довольно близко напоминает одно из наименований троянцев все в той же «Илиаде» — дарданы. Письмо Муваталлы к Алаксандусу Вилусскому, также написанное где-то около 1300 года, представляет собой договор о дружбе, союзе и помощи, которую правитель Вилусы должен оказывать хеттскому царю в случае его столкновения с какой-нибудь третьей державой. Отчего бы не предположить, что троянцы (дарданы) сражались на стороне хеттов в битве при Кадеше, выполняя условия этого или какого-нибудь другого еще раньше заключенного договора?

Все эти замечательные совпадения должны вдохнуть в душу усталого читателя хороший заряд оптимизма. После долгих блужданий во тьме вдали как будто наконец-то появился просвет. Из переписки хеттского царя Муваталлы нам удалось узнать, что действительно существовал по крайней мере один из главных героев троянского цикла мифов — Александр, он же Парис, а это не так уж мало. Исторической реальностью, а не плодом поэтического вымысла мы должны признать также и саму Трою — родной город Париса, который был известен хеттам, как это следует из того же письма Муваталлы, под другим своим названием — Илион-Вилуса. Правда, вдумчивый читатель наверняка обратит внимание и на некоторые пусть не очень существенные, но все же досадные расхождения между свидетельствами греческого мифа и хеттского клинописного текста. В мифе Александр всего лишь троянский царевич, один из многих сыновей преста-

релого царя Приама. Хетты знали его как самостоятельного правителя, вероятно царя или князя Вилусы. Еще важнее расхождение в хронологии. Между временем, когда жил и правил Алаксандус из Вилусы, и временем Троянской войны, как его определяли наиболее авторитетные греческие хронографы (1184 год до н. э.), получается разрыв продолжительностью более чем в сто лет. И даже если взять явно заниженную Блегеном датировку гибели Трои VIIа — 1260—1250 годы до н. э., разрыв, хотя и не такой большой, все же остается. Возможен только один выход из этого затруднительного положения, если мы признаем, что под Вилусой хетты подразумевали не Трою VIIа, а предшествующую ей Трою VI, которая погибла где-то около 1300 года до н. э., то есть примерно в то время, к которому относится и письмо Муваталлы к Алаксандусу.

Но главные трудности нас ждут впереди. В своем рассказе мы еще не упомянули о двух удивительных открытиях Э. Форрера, которые он сделал, читая другие документы из того же хеттского архива в Хаттусе. А между тем эти открытия намного усложняют всю ситуацию, казавшуюся до сих пор простой и ясной. Так вот, во-первых, Форрер установил, что кроме названия Вилуса-Илион хеттам было известно еще и название Троя, звучавшее в их языке как Труиса, а может быть, и как Троиса, Тарвиса, Тарвиса и т. д. Это название было прочитано знаменитым лингвистом в длинном перечне областей или, может быть, городов страны Ассува, занимавшей, по всей видимости, северо-западную часть Малой Азии[1]. Рядом с топонимом Труиса в этом же перечне стояло уже знакомое нам Вилуса, в несколько видоизмененной форме — Вилусия. Отсюда следует вывод, что хеттам Троя и Илион были известны не как разные названия одного и того же города, как использует эти два слова Гомер, а как названия двух разных, хотя, вероятно, и расположенных по соседству, городов или областей. Возможны различные объяснения этого странного парадокса: 1) Вилуса и Труиса в перечне городов страны Ассува вовсе не тождественны Илиону и Трое; 2) такое тождество допустимо лишь в каком-то одном из этих двух случаев; 3) в грече-

[1] Само названне Ассува, возможно, связано с позднейшнм греческнм словом «Азня». Первоначально так называлась только северо-западная часть Малой Азнн, включавшая некоторые районы Лндин н Троаду. Позднее это названне распространилось на всю Малую Азию, а затем н на лежащне еще дальше на восток областн Азнатского контннента.

ской поэтической традиции, восходящей к XIV—XIII векам до н. э. и позднее использованной Гомером в «Илиаде», оба эти города каким-то образом слились (может быть, благодаря их близкому соседству на карте Малой Азии) и образовали один город с двойным названием. Какое из этих трех объяснений соответствует действительности, мы пока не знаем.

Во-вторых, Форрер вычитал в документах дворцового архива Хаттусы еще одно легко узнаваемое название — Аххиява. Так называлось некое могущественное государство, находившееся в довольно сложных то мирных, то враждебных отношениях с Хеттским царством. Несмотря на то что интересы обоих государств довольно тесно между собой переплетались и упоминания об Аххияве встречаются в хеттских источниках неоднократно, до сих пор ученым не удалось установить точное местоположение этого влиятельного соседа Хеттской державы. Существует несколько различных вариантов решения этой сложной проблемы. Сам Форрер поместил Аххияву на южном побережье Малой Азии, в области, которая в более поздние времена называлась Памфилией. Высказывались, однако, и другие предположения. Одни считали наиболее подходящим местом для Аххиявы один из трех больших островов, примыкающих к Малой Азии с юга: Родос, Кипр или Крит, другие называли западное побережье той же Малой Азии с городом Милетом, третьи — район Троады на северо-западе полуострова. Самая же смелая (но не самая правдоподобная) из этих догадок заключалась в том, что под Аххиявой хетты подразумевали то ли всю балканскую Грецию, то ли какую-то ее часть, например Пелопоннес. Почему эта проблема привлекла к себе столь пристальное внимание ученых-историков и лингвистов и вызвала бурную, никак не затихающую дискуссию? Ответ напрашивается сам собой. В названии государства Аххиява довольно легко угадывается слово, родственное одному из трех гомеровских названий греков «ахайой» или, еще точнее, «ахайвой», то есть «ахейцы» («Аххиява», очевидно, может считаться производным от имени народа, означая «Страна ахейцев»). Если это действительно так, а большинство ученых, специально занимавшихся этой проблемой, убеждены в том, что иначе и быть не может, то открытие Форрера имеет огромную историческую значимость. Ведь ему удалось найти самые древние из всех известных в науке упоминаний о греках в восточных источниках, причем из этих упоминаний ясно следует, что уже в те времена, к которым относятся тек-

сты из хаттусского архива (в основном это XIV—XIII века до н. э.), греки-ахейцы были одной из самых влиятельных политических сил в Восточном Средиземноморье, с которой не могла не считаться даже такая могущественная держава, как Хеттское царство. Поэтому вполне понятно стремление ученых по возможности точно определить то место на карте, где могло находиться загадочное государство Аххиява.

От ответа на этот вопрос прямо и непосредственно зависят наши представления о политической обстановке, которая сложилась в Малой Азии и Эгейском бассейне в конце эпохи бронзы, то есть как раз в то время, когда, согласно наиболее правдоподобным догадкам современных историков, должна была происходить реальная, а не придуманная Гомером Троянская война. Едва ли нужно объяснять, как интересно было бы взглянуть на это событие глазами его современников, к тому же находившихся на азиатской, а не на европейской стороне Эгеиды, отделявшей Грецию от Троады. К сожалению, никаких прямых свидетельств об осаде и взятии греками Трои или Илиона до сих пор в хеттских архивных документах найти не удалось, хотя правители Хеттского царства, несомненно, должны были быть хорошо осведомлены об этих происшествиях, поскольку они весьма близко затрагивали также и их политические интересы (как мы уже видели, в поле зрения хеттской дипломатии находилась даже не одна, а целых две Трои: Вилуса и Труиса, а царь одного из этих городов, Алаксандус из Вилусы, был союзником и вассалом хеттского царя). Лишь в одном тексте из Хаттусы, представляющем собой письмо от неизвестного хеттского царя к опять-таки неизвестному царю государства Аххиява[1] (имена обоих царей, очевидно, были начертаны в табличке, содержащей начало этого пространного документа, но она-то как раз и не сохранилась) в весьма неясных выражениях упоминается какой-то конфликт между хеттами и Аххиявой из-за Вилусы. Было бы, конечно, весьма заманчиво попытаться тем или иным способом сблизить это событие с той войной греков с троянцами, о которой повествуется в гомеровской «Илиаде» (хронологически они не так уж сильно удалены друг от друга, если принять предложенную Блегеном датировку гибели Трои VIIa где-то в середине XIII века), но этому мешают, по крайней мере, три обстоятельства.

[1] Этот документ известен в науке как «письмо Тавагалавы». Тавагалава — имя родственнника царя Аххиявы, упомнинаемого в пнсьме.

Во-первых, конфликт, о котором идет речь в только что упомянутом письме хеттского царя, был, судя по всему, улажен мирным путем. До разрушения Вилусы дело на этот раз как будто не дошло. Во-вторых, Гомеру, по-видимому, ничего не было известно о Хеттской державе — одном из двух главных участников конфликта. Наконец, в-третьих, если государство Аххиява находилось не в Европе, а в Азии или где-то вблизи от нее — на одном из островов Эгейского или Средиземного моря (а к этому мнению склоняется сейчас большинство ученых),— то получается опять-таки слишком большое расхождение между показаниями хеттского источника и греческой мифологической традиции.

Итак, мы поступили бы, пожалуй, слишком неосторожно, если хотя бы на минуту допустили, что за вроде бы знакомыми именами и географическими названиями, прочитанными в хеттских клинописных текстах из Богазкеоя, скрываются те самые лица и места, которые фигурируют и в греческих эпических сказаниях о походе на Трою. И все же какая-то связь между этими двумя столь сильно различающимися между собой видами источников, скорее всего, существует. Как явствует из документов богазкеойского (хаттусского) архива, и хетты, и ахейцы были хорошо осведомлены о находившемся где-то, вероятно в северо-западной части Малой Азии, небольшом княжестве или царстве Вилуса, которое по крайней мере в одном случае упоминается вместе с другим, наверно, соседним, царством Труиса, и, похоже, в равной степени были заинтересованы в установлении своего контроля над этим районом.

Если хеттам это на какое-то время удалось, то об ахейском протекторате над Вилусой и Труисой нам ничего не известно, хотя попытки подчинения, а может быть, даже прямого захвата этих двух царств с ахейской стороны, видимо, все же предпринимались и, как следует из одного уже упомянутого документа, привели к прямому конфликту с Хеттским государством, хотя его и удалось своевременно уладить. Можно, таким образом, предполагать, что события, о которых идет речь у Гомера и в хеттских источниках, в конкретной исторической действительности (конечно, если считать и то, и другое историей) происходили как бы в двух разных плоскостях. Но по крайней мере в одной точке они пересекаются. Претензии ахейских владык на Вилусу[1], где бы ни находились

[1] Вилуса, или Труиса, или обе оии вместе, возможио, и в самом де-

сами эти владыки — в Европе или Азии,— и каковы бы ни были результаты этих претензий, уже сами по себе могли в один прекрасный момент стать завязкой фабулы героического эпоса. И дальше эта фабула могла развиваться по своим собственным законам, ничего общего не имеющим с законами, действующими в истории.

Кому-то из ахейских сказителей-аэдов пришла в голову «счастливая мысль», что борьба за обладание Вилусой была «спровоцирована» самими богами, которые нарочно подстроили похищение Елены Парисом, чтобы учинить кровавую бойню, в которой участвовало множество племен и их предводителей, обитавших на двух противоположных берегах Эгейского моря. Кто-то другой «сцепил» с этим сюжетом другую популярную историю — об обиженном витязе, разгневанном на своих соотечественников и, чтобы насытить свой гнев, уклоняющемся от участия в бою. Третий ввел в эту же цепочку мифов еще одно важное звено — рассказ об удивительном деревянном коне, с помощью которого ахейцы наконец проникли в осажденный город и предали его огню и мечу. За то время, пока формировался сюжет бессмертного эпоса, возникали бесчисленные его варианты и ответвления, железный век успел сменить бронзовый, блестящая эпоха микенских дворцов и цитаделей уступила место унылой череде темных веков. За эти несколько столетий греки наверняка успели забыть подлинный исторический Илион — Вилусу — так же, как начисто забыли оставившее гораздо более заметный след в истории Малой Азии и примыкающих к ней районов великое Хеттское царство. Поэтому, когда в IX или VIII веке до н. э. греческие мореплаватели вновь после длительного перерыва появились на берегах Троады, они едва ли располагали какими-нибудь достоверными сведениями о древнейшем прошлом этого района. Скорее всего, ничего определенного они не знали и о древнем заброшенном городище, расположенном в нескольких километрах от морского побережья. Однако легенды и мифы, бытовавшие среди местного населения (теперь это были племена фригийцев, перебравшиеся в Азию из Европы, с территории Фракии), могли в каких-то деталях напомнить им их собственные героические предания о походе на Трою. Вполне возможно, что в этих легендах фигурировало древнее название или названия

ле были захвачены и разрушены ахейцами, и нельзя считать совершенно исключенным, что свидетельством этого события как раз и являются руины древней цитадели — то ли Трои VI, то ли Трои VIIa, открытые на Гиссарлыке.

разрушенной цитадели, напоминающие греческие «Илион», или «Троя», или оба эти названия вместе. Таким образом, две версии эпической традиции, в течение ряда столетий развивавшиеся совершенно независимо друг от друга в разной этнической и языковой среде, в конце концов, как говорится, нашли друг друга и, соединившись, стали главной сюжетной основой дошедшего до нас цикла мифов о Троянской войне, в число которых вошел и миф о «гневе Ахилла», на котором строится сюжет гомеровской «Илиады».

Основное содержание троянского цикла, если приглядеться к нему внимательнее, представляет собой необыкновенно сложную и пеструю мозаику, в которой разнородные и разновременные исторические факты беспорядочно перемешаны со столь же разнородными мотивами фольклорного происхождения. Может быть, когда-нибудь и найдется исследователь, которому удастся разложить это хаотическое смешение исторической реальности с поэтическим вымыслом на его составные элементы, четко разграничив при этом историю и миф. Но для этого, несомненно, понадобятся новые источники. Возможно, это будут новые хеттские клинописные тексты, или египетские исторические хроники, или даже пока еще неизвестные нам документы из микенских дворцовых архивов.

Пока же нам остается лишь еще раз напомнить читателю об одной удивительной способности, которой обладает коллективная память устного народного предания, то есть тот единственный источник исторической информации, на который только и могли опираться Гомер и другие авторы Троянского цикла. Все дело в том, что реальные исторические события, попавшие в орбиту притяжения фольклорной традиции, сплошь и рядом как бы спрессовываются в одно грандиозное по своим масштабам и числу участников, но в действительности нигде и никогда не происходившее событие. Весьма вероятно, что именно таким событием-символом, событием-итогом, подводящим черту под длинным рядом более или менее однотипных, но происходивших в разное время и в разных местах исторических эпизодов, как раз и была Троянская война.



4

«НЕГДЕ В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ, В ТРИДЕСЯТОМ ГОСУДАРСТВЕ...»

Мифическая география

Море цивилизовало греков.
А. Боннар

Начииая с древнейших времеи вся жизиь греческого иарода была тесио связаиа с морем. Подобио обитателям Британских островов и Скаидииавии в Севериой Европе, сиро-фииикийского побережья в Восточиом Средиземиоморье, Япоиии и Иидонезии в Восточиой и Юго-Восточиой Азии, Полииезии в Океании, греки были прирождеииыми мореплавателями. В этом нет иичего удивительиого. Можио сказать, что море плескалось у самого порога их домов.

Миогие греческие города были расположеиы иепосредствеиио иа морском побережье, другие — иа иебольшом удалении от иего. Вообще во всей Греции довольио трудно найти место, которое отстояло бы от моря иа расстояиии более ста километров. Даже с плоскогорий суровой малолюдиой Аркадии, занимающей глубиниые райоиы полуострова Пелопоииес и ие имеющей иикакого выхода к морю, его темио-сииюю гладь можно различить иа горизоите в ясиые солнечиые дни. Необыкиовениая изрезаииость береговой полосы, обилие глубоко вдающихся в сушу заливов и бухт, накоиец, миожество больших и малых островов, которые тяиутся длиииой цепью от западного европейского берега Эгейского моря к его восточному, азиатскому побережью,— все это превращало этот водиый бассейн в идеальиую «школу» для начииающих мореплавателей даже при крайие несовершеииых средствах судоходства. Судя по всему, уже предшествеиики греков — миийцы и ие оставившее иам своего имени

древнейшее население Кикладских островов[1] (большой архипелаг, занимающий центральную часть Эгейского моря) были искусными мореходами, которые не только избороздили вдоль и поперек все пространство Эгейского бассейна, но и совершали далекие плавания, выходя за его пределы как в юго-восточном направлении — в сторону Кипра, Финикии и Египта, так и в западном — к берегам Сицилии и Италии. Об этом свидетельствуют многочисленные изображения весельных и парусных судов в эгейском искусстве III—II тысячелетий до н. э. Греки уже вскоре после своего первого появления на Балканах (согласно принятой большинством ученых датировке это произошло примерно на рубеже III—II тысячелетий) стали активно использовать все те преимущества, которые открывало перед ними само географическое положение их нового отечества, занимаясь рыболовством, морской торговлей и пиратством, которое в те времена было неизменным спутником мореплавания. По-видимому, еще в хронологических рамках микенской эпохи (до конца II тысячелетия до н. э.) они хорошо освоили морские пути, ведущие на восток — к берегам Малой Азии, Кипра, Финикии и Египта, проникали также и в Западное Средиземноморье — в Италию и Сицилию — и, таким образом, как бы переняли эстафету у своих предшественников — минойцев и кикладцев. В послемикенское время — в период великого переселения греческих племен — греки прочно обосновались на малоазиатском побережье Эгеиды, заселив там целый ряд вновь основанных городов-колоний. После этого Эгейское море надолго превратилось во «внутреннее греческое озеро», как его нередко называют. С VIII века до н. э., очевидно в результате охватившего Грецию «демографического взрыва» и резко обострившейся в связи с этим нехватки земли, начинается стремительное расселение греческой народности по берегам Средиземного моря и других связанных с ним водных бассейнов — Адриатики, Мраморного, Черного и Азовского морей. Эта так называемая Великая колонизация оказала огромное влияние на все дальнейшее развитие греческого общества и его культуры. Греческие колонии, во множестве разбросанные по всему Средиземноморью и Причерноморью, не могли существовать без более или менее регулярных экономических и культурных контактов со своими метрополиями, то есть с теми горо-

[1] Возможио, это были далекие предки карийцев, обитавших в I тысячелетии до и. э. в прибрежиых районах юго-западной части Малой Азии.

дами в самой Греции, жители которых принимали особенно активное участие в колонизации того или иного района. В те времена такие контакты могли осуществляться только морем на кораблях.

Неудивительно, что рассказы о морских походах и обычно сопутствующих им опасностях и приключениях уже в очень раннее время стали одним из самых популярных жанров в греческой литературе, куда сюжеты такого рода могли проникнуть только из устного народного творчества, и прежде всего из мифологии. Отважными мореплавателями были многие герои греческих мифов[1]. Но наибольшая популярность выпала на долю аргонавтов — участников знаменитого плавания за золотым руном — и Одиссея — одного из главных героев Троянской войны, после ее окончания долго скитавшегося по морям, прежде чем боги наконец разрешили ему вернуться на его родной остров Итаку. Оба мифологических сюжета уже очень рано привлекли к себе внимание греческих поэтов и стали основой больших эпических поэм. Из этих произведений сохранилась, однако, только приписываемая Гомеру «Одиссея». Древнейший эпос о походе аргонавтов, первоначально существовавший, как об этом свидетельствуют поздние античные авторы, в нескольких различных вариантах, до нас, к сожалению, не дошел. Кроме нескольких прозаических пересказов мифа мы располагаем теперь довольно большой, но хронологически очень далеко отстоящей от своего первоисточника поэмой «Аргонавтика», написанной жившим в III веке до н. э., то есть уже в эпоху эллинизма, поэтом Аполлонием Родосским. Как произведение гораздо более раннего времени, в основной своей части тесно связанное с древнейшей мифологической традицией, гомеровская «Одиссея», несомненно, намного интереснее для современного исследователя, чем довольно скучная, бессвязная и к тому же слишком перегруженная ученой эрудицией «Аргонавтика»[2]. Целесообразно поэтому начать разговор о географических представлениях, положенных в основу этих двух популярных мифов, именно с приключений Одиссея.

[1] Даже такой, казалось бы, сугубо «сухопутный» герой, как Геракл, и тот совершил довольно рискованное плавание через Океан, но не на корабле, а в особом сосуде, подаренном ему солнечным богом Гелиосом. Это путешествие Геракла обычно связывают с одним из совершенных им двенадцати подвигов — похищением чудесных коров великана Гериона, жившего далеко на западе, на острове Эрифея.

[2] Между прочим, автор этой поэмы занимал весьма важный пост заведующего знаменитой Александрийской библиотекой.

ГДЕ ПЛАВАЛ ОДИССЕЙ?

Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который,
Странствуя долго со дня, как святой Илион им разрушен,
Многих людей, города посетил и обычаи видел,
Много и сердцем скорбел на морях, о спасенье заботясь
Жизни своей и возврате в отчизну сопутников...

Гомер

От своей «старшей сестры» «Илиады» вторая гомеровская поэма «Одиссея» отличается, в частности, обилием авантюрных и фантастических, сказочных мотивов. Правда, в своей основной части эта фантастика сконцентрирована лишь в нескольких песнях поэмы — с IX по XII, содержащих пространный рассказ Одиссея о выпавших на его долю бедствиях и приключениях. Это, разумеется, не означает, что все остальные двадцать песен «Одиссеи», в которых таких сказочных элементов заключено на первый взгляд намного меньше, представляют собой какое-то подобие реалистического романа. В действительности, как это показали специальные исследования, основная фабула второй поэмы Гомера построена по законам устного народного творчества и представляет собой одну из разновидностей весьма популярного в мировом фольклоре эпического и сказочного сюжета, известного в науке под условным наименованием «Муж на свадьбе своей жены». Ученым-фольклористам во множестве вариантов известна трогательная история о том, как герой после многолетнего отсутствия, никем не узнанный (чаще всего в обличье старого нищего бродяги), возвращается в свой родной дом в тот самый момент, когда враги, разграбившие его имущество и притесняющие его близких и слуг, уже принуждают его покинутую, беззащитную жену вступить в новый брак с одним из них. Чтобы помешать новому злодеянию, герой внезапно раскрывает свое инкогнито, нередко уже в самом разгаре свадебного пиршества, и иногда в одиночку, иногда с помощью нескольких верных слуг или друзей учиняет жестокую расправу над своими обидчиками. Эта наиболее традиционная и, по-видимому, известная в своих основных чертах задолго до Гомера часть фабулы «Одиссеи» начинает раскручиваться и достигает своего логического завершения лишь во второй половине поэмы (песни с XIII по XXIV). Здесь можно найти немало полезной для историка информации, проливающей свет на быт и нравы греков гомеровского времени (XI—VIII века до н. э.). Однако никто сейчас как будто уже не склонен искать в

поэтическом рассказе о столкновении скитальца Одиссея с надменными женихами, преследующими своими домогательствами его супругу Пенелопу, отголоски подлинных исторических событий, некогда происходивших на острове Итака. Последним, кто пытался это сделать, был, по-видимому, Г. Шлиман, который начал археологическое обследование Итаки еще до своих прославленных раскопок в Трое и Микенах, но вскоре, очевидно, понял полную бесперспективность затеянного им предприятия, так как ничего похожего на руины «дворца Одиссея» ему в пределах острова найти не удалось.

Не сумев докопаться до «подлинной исторической основы» наиболее реалистических частей «Одиссеи», исследователи шлиманского склада с удвоенной энергией взялись за анализ наименее правдоподобных эпизодов поэмы, составляющих рассказ главного героя о тех почти десятилетних скитаниях, которые предшествовали его возвращению на родину из троянского похода, рассчитывая, что здесь им удастся разыскать среди целой груды сказочных вымыслов хотя бы крупицу исторической истины. Надо признать, что такое направление поисков не было лишено известной психологической обоснованности. В самом деле, напряженно вчитываясь в мерно, как морской прибой, рокочущие строки «Одиссеи», мы с поразительной отчетливостью видим перед собой все те острова, побережья, проливы и бухты, которыми поэт разметил путь своего скитальца. Такова сила подлинной поэзии. Сменяя друг друга, проходят перед нами берег циклопов, на пустынных пастбищах которого пасутся стада гиганта Полифема, огороженная крутой стеной утесов тихая гавань лестригонов, поросшая густым лесом Ээя — остров волшебницы Кирки. И вот уже загипнотизированные этой удивительной точностью гомеровских описаний, мы берем карту и начинаем разыскивать на ней места корабельных стоянок и кораблекрушений, о которых повествует великая поэма. Впрочем, поиски эти начались очень давно.

Уже в древности среди знатоков гомеровской поэзии не было единого мнения о маршруте плаваний Одиссея. Большинство полагало, что следы его нужно искать где-то в Западном Средиземноморье — у берегов Италии, Сицилии, Северной Африки или Ливии, как называли греки этот материк. Такого мнения придерживались, например, выдающийся греческий историк Полибий, знаменитый географ Страбон и многие другие ученые. Во II веке до н. э. известный в то время философ-стоик Кратес из Малла, глава пергамской научной школы, высказал сме-

лую догадку о том, что местом действия центральных сцен «Одиссеи» был отнюдь не замкнутый Средиземноморский бассейн, а широкие просторы Атлантики. Именно там, утверждал Кратес, за Геракловыми столпами (так древние называли Гибралтарский пролив), плавал Одиссей, там совершил он все свои прославленные подвиги: ослепил Полифема, перехитрил коварную Кирку, превратившую его спутников в свиней, счастливо избег завораживающего пения сирен и бездонной пасти чудовищной Харибды. Впрочем, уже и в те времена встречались скептики, у которых наивная вера их современников в абсолютную истинность сказаний Гомера вызывала лишь усмешку. Среди сомневающихся мы видим величайшего географа античного мира Эратосфена. «Ты сможешь найти места, по которым странствовал Одиссей,— иронически замечает он по адресу чересчур доверчивых читателей Гомера,— если найдешь кожевника, который сшил мешок для ветров» (имеется в виду мех с заключенными в нем ветрами, которым снабдил Одиссея при расставании их повелитель Эол).

Язвительный каламбур Эратосфена невольно приходит на ум, когда, открывая журнал или книгу, узнаешь об очередной и — увы! — как и все предыдущие, бесплодной попытке установления точного маршрута скитаний Одиссея. Просматривая обширную современную литературу, посвященную этой неумирающей теме, с удивлением убеждаешься в том, что и сам подход к проблеме и уровень аргументации, используемой защитниками различных точек зрения,— все это мало изменилось по сравнению с временами Страбона и Кратеса. По-прежнему ведут спор между собой две великие школы — «средиземноморская» и «океаническая», решая все тот же вопрос: где плавал Одиссей — по ту или же по эту сторону от Геракловых столпов? По-прежнему слишком много места в системе доказательств спорящих сторон занимают произвольные, ни на чем не основанные домыслы. Не этим ли объясняются те удивительные перемещения по карте, которые происходят подчас с важнейшими эпизодами нашей поэмы?

Создается впечатление, что каждый, кто вновь берется за перо, чтобы писать о географической канве гомеровской «Одиссеи», остается слеп и глух ко всем доводам своих предшественников и прокладывает на карте непременно новый маршрут по своему собственному разумению. Англичанин Эрнле Брэдфорд избороздил на своей яхте воды Средиземного, Адриатического и Эгейского мо-

рей, в течение нескольких лет наблюдая за очертаниями берегов, течениями, направлениями ветра, приливами и отливами и сверяя свои наблюдения со свидетельствами Гомера. Весь маршрут Одиссея был прослежен Брэдфордом с точностью чуть ли не до метра. Каждая стоянка его кораблей не только отмечена на карте, но и сфотографирована. Однако спустя несколько лет после выхода в свет книги Брэдфорда («Обретенный Улисс», 1963 год) француз Жильбер Пийо издает еще одну книгу на ту же тему под сенсационным названием «Тайный код «Одиссеи». Греки в Атлантике». В ней он начисто отвергает результаты исследований Брэдфорда, кстати не затрудняя себя их систематическим разбором, и предлагает иную, как утверждает сам автор, совершенно новую интерпретацию гомеровской поэмы. На страницах этого любопытного сочинения читатель сможет узнать, например, о том, что бог ветров Эол имел своей главной резиденцией остров Мадейру в Атлантическом океане, недалеко от берегов Северной Африки, что дикие лестригоны населяли побережье Ирландии, а прекрасная нимфа Каллипсо, так долго удерживавшая у себя Одиссея, квартировала далеко на севере, в холодной Исландии.

Мы сознательно ограничились лишь двумя образцами, выхваченными наугад из неиссякающего потока монографий и журнальных публикаций, в которых так или иначе затрагиваются географические аспекты мифа об Одиссее, чтобы показать читателю, что вопрос, стоящий в заглавии настоящего очерка, все еще далек от окончательного решения. Но тогда нас могут спросить: а есть ли вообще какой-либо смысл в этой непомерно затянувшейся дискуссии? Не пора ли признать поиски следов Одиссея на географической карте такой же погоней за призраком, как, скажем, поиски снежного человека или рассуждения о вкладе космических пришельцев в развитие древнейших цивилизаций нашей планеты? Попробуем ответить на этот вопрос, «направив свое судно, как сказал современный ирландский исследователь Дж. Люс, по среднему пути между Сциллой скептицизма и Харибдой чрезмерной доверчивости».

Если кого и можно упрекнуть в чрезмерной доверчивости, то это, безусловно, приверженцев океанической гипотезы, основы которой были заложены некогда Кратесом из Малла. Дело в том, что в нашем распоряжении нет никаких достоверных данных о греческом мореплавании в Атлантике в период, предшествующий созданию «Одиссеи», то есть до конца VIII века до н. э. Первым

греком, которому удалось, да и то случайно, проскочить через Гибралтарский пролив в океан, был, по свидетельству «отца истории» Геродота, некто Колей — корабельщик с острова Самос. Произошло это событие едва ли раньше середины VII века до н. э.— уже много времени спустя после того, как мир узнал о приключениях Одиссея. Правда, задолго до греков, вероятно уже в конце II тысячелетия до н. э., дорога, ведущая в океан, была освоена финикийцами. В своих плаваниях эти опытные и отважные мореходы достигали, как думают некоторые исследователи, Канарских и даже Азорских островов. Им был известен также и Великий оловянный путь, связывавший Средиземноморье с Касситеридами, или Оловянными островами (так древние, по всей видимости, называли Британию). Все эти факты, уже давно известные науке, послужили почвой для достаточно рискованных домыслов о том, что в своей работе над «Одиссеей» Гомер будто бы использовал финикийские источники, заключавшие в себе карты и лоции Западной Атлантики. Высказывалось даже предположение, что «божественный старец», не мудрствуя лукаво, перевел или пересказал какую-то финикийскую поэму, в которой рассказывалось о скитаниях героя в морях дальнего Запада. Конечно, гипотезы такого рода весьма заманчивы. Но кто бы мог, положа руку на сердце, утверждать, что создатель «Одиссеи» знал финикийский язык, как свой родной греческий, или что он был в состоянии без посторонней помощи разобраться в чужеземных лоциях, даже если таковые имелись у него под рукой?

В сравнении с эффектными, но слишком рискованными построениями «океанистов» «средиземноморская доктрина» производит впечатление более солидной и устойчивой конструкции. Средиземноморский бассейн в значительной его части был изучен греками уже в микенскую эпоху (XVI—XII века до н. э.— время, к которому, согласно широко распространенному мнению, восходят предания о Троянской войне и последующих скитаниях Одиссея). Уже в те далекие времена греческие мореплаватели начали осваивать путь на запад к берегам Италии и Сицилии. Не исключено, что их корабли достигали и более отдаленных районов, таких, как Сардиния, Корсика, Испания, Северная Африка. К концу VIII века до н. э., то есть как раз ко времени создания «Одиссеи», греки уже успели прочно закрепиться на берегах Италии и Сицилии, оставив здесь целую россыпь своих городов-колоний. Таким образом, размышляя над рассказом о

странствиях Одиссея, Гомер мог опираться на многовековой опыт греческих моряков, чьи корабли с древнейших времен бороздили воды Западного Средиземноморья. И тем не менее даже самый тщательный анализ текста «Одиссеи» не сможет обнаружить в ней сколько-нибудь точных сведений о географии этого района. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно хотя бы бегло проследить маршрут нашего героя по основным его этапам.

Главные приключения Одиссея начались после того, как его корабли застигла страшная буря, когда они огибали всегда считавшийся опасным для мореплавателей мыс Малея — южную оконечность Пелопоннеса. Сильный северный ветер (Борей) заставил эскадру Улисса[1] свернуть с намеченного пути и девять дней подряд гнал ее неведомо куда. Заметим мимоходом, что бесполезно было бы и в этом, и в других сходных случаях пытаться определить, какое именно расстояние прошли корабли Одиссея за это время,— цифры в эпическом повествовании носят почти всегда условно-приблизительный характер,— и Гомер говорит о девяти днях здесь и в других местах только для того, чтобы показать читателю, что прошло много времени и был пройден большой путь, но какой именно, не так уж важно. Когда буря кончилась, Одиссей и его спутники оказались в стране лотофагов («пожирателей лотоса»). Цветы (или плоды) лотоса, которыми питались лотофаги, обладали удивительной силой: каждый, кто их отведал, тотчас забывал о своей прежней жизни и хотел только одного — остаться в краю гостеприимных лотофагов, вкушая вместе с ними их сладостную пищу. Исходя из того, что подгоняемые северным ветром корабли Одиссея плыли все время прямо на юг, мы должны искать страну лотофагов где-то на северном ливийском побережье Африки, примерно в районе современного Бенгази, или, быть может, несколько западнее, или, наоборот, восточнее этого места. Рационалистически перетолковывая древний миф о плодах волшебного растения, дарующих человеку забвение, некоторые ученые приходят к выводу, что лотофаги угощали спутников Одиссея плодами дерева джуджуб (одна из съедобных разновидностей лотоса, произрастающая на всем протяжении африканского побережья, от Киренаики до Туниса). Однако сами лотофаги, радушные и изнеженные, мало похожи на воинственных полудиких ливийцев, населявших в те времена северную окраину Африканского континента.

[1] Улисс — второе имя Одиссея, встречающееся в основном в латинской (римской) литературе.

Следующую остановку флот Одиссея сделал у берега циклопов, где героя ожидало одно из самых опасных приключений, стоившее жизни шести его товарищам, которых пожрал свирепый людоед Полифем. Точнее местонахождение этого страшного побережья установить, по-видимому, невозможно. Поэт ничего не сообщает здесь ни о направлении ветра, ни о расстоянии, пройденном Одиссеем от страны лотофагов. Детали же ландшафта, выписанные Гомером с поразительной пластической силой (дикая гористая местность, изобилующая пещерами, плодородная почва, которая в достатке приносит туземцам все необходимое для жизни, обрывистые скалистые берега), дают слишком широкий простор воображению исследователей, что ведет, как и обычно, к крайнему разнобою мнений. Одна из последних локализаций области циклопов, предложенная Дж. Люсом, переносит ее на адриатическое побережье Италии, в зону распространения так называемой апеннинской культуры. Хронологически эта культура совпадает со временем расцвета микенской цивилизации в Греции. Как показывают раскопки, «апеннинцы» были примитивным пастушеским народом, жили в пещерах и занимались по преимуществу скотоводством. Эти дикари, как думает Люс, и послужили прообразом циклопа Полифема и его соплеменников.

Встречи обитателей Древней Италии с заплывавшими в эти воды греческими мореходами нередко заканчивались трагически, так как из-за большой разницы в уровне культурного развития обоих народов контакты между ними налаживались плохо. Об этом может свидетельствовать любопытная находка, сделанная в пещере Гротта Манакорра на полуострове Гаргано (центральная часть италийского побережья Адриатики). В одной из расщелин внутри пещеры был обнаружен большой клад бронзовых изделий, среди которых было более двадцати мечей. Это огромное по тем временам богатство удивительно не вяжется с крайне убогим и примитивным бытом обитателей пещеры, живших еще почти в условиях каменного века. Учитывая это, мы вправе поставить вопрос: а не был ли этот клад добычей с какого-нибудь греческого судна, неосторожно ставшего на якорь вблизи опасной пещеры и захваченного туземцами? Что ж, догадка вполне правдоподобная. Но драматические эпизоды, подобные тому, который разыгрался вблизи Гротта Манакорра, могли происходить и в других местах — на противоположном иллирийском побережье Адриатического моря, у берегов Сицилии, Северной Африки — словом, всюду,

где передовая греческая цивилизация вступала в соприкосновение с более отсталыми «варварскими» культурами. Какой из этих эпизодов дал толчок воображению поэта, побудив его к созданию одной из самых захватывающих сцен в «Одиссее», сказать трудно.

Остров бога ветров Эола, у которого Одиссей сделал следующую остановку, древние отождествляли с одним из Липарских островов (у северо-западного побережья Сицилии), и чаще всего с тем из них, который называется теперь Стромболи и известен своим вулканом. Нельзя не согласиться с тем, что величественная вершина вулканической горы была бы вполне подобающим жилищем для буйного повелителя ветров. Однако последующие события, о которых рассказывает Гомер, не очень хорошо вяжутся с этой локализацией острова Эола. Как известно, радушно принятый Эолом Одиссей получил от него в подарок большой мех, в котором были заключены все ветры, за исключением Зефира — западного ветра. Он один остался на свободе и девять дней и ночей исправно подгонял корабли Одиссея к его родному острову Итака, который расположен в Ионическом море, вблизи от западного побережья Греции. Но в тот самый момент, когда родной берег уже показался на горизонте, спутники Одиссея, воспользовавшись тем, что усталый герой крепко заснул, развязали мешок, подаренный Эолом, думая найти там несметные сокровища. Неистовые ветры вырвались на волю и опять погнали флот Улисса в открытое море, все дальше и дальше от совсем уже близкой отчизны. Следуя кратчайшим путем, ведущим от Липарских островов к западным берегам Греции, Одиссей неизбежно должен был миновать узкий Мессинский пролив, отделяющий Сицилию от Апеннинского полуострова. Место это в древности пользовалось дурной славой среди мореплавателей из-за коварных течений и водоворотов, которые подстерегают здесь корабли. Каким же образом Одиссей сумел проскочить через опасный пролив, даже не заметив его? Это затруднение вынуждает некоторых авторов искать остров Эола в других местах, не там, где его помещали древние. Но как древние, так и современные толкователи «Одиссеи» упустили из виду одно обстоятельство, которое делает совершенно бессмысленными все их поиски. По словам Гомера, остров Эола был не простой, а плавучий: он все время передвигался с места на место, подобно Лапуте в «Путешествиях Гулливера», из чего следует, что сам поэт никак не мог бы привязать его к какой-то определенной точке на карте Средиземного мо-

ря, даже если бы совершенно отчетливо представлял себе эту карту.

Ощущение полнейшей географической неопределенности не покидает нас и в следующем эпизоде поэмы — встрече Одиссея с лестригонами. Поэт подробно описывает гавань лестригонов, надежно укрытую неприступными утесами от бурь и штормов. Внутри бухты царит вечное спокойствие: «Там волн никогда ни великих, ни малых нет, там равниною гладкою лоно морское сияет». Однако это спокойствие обманчиво: неожиданно напав на корабли Одиссея, лестригоны уничтожают почти всех спутников героя. Спастись удается лишь ему самому и команде его корабля. Поиски точного местонахождения этого разбойничьего гнезда до сих пор не увенчались успехом. Очень похожие на гавань лестригонов бухты и бухточки обнаруживают в самых различных местах, расположенных как в пределах Средиземноморского бассейна, так и на большом удалении от него. Некоторые авторы отождествляют гавань лестригонов с портом Бонифаччо на южной оконечности острова Корсика, другие — со знаменитой Балаклавской бухтой в Крыму. Какая из них настоящая, решить невозможно. Сам Гомер, однако, вставляет в свой рассказ еще одну любопытную деталь, которая как будто бы говорит о том, что поиски надо вести совсем в другом направлении. Говоря о городе лестригонов Ламосе, поэт как бы вскользь замечает:

Там возвра́щаяся с поля, пастух вызывает
На поле выйтн другого; легко б несонлнвый работннк
Плату двойную там мог получать, выгоняя пастнся
Днем белорунных баранов, а ночью быков крнворогнх:
Ибо там паства дневная с ночною сближается паствой.

В подлиннике буквально сказано: «Ибо пути дня и ночи там сходятся близко друг с другом». Уже Кратес из Малла увидел в этом пятистишии намек на короткие летние ночи, обычные в северных широтах. Того же мнения придерживаются и некоторые современные ученые, полагающие, что город и гавань лестригонов следует искать где-то на севере Европы, например в Норвегии. Но каким образом греки, обитавшие на крайнем юге Европейского континента, могли узнать об этой особенности северного лета? Некоторые думают, что эти сведения они могли получить от торговцев янтарем, которые еще во II тысячелетии до н. э. добирались до района Прибалтики в поисках этого высоко ценимого всеми народами древности минерала. Другие считают, что это произошло еще раньше, когда сами греки жили гораздо севернее, вдале-

ке от той страны, которая теперь носит их имя. А между тем слова Гомера можно объяснить без особых ухищрений, не прибегая к таким сложным и рискованным гипотезам. Надо только подойти к ним не как к географическому, а как к литературному факту.

В знаменитой поэме Гесиода «Теогония» (нечто вроде грандиозного свода греческих мифов о богах) есть одно интересное место, в котором описывается встреча дня и ночи в тот момент, когда они приветствуют друг друга, переступая через высокий медный порог их общего дома: ночь уходит на покой, а день выходит ей на смену. Эта символическая сцена близко напоминает встречу двух лестригонских пастухов у Гомера, а брошенная им вскользь загадочная фраза: «Ибо там пути дня и ночи сходятся близко друг с другом» — полностью раскрывается в ярком поэтическом образе, который у Гесиода символизирует, очевидно, обычную смену дня и ночи. Итак, в представлении Гомера лестригоны обитают где-то очень далеко на краю земли (западном или восточном — это остается неясным), там, где близко сходятся пути дня и ночи и где стоит их общее жилище. Идея эта глубоко коренится в греческой мифологии и фольклоре, из которого ее заимствовали независимо друг от друга оба поэта, и, разумеется, никак не связана с неравномерностью дня и ночи в северных странах. Этот случай наглядно показывает, как опасно подходить к гомеровским описаниям стран и народов с чисто географическими критериями, забывая о поэтической их природе.

Еще более удивительные события с точки зрения не только географической науки, но и просто здравого человеческого рассудка происходят с Одиссеем и его спутниками на острове волшебницы Кирки (или Цирцеи). Сам Одиссей, в растерянности обращаясь к своим товарищам после высадки на остров, говорит: «Нам неизвестно, где запад лежит, где является Эос; где светоносный под землю спускается Гелиос, где он на небо всходит...»

Казалось бы, эти слова должны были сразу отбить у толкователей всякую охоту искать остров Ээя на карте. Однако нет. Уже в древности указывалось несколько мест, где, согласно предположениям знатоков Гомера, должны были стоять чертоги Кирки. Наиболее известное из этих мест — на западном побережье Италии, неподалеку от Рима,— было даже названо мысом Цирцеи вопреки прямому указанию Гомера на то, что Ээя — остров, находящийся среди беспредельного моря, на много дней пути от ближайшей суши. Туман, окутывающий местонахож-

дение острова Кирки, начинает понемногу рассеиваться в XII песни поэмы, когда Одиссей возвращается на Ээю после своей «экскурсии» в Аид. Однако обнаружившаяся наконец истина настолько неожиданна, что способна обескуражить и самого хладнокровного читателя. Оказывается, что плывший все время на запад Одиссей (а такое впечатление должно было у нас возникнуть в предыдущих песнях) очутился в конце концов, подобно Магеллану, на восточной окраине земного диска. Это с неизбежностью следует из слов самого героя:

Снова по многоисплытому морю пришли мы на остров
Эю, туда, где в жилище туманнорожденные Эос
Легкие Оры ведут хороводы, где Гелиос всходит.

Итак, ближайшей соседкой Кирки является богиня утренней зари «розоперстая» Эос, которая могла обитать, согласно представлениям всех времен и народов, только на дальнем востоке, но никак не на западе. С этим вполне согласуется то немаловажное обстоятельство, что, согласно мифу, сама Кирка была родной дочерью Гелиоса — бога солнца — и одновременно сестрой царя Ээта (того самого, к которому плавали за золотым руном аргонавты) и, следовательно, приходилась теткой знаменитой колдунье Медее. Вся эта несуразица, доставившая столько хлопот как древним, так и новым комментаторам «Одиссеи», как будто нисколько не тревожит самого поэта. И это не кажется странным, если признать, что скитания нашего героя происходят не в реальном, а в воображаемом, сказочном мире, где все возможно и где обычные представления о времени и пространстве не играют никакой роли.

Путешествие в царство мертвых — Аид, предпринятое Одиссеем по совету все той же Кирки, также ставит перед нами очень сложную географическую проблему, если только мы не откажемся раз и навсегда от навязчивой мысли о том, что за каждым из названных Гомером пунктов обязательно скрывается какая-то реальная местность, которую мы должны угадать по указанным в поэме признакам. Плавание от острова Кирки до пределов Аида заняло у Одиссея и его спутников ровно день (правда, при попутном ветре). За это время они успели переплыть Океан, что не должно нас удивлять, так как и здесь (в XI песни «Одиссеи»), и в других местах Океан изображается Гомером в виде большой реки, со всех сторон опоясывающей землю. С этой рекой каким-то образом соединяется море, по которому плавает Одиссей. Ни-

где в тексте поэмы нет даже намека на то, что, прежде чем попасть в Океан, корабль Одиссея прошел через пролив, что было бы совершенно необходимо, если бы речь шла об Атлантическом океане, но поэт едва ли думал о нем. Описывая местность вблизи спуска в Аид, Гомер снова завораживает нас поразительной наглядностью созданной им картины.

Ты, Океан в корабле поперек переплывши, достигнешь
Низкого брега, где дико растет Персефонин широкий
Лес из ракит, свой теряющих плод, и из тополей черных...
Быстро бежит там Пирифлегетон в Ахероново лоно
Вместе с Коцитом, великою ветвию Стикса; утес там
Виден, и обе под ним многошумно сливаются реки,—

так говорит Кирка, наставляя Одиссея перед опасным путешествием. Когда читаешь эти строки, невольно закрадывается подозрение, а не был ли сам поэт в этих унылых краях, не видел ли он их воочию. Но поэтический образ — это не моментальная фотография местности, запечатлевшаяся на сетчатке человеческого глаза. Он всегда сложен, всегда соткан из множества мимолетных впечатлений. Ведь и про Данте говорили, что он сам спускался в преисподнюю, так как в противном случае не смог бы изобразить с такой убедительной силой все девять кругов Ада. С тем же наивным рационализмом подходили к Гомеру его древние комментаторы. Им было известно несколько, как тогда считалось, вполне реальных входов в подземное царство. Один из них находился на мысе Тенар, в Южной Лаконии, другой — вблизи Пилоса в Мессении, третий — у водопада на реке Стиксе в Аркадии, четвертый — в Авернской пещере в Италии. Но были еще и другие. Какой же из них был избран Гомером? Живший во II веке н. э. Павсаний — автор популярного «Описания Эллады» — был твердо убежден, что из всех известных ему входов в Аид Гомер выбрал тот, который находился в Феспротии (Северо-Западная Греция), недалеко от острова Керкира (совр. Корфу). Здесь в древности текли три реки с леденящими душу названиями: Коцит, Ахерон и Пирифлегетон. Недалеко от впадения в море они сливались так, как это описывает Гомер. Раскопки обнаружили невдалеке от места слияния трех рек остатки святилища, которое при ближайшем рассмотрении оказалось оракулом мертвых. Судя по находкам костей овец и других животных, здесь приносились жертвы и заклинались души мертвых таким же способом, как это сделал Одиссей во время своего визита в Аид. Все это как будто подтверждает гипотезу Павсания. Но оста-

ется одно немаловажное обстоятельство, которое никак не вяжется с предложенной им локализацией. Область феспротов и текущие через нее «адские реки» расположены не так далеко от родного острова Одиссея — Итаки. Для того чтобы покрыть разделяющее их расстояние, едва ли потребовалось бы более двух-трех дней пути морем. Между тем, как мы уже знаем, Одиссей долго скитался в неведомых морских просторах, прежде чем ему удалось добраться до мрачной пропасти, ведущей в царство вечной ночи. Река Океан, которую герой пересек во время этой экспедиции, в глазах поэта служит своеобразной границей, отделяющей мир живых от мира мертвых, и по логике вещей должна находиться на самой отдаленной окраине земли, за пределами ойкумены, как греки называли обитаемую часть нашей планеты. Правда, у самого спуска в преисподнюю Гомер поместил еще одно племя — киммериян:

Там киммериян печальная область, покрытая вечно
Влажным туманом и мглой облаков; никогда не являет
Оку людей там лица лучезарного Гелиос...
Ночь безотрадная там исконн окружает живущих.

Упоминание о киммериянах, или киммерийцах, в сугубо фантастическом контексте XI песни «Одиссеи» может показаться неожиданным. Ведь в отличие от лестригонов, циклопов, лотофагов и других сказочных народов, населяющих мир, по которому странствует Одиссей, киммерийцы — вполне реальное племя, обитавшее в древности в районе, расположенном вокруг Азовского моря и Керченского пролива (отсюда древнее название этого пролива Боспор Киммерийский). В VII веке до н. э. кочевые орды киммерийцев совершили опустошительный набег на Малую Азию, дошли до греческих городов, расположенных на западном побережье полуострова, и были поэтому хорошо известны грекам. Каким же образом эти воинственные кочевники оказались ближайшими соседями царства теней, в которое предстояло войти Одиссею? Очевидно, уже древние комментаторы Гомера ломали голову над этим обстоятельством. Поэтому в некоторых рукописях «Одиссеи» мы находим вместо киммерийцев керберийцев, то есть «народ Кербера», или хеймерийцев — «зимних людей». Современные последователи атлантической теории готовы видеть в гомеровских киммерийцах либо кимров — кельтское население Уэльса, либо кимвров — германское племя, жившее когда-то в Ютландии (совр. Дания). Но есть ли надобность в таких превращениях? Если вдуматься, появление киммерийцев в бли-

жайших окрестностях Аида не так уж и удивительно. В самом деле, что мог знать Гомер о киммерийцах и об их земле? (Мы не должны забывать, что «Одиссея» была создана задолго до того, как началось настоящее освоение греческими колонистами Северного Причерноморья.) Вероятно, ему было известно, что это какие-то дикари, живущие в суровом и холодном краю, где и солнце-то редко показывается на небосводе. А так как хуже этого трудно было себе что-либо представить, поэт счел киммерийцев самыми крайними из обитателей земли, дальше которых уже никто не живет, а начинается мир теней, подвластный Аиду.

На этом примере мы лишний раз убеждаемся в том, что гомеровские пейзажи не являются описаниями каких-то конкретных, реально существовавших местностей, а, как правило, представляют собой результат поэтического синтеза. При этом отдельные элементы произвольно и независимо от их происхождения перемешиваются между собой, сливаясь в единый образ, который рисует поэту его воображение. Именно так конструируется пейзажный фон путешествия в Аид. Адские реки Коцит и Ахерон из Греции переносятся на самый край земли, где к ним присоединяется воображаемая река Океан. Здесь же Гомер поселяет известных ему, очевидно лишь понаслышке, киммерийцев, не очень задумываясь над тем, в какой из четырех стран света они должны были жить на самом деле. Все остальное: роща Персефоны с ее тополями и ракитами, туман и мрак, по-видимому, плод фантазии поэта.

Но последуем дальше за нашим героем. Благополучно миновав остров коварных сирен (для его локализации, пусть даже самой приблизительной, у нас нет никаких данных), Одиссей оказывается на опасном распутье, о котором он был своевременно предупрежден Киркой. Одна дорога проходит мимо блуждающих скал (Гомер называет их Планктами), миновать которые не удалось еще ни одному кораблю, за исключением знаменитого Арго,— автор «Одиссеи», очевидно, уже слышал о походе аргонавтов. Другая дорога ведет через узкий пролив, в котором мореплавателя подстерегает с одной стороны чудовищная шестиглавая Скилла, хватающая людей со всех проходящих мимо кораблей, с другой — еще более ужасная Харибда, засасывающая целиком весь корабль в свою бездонную глотку. Следуя совету Кирки, Одиссей оставляет в стороне Планкты и выбирает путь между Скиллой и Харибдой, держась ближе к первому из двух

чудовищ. Поступив таким образом, он лишается, правда, шести человек из экипажа корабля (они были схвачены и уничтожены Скиллой), но зато спасает всех остальных. Почти все древние толкователи Гомера были убеждены, что, создавая грозные образы Скиллы и Харибды, поэт хотел предупредить мореплавателей об опасностях — водоворотах, подводных течениях и рифах, подстерегающих их в известном Мессинском проливе, отделяющем Италию от Сицилии. Мнение это было настолько единодушным, что одно местечко на итальянском берегу, у северного входа в пролив, получило даже название Скиллеум, так как считалось, что здесь-то и гнездилась легендарная Скилла.

Эта локализация, принятая также многими современными учеными, была бы более или менее оправданной, если бы мы были твердо убеждены в том, что районом скитаний Одиссея было именно Западное Средиземноморье. Но в том-то и дело, что такой уверенности у нас нет: выше мы имели возможность убедиться в том, что никакие географические резоны не властны над воображением нашего поэта и по своему произволу он может в любой момент перенести своего героя с дальнего запада на самый дальний восток. Таким образом, пролив между Скиллой и Харибдой может в равной степени оказаться и Мессинским проливом, и Босфором или Геллеспонтом. Все зависит от точки зрения самого Гомера, а она нам неизвестна. Никаких точных примет, которые указывали бы именно на Мессинский пролив, в рассказе об этом приключении Одиссея мы не найдем. Предположим, что образ Харибды может быть расшифрован как условное обозначение или символ водоворотов и подводных течений, характерных для этого пролива. Но какой тайный смысл вложен в этом случае поэтом в образ ее напарницы Скиллы? С кем только не сравнивалось это чудище и в древности, и в наше время. Одни полагали, что толчок фантазии поэта дали рассказы о гигантских спрутах, другие считали прототипом Скиллы рыбу-дьявола, третьи утверждали, что в этом образе воплотилось представление о грозной мощи вулканов, обрушивающих на проходящие суда камни и потоки лавы. В принципе любая из этих догадок может иметь под собой какую-то реальную почву, но для решения стоящего перед нами вопроса о местонахождении пролива, через который Одиссею пришлось провести свой корабль, ни одна из них ничего не дает.

Оставив позади Скиллу и Харибду, Одиссей и его спутники высаживаются на пустынном острове Тринак-

рия, где пасутся стада быков и баранов, принадлежащие богу солнца Гелиосу. Измученные голодом товарищи Одиссея решаются поднять руку на священных животных. Это святотатство дорого обошлось путешественникам. Разгневанный Зевс поразил корабль молнией. Все спутники Одиссея погибли в бушующих волнах. Уцелел только он один. Остров, на котором произошло это злосчастное событие, древние отождествляли с Сицилией. И в самом деле, рассуждая последовательно, мы неизбежно должны признать, что, миновав опасный Мессинский пролив, мореплаватель вполне мог оказаться на восточном побережье Сицилии. Однако, как мы уже знаем, исходный пункт этого рассуждения — тождество Скиллы и Харибды с Мессинским проливом — вызывает большие сомнения. Да и сама Тринакрия, которую Гомер изображает небольшим, совершенно необитаемым островом, ничего общего с реальной Сицилией не имеет. К тому же из одного места в XXIV песни «Одиссеи» ясно следует, что Сицилия, или Сикания, была хорошо известна поэту под своим собственным именем, так что никаких оснований смешивать ее с Тринакрией — мифическим островом Солнца — у нас нет.

Чудом уцелев во время ужасной бури, погубившей весь экипаж корабля, Одиссей девять дней плавал по разбушевавшемуся морю, уцепившись за обломки мачты. На десятый день волны выбросили его на остров Огигия, принадлежавший прекрасной нимфе Калипсо. Гомер выразительно называет его «пупом моря». Если предположить, что поэт представлял себе общую протяженность Средиземного моря, тогда Огигия должна была бы находиться примерно в том месте, которое занимает сейчас остров Мальта или, скажем, небольшой островок Пантеллерия, лежащий на полпути между Сицилией и побережьем Туниса. Однако картина настоящего земного рая, окружающего пещеру Калипсо, в которой Одиссей провел долгие годы, тоскуя об утраченной отчизне (пышная, почти тропическая растительность, множество птиц), плохо гармонирует с тем, что нам известно о природе этих двух островов. Выражение «пуп моря», скорее всего, не имеет какого-либо точного географического значения и указывает просто на невероятную удаленность острова Калипсо от какой бы то ни было суши, населенной людьми. Подобно острову Кирки, Огигия заброшена куда-то далеко-далеко в беспредельные морские просторы. Ее точные координаты, по-видимому, нисколько не интересуют поэта. Единственное, что можно сказать о место-

нахождении этого острова, это то, что он расположен к западу от Итаки. Покинув Огигию на своем плоту, Одиссей в течение семнадцати дней (именно столько времени продолжалось его плавание) видел Большую Медведицу по левую руку от себя, а это означает, что он плыл все время прямо на восток.

Последняя стоянка Одиссея по пути на родину — Схерия — остров, населенный загадочным народом феаков. Радушно принятый царем феаков Алкиноем, Одиссей провел на острове несколько дней (его пребыванию у феаков посвящены VI, VII и VIII песни «Одиссеи») и, получив богатые дары, был препровожден своими гостеприимными хозяевами на родину. Некоторые топографические детали в гомеровском описании Схерии, например упоминание об особым образом устроенной «двойной» гавани феаков, способствовали тому, что уже в древности в ней узнали остров Керкиру, расположенный у западного побережья Греции, при входе в Адриатику. С этим мнением солидаризируются и многие современные исследователи, например уже упоминавшийся Э. Брэдфорд, который авторитетно утверждает, что собственными глазами мог убедиться в точности гомеровского сравнения острова феаков со «щитом, лежащим на туманном море», ибо именно такой вид имеет Корфу, когда подплываешь к этому острову с запада или северо-запада, то есть оттуда, откуда должен был приплыть Одиссей.

Несмотря на эти признаки сходства, отождествление Схерии с Керкирой нельзя признать удачным. Говоря о феаках, Гомер постоянно подчеркивает удаленность их острова от мест обитания других людей. Они живут даже дальше диких циклопов. Они вообще «самые крайние», что, очевидно, следует понимать как «живущие ближе всего к краю земли», и благодаря этому почти совершенно избавлены от общения с другими смертными. Лишь от случайных путешественников, заброшенных на их остров по прихоти морской стихии, узнают они о том, что происходит в «большом мире». Удаленные от мира людей феаки зато поддерживают постоянные контакты с миром богов, с которыми они запросто встречаются на своих веселых пиршествах. Алкиной, поведавший об этом Одиссею, замечает: «Боги считают всех нас родными, как диких циклопов, как племя гигантов». Пользуясь особым доверием и расположением небожителей, феаки выполняют функции своеобразных посредников между миром богов и миром людей. На своих волшебных, «облаченных туманной мглою» кораблях, которые сами находят дорогу в

море, не нуждаясь в руле, они развозят по домам заблудившихся путешественников. Так был доставлен ими на родину и Одиссей. Погруженный в глубокий сон герой был вынесен феаками на итакийский берег и, пробудившись, не сразу узнал родной остров. На обратном пути корабль, доставивший Одиссея на Итаку, был обращен Посейдоном в камень. Разгневанный владыка моря (он всячески противился возвращению Одиссея на родину, так как тот ослепил его любимого сына Полифема) посулил феакам и еще более страшную кару, пообещав задвинуть их город высокой горой, с тем чтобы навсегда скрыть его от людских глаз.

Вся эта история невольно вызывает в памяти широко распространенные среди народов земного шара сказки о герое, который случайно попадает в волшебную страну и после ряда чудесных приключений, получив богатые подарки от ее обитателей (чаще всего они изображаются в виде эльфов, гномов или каких-нибудь других подобных им существ), благополучно возвращается к себе домой. Сама волшебная страна, однако, после этого навсегда исчезает, и никто уже больше не может найти туда дорогу. Изображая страну феаков как некое «тридевятое царство», лежащее далеко за пределами человеческой досягаемости, Гомер, конечно, имел в виду не Керкиру, которая ко времени создания «Одиссеи» давно уже перестала быть самой крайней точкой на карте греческого мира (в это время уже возникли первые греческие колонии на Западе — в Италии и Сицилии) и не какой-нибудь другой реально существующий остров, а нечто совсем иное.

Итак, нам не удалось найти кожевника, изготовившего мешок, в котором были заключены ветры, подаренные Одиссею Эолом. Мудрая ирония Эратосфена через столетия напоминает о необходимости величайшей осторожности и осмотрительности в обращении с таким удивительным созданием человеческого гения, каким являются гомеровские поэмы. На протяжении веков бесчисленные критики и комментаторы рассуждали о странствиях Одиссея с картами и циркулем в руках. Унылые рационалисты и прагматики, они мерили Гомера на свой аршин. Готовые признать его великим путешественником, своими глазами видевшим все те места, в которых происходили описанные им события,— от стен Трои до спуска в преисподнюю,— или, на худой конец, великим ученым, черпавшим из книг все необходимые ему сведения, они забывали о том, что он был прежде всего великим поэтом. Созданный могучей силой поэтического воображения мир

странствий Одиссея не укладывается в тесную сетку меридианов и параллелей. Понятия долготы и широты не имеют в этом мире никакого значения. Как заметил в свое время один из крупнейших знатоков Гомера немецкий филолог-классик Альбин Лески, «единственным и подлинным местом действия в истории скитаний Одиссея является сказочная страна чудес, лежащая за пределами известного нам мира».

Перенося своего героя из реального человеческого мира в тридевятое царство волшебной сказки, Гомер прибегает к приему, который с его легкой руки вошел потом в обиход авторов фантастических романов, начиная с Лукиана и кончая Жюлем Верном. Это прием провала памяти, когда герой не знает, где он находится и что с ним происходит. Как мы уже говорили, последней реально существующей точкой на карте скитаний Одиссея может считаться мыс Малея, возле которого его флот был застигнут сильнейшей бурей. Когда буря кончилась, Одиссей и его люди находились уже по ту сторону невидимого барьера, в стране чудес. С помощью такого приема поэт заранее снимает с себя ответственность за все происходящие далее события (читатель может им верить или не верить — это его дело). Одновременно с него снимается и хлопотная обязанность подыскивать для каждого нового эпизода подходящее место на карте, а с другой стороны, возникает увлекательная возможность выдумывания своей собственной сказочной географии.

Единственный ориентир, с которым Гомер сверяет путь своего героя, это край света, то есть та мифическая черта, у которой, согласно представлениям древних, земля сходится с небом. Скитаясь в неведомых морях, вдали от обжитого мира людей, Одиссей все время то приближается к этой черте, то снова удаляется от нее. Однажды ему удается даже переступить через нее и заглянуть на «тот свет» — в царство мертвых. Здесь, на краю света, сходятся, в понимании Гомера, все концы и начала: восток соседствует с западом (остров Кирки и Аид), север — с югом (киммерийцы и лотофаги)[1]. Здесь возмож-

[1] Впрочем, как указывает советский исследователь античной географии Л. А. Ельницкий, первоначально не было никакой определенности в ориентации по сторонам света не только в эпической поэзии, но и вообще в географических представлениях греков, живших в эпоху Великой колонизации: «...если тогдашние греческие мореплаватели, несомненно, умели отличать практически северо-западное направление от северо-восточного, они не могли осмыслить этой разницы теоретически, и людям, плывущим на северо-запад, несомненно, не раз казалось, что они плывут туда же, куда и мореплаватели, поворачивающие на северо-восток».

но самое невероятное, совершенно невозможное в других местах.

На первый взгляд, весь этот причудливый мир абсурда создан как антитеза того привычного человеческого мира, который с такой любовной тщательностью выписан поэтом в реалистических сценах повседневной жизни, локализованных на Итаке. Однако внимательно вчитываясь в текст поэмы, мы обнаруживаем, что оба эти мира до странности схожи между собой. Даже на самых крутых и неожиданных поворотах фантастического сюжета поэмы Гомера не покидает обостренное чувство реальности. Его циклоп, как прилежный поселянин где-нибудь в Беотии или Аттике, запасает овечий сыр в плетеных корзинах и держит простоквашу в ведрах и кринках. Нимфы потоков, прислуживающие Кирке, кипятят воду для омовения и собирают на стол, как рабыни в богатом доме. Солнечные восходы и заходы, созвездия ночного неба, шум прибоя и шелест леса — все это и в стране чудес ничем не отличается от того, что Одиссей мог видеть и слышать на своей родной Итаке.

Для того чтобы изобразить заброшенное на край света сказочное «лукоморье», Гомеру не было надобности самому пускаться в далекие плавания. Все необходимое для работы было здесь, на месте, под рукой. Старинные предания о великанах, многоглавых чудовищах, женщинах-птицах, кораблях-самоходах были знакомы поэту с детства, как и каждому эллину той поры. В общий сказочный контекст поэмы органически вписываются и кое-какие отрывочные сведения, почерпнутые из рассказов бывалых путешественников о чудесах дальних стран. Наивные и сбивчивые, простодушно перемешивавшие правду с вымыслом, эти истории и сами уже мало чем отличались от сказок. Вероятно, именно из этого источника пришли в «Одиссею» неясные слухи о беспредельных морских пространствах, лежащих далеко на западе, о разбросанных по ним пустынных островах, о живущих среди холода и мглы киммерийцах и об обитателях знойного юга, питающихся плодами лотоса. Вся эта пестрая и разнородная масса фольклорного материала была творчески преобразована и упорядочена Гомером с единственной целью — создать захватывающее и возвышающее душу повествование об удивительной жизни «многоопытного мужа». Нет надобности доказывать, что поэт блестяще справился со своей задачей. Свидетельство тому — непреходящая популярность «Одиссеи» среди читателей всего мира. Но мог ли знать создатель бессмертной поэ-

мы, когда бессонными ночами в уединении беседовал со своей музой, что спустя столетия ему придется держать ответ в качестве то ли обвиняемого, то ли свидетеля перед строгим ареопагом ученых-педантов, увидевших в его творении то, чем оно в действительности никогда, конечно, не было,— хитроумно зашифрованную лоцию каких-то морских путей и наперебой задающих один и тот же вопрос: так где же все-таки плавал Одиссей?

«ЗОЛОТОЕ РУНО, ГДЕ ЖЕ ТЫ, ЗОЛОТОЕ РУНО?»

Нас было много на челне;
Иные парус напрягали,
Другие дружно упирали
В глубь мощны весла. В тишине
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчанье правил грузный челн...

А. С. Пушкин

Первооснова сказания о походе аргонавтов за золотым руном принадлежит, по всей видимости, к древнейшему фонду мифологических сюжетов, восходящих если не к микенской эпохе, то, во всяком случае, к сменяющим ее темным векам. Центральные эпизоды мифа и его главные персонажи были хорошо известны уже Гомеру[1], хотя большие эпические поэмы, рассказывающие об этом прославленном плавании, появились то ли одновременно с «Одиссеей», то ли после нее[2]. Как уже было сказано, сами эти поэмы, к сожалению, не сохранились. Их основное содержание известно нам лишь по более или менее пространным пересказам в сочинениях таких поздних авторов, как Аполлоний Родосский, Аполлодор, Диодор Сицилийский, которые, как водится, добавили к первоначальному ядру мифа немало всякой отсебятины.

В самом кратком изложении предыстория и сама

[1] В «Одиссее» корабль «Арго» назван «знаменитым», «всеми воспетым», причем поэт ясно дает понять, что поход аргонавтов относится ко временам более отдаленным, чем скитания главного героя поэмы. В соответствии с этим среди участников похода (их сильно различающиеся между собой перечни дошли до нас лишь в передаче поздних античных авторов) фигурируют в основном лица, принадлежащие к поколению героев, живших еще до Троянской войны.

[2] По ссылкам в позднеантичной литературе, нам известно несколько крупных произведений, в которых разрабатывалась тема похода аргонавтов. Их авторами считались поэты Эвмел Коринфский, Кинефон Лакедемонский, Эпименид Критский, жившие в VIII—VI веках до н. э.

история похода аргонавтов сводятся к следующему. Начало длинной цепи событий, составляющих основную сюжетную канву мифа или, скорее, нескольких связанных между собой мифов, было положено в Беотии (Средняя Греция), где в давние времена жил Атамант, царь легендарного народа миниев, сын Эола и внук Эллина, родоначальника всех эллинских племен. Атаманту удалось завоевать любовь богини облаков Нефелы, которая родила ему двух детей: сына Фрикса и дочь Геллу. После этого царь миниев женился на Ино, дочери прославленного героя Кадма, которая сразу же люто возненавидела детей Нефелы и стала добиваться их гибели. Вызвав при помощи колдовства страшную засуху, Ино объявила царю и народу, что, согласно указанию оракула, от этого бедствия можно спастись только ценой жизни Фрикса и Геллы, которых следует немедленно принести в жертву великому тучегонителю Зевсу. Однако Нефела спасла своих детей от неминуемой гибели, послав им на выручку чудесного златорунного барана. Усевшись на него верхом, брат и сестра взлетели в воздух на глазах изумленной толпы минийцев и вскоре исчезли. Когда беглецы пролетали над морем, направляясь из Европы в Азию, Гелла, не выдержав головокружительной высоты, на миг выпустила из рук густое руно барана и упала в воды пролива, который с тех пор стал носить ее имя, называясь Геллеспонтом. Фрикс же благополучно добрался до лежащей далеко на востоке, на побережье Понта Евксинского (Черного моря) Колхиды, где был радушно принят царем этой страны Ээтом. Здесь он принес в жертву Зевсу златорунного барана и, возмужав, взял в жены одну из дочерей Ээта.

После этих событий прошло много лет. Мифическое повествование снова переносит нас в Грецию, на этот раз в самую северную ее часть — Фессалию, где в городе Иолке среди другой ветви народа миниев правил злой и коварный царь Пелий. Изгнав из страны своего родного брата Нелея, он лишил власти также и другого сводного брата — Эсона. Гонимый Пелием Эсон вынужден был покинуть Иолк и вместе со своим маленьким сыном Ясоном ушел в горы, где в те времена обитали дикие и свирепые коне-люди кентавры. Один из них, мудрый врачеватель Хирон, приютил беглецов в своей пещере и сам занялся воспитанием Ясона. Когда мальчик подрос, он решил вернуться в Иолк и потребовать от царя Пелия возвращения незаконно отнятого у него отцовского наследства. По дороге Ясон встретил дряхлую старуху, которая стоя-

ла на берегу стремительной горной реки, не зная, как ей переправиться на другой берег. Не раздумывая, юноша посадил старуху себе на плечи и перенес через реку. При этом он потерял в потоке одну из сандалий, и дальше ему пришлось идти лишь наполовину обутым. Однако за свой благородный поступок Ясон был щедро вознагражден. Оказалось, что старуха, которую он мимоходом выручил из беды, на самом деле была великой богиней Герой, супругой самого Зевса, и в дальнейшем юный герой пользовался ее неизменным расположением и покровительством.

Когда Ясон наконец достиг Иолка и предстал перед надменным владыкой миниев, тот сразу же понял, что ему грозит большая беда, ибо еще задолго до этого оракул советовал ему остерегаться человека, обутого только на одну ногу. Однако на прямое требование Ясона вернуть ему отцовское наследство и саму царскую власть тот отвечал уклончиво и в конце концов объявил, что сделает это только в том случае, если отважный юноша сумеет доставить ему из далекой Колхиды руно чудесного барана, некогда спасшего маленького Фрикса. Ясон смело принял этот вызов и стал собираться в далекий и опасный путь. Прежде всего он собрал дружину надежных спутников, среди которых оказались чуть ли не все прославленные герои того времени, в том числе величайший из всех Геракл, божественные близнецы Диоскуры, Бореады — крылатые сыновья северного ветра Борея, легендарный певец Орфей, Мелеагр, Тесей, Тидей — отец героя Троянской войны Диомеда — и многие другие. Всего на призыв Ясона откликнулось около пятидесяти героев, что соответствует обычному числу весел на древнейших греческих кораблях — пентеконтерах. Чудесный корабль «Арго», на котором Ясону и его спутникам предстояло совершить свое беспримерное плавание, был построен из самых прочных пород дерева опытным кораблестроителем Аргом (считается, что корабль был назван по его имени), которому помогала в его работе сама богиня Афина — верховная покровительница ремесел.

Местом первой стоянки аргонавтов после их отплытия из Иолка на пути к Понту Евксинскому был остров Лемнос в северной части Эгейского моря. Здесь герои провели около года, наслаждаясь любовью населявших этот остров женщин, которые прославились довольно свирепым нравом: еще до прибытия аргонавтов они перебили своих мужей и какое-то время обходились вообще без мужчин. После этой несколько затянувшейся интермедии

события уже без особых задержек следуют одно за другим. Посещение священного острова Самофракии, неподалеку от входа в Геллеспонт, где участники похода были посвящены в мистерии местных богов Кабиров; досадное недоразумение, приключившееся с аргонавтами в Кизике, на южном побережье Пропонтиды, или Мраморного моря, где ими нечаянно был убит выказавший им поначалу самое дружеское расположение царь Кизик; стоянка в Киосе, также на Пропонтиде, где экипажу «Арго» пришлось неожиданно расстаться с Гераклом — самым доблестным и могучим из всех героев, участвовавших в плавании; стычка с бебриками — обитателями Вифинии (северо-западная часть Малой Азии), поводом к которой послужила победа, одержанная в кулачном бою Полидевком — одним из двух божественных братьев-близнецов Диоскуров — над местным царьком Амиком. Таковы основные приключения аргонавтов на пути к Понту Евксинскому. Несколько странным в этой части истории похода кажется то, что отважные мореплаватели без особых затруднений, не встречая на своем пути никаких серьезных преград, минуют два длинных пролива, связывающих Эгейское море с Черным: Геллеспонт и Боспор (совр. Босфор), хотя даже и в гораздо более поздние времена этот путь, особенно путь через Боспор с его сильными встречными течениями, считался достаточно трудным и требовал большого искусства от кормчих.

Два важных эпизода похода локализуются Аполлонием и другими нашими источниками уже в пределах Понта, то есть после того как аргонавты прошли через Боспор. Первый из них — посещение Салмидесса на западном фракийском побережье Понта. Здесь герои избавили старого слепого царя Финея от досаждавших ему гарпий — чудовищных тварей с птичьим туловищем и крыльями и с женскими головами, а тот в благодарность за эту услугу предсказал аргонавтам все, что с ними случится на их дальнейшем пути, а также объяснил, как смогут они миновать самую грозную из подстерегавших их опасностей — плавучие скалы Симплегады, между которыми до того времени не удалось пройти еще ни одному кораблю. Следуя совету Финея, экипаж «Арго» благополучно проплыл между непрерывно сходящимися и расходящимися громадами Симплегад, после чего обе скалы навеки застыли на своих местах. Древние полагали, что это страшное место должно находиться где-то у самого входа в Понт, как бы воплощая в себе все беды и опасности, ожидавшие смельчаков, пытавшихся прони-

кнуть в этот обширный, замкнутый со всех сторон водный бассейн.

Некоторые современные авторы видят в этом порождении сказочного вымысла результат своеобразного оптического обмана: берега Боспора, если смотреть на них с большого расстояния, после того как корабль уже миновал пролив, как бы смыкаются вслед за ним и, наоборот, расступаются при его приближении. Но в этом случае трудно объяснить, каким образом «Арго» мог попасть в Салмидесс — царство Финея, расположенное на довольно большом удалении от северного входа в Боспор, еще до своей встречи с Симплегадами. Вообще и у Аполлония, и у других авторов, повествующих о плавании за золотым руном, в этой части рассказа чувствуется явная географическая неувязка. Посещение Салмидесса как будто свидетельствует о намерении аргонавтов плыть к своей конечной цели вдоль западного, а затем северного побережья Понта. Однако вскоре выясняется, что ими был избран другой, более короткий путь вдоль южного берега, так как из наших основных источников мы узнаем о посещении ими страны мариандинов, расположенной в Малой Азии, к востоку от Вифинии.

Дальнейшее плавание «Арго» на восток на удивление бедно событиями[1]. Единственный достойный упоминания эпизод на всем пути до прибытия аргонавтов в Колхиду — это встреча героев с сыновьями Фрикса[2] на так называемом острове Ареса (местоположение неизвестно), где, как оказалось, поселились остатки некогда перебитых Гераклом в Аркадии грозных стимфальских птиц с их поражающими человека насмерть железными перьями (от этой напасти аргонавты избавились без большого труда: они просто разогнали зловещую стаю, напугав птиц ударами мечей и копий о щиты).

Конечная цель плавания «Арго» — царство грозного царя Ээта, завладевшего некогда золотым руном, которое теперь аргонавты должны были у него каким-то образом похитить, отождествляется в большинстве дошедших до нас версий мифического повествования с Колхидой, страной, расположенной на восточном побережье Понта, что

---

[1] Возможно, это свидетельствует о том, что первоначально цель похода аргонавтов находилась гораздо ближе к Греции, может быть где-то на фракийском или малоазиатском побережье Понта, и им не нужно было переплывать это огромное водное пространство.

[2] Сам Фрикс к тому времени уже умер. Его сыновья попытались вернуться на родину своего отца, но по дороге потерпели кораблекрушение и были спасены Ясоном и его товарищами.

приблизительно соответствует нынешней Западной Грузии. Существует, правда, и другой, судя по всему теснее связанный с первоосновой мифа, вариант локализации царства Ээта. Но к нему мы вернемся несколько позже. Царь Ээт, как нетрудно догадаться, вовсе не был расположен добровольно отдать неведомо откуда взявшимся чужеземцам самое дорогое из своих сокровищ. Чтобы добыть золотое руно, Ясону пришлось выполнить две нелегкие задачи, которые поставил перед ним коварный повелитель колхов[1]. Сначала он вывел из стойла и запряг в плуг двух медноногих изрыгающих пламя быков, подаренных Ээту самим Гефестом, богом кузнечного ремесла, затем вспахал с помощью этих внушающих ужас животных поле, засеяв его зубами дракона, которые вручил ему Ээт, а когда из засеянных им борозд вдруг начали один за другим подыматься свирепые воины исполинского роста, с ног до головы закованные в бронзу, герой и тут не потерял присутствия духа и с размаху бросил в толпу «сынов дракона» огромный камень. Этот камень вызвал среди рожденных землей воителей кровавую сечу, из которой никто из них не ушел живым. Правда, оба эти подвига были совершены Ясоном с помощью полюбившей его дочери Ээта волшебницы Медеи. Она снабдила его чудесным снадобьем, сделавшим его тело неуязвимым для ударов мечей и копий и даже для огня, изрыгаемого медноногими быками, и научила, как избежать опасности в стычке с гигантами, выросшими из зубов дракона. После этого Медея помогла своему возлюбленному похитить золотое руно, хранившееся в священной роще под бдительным надзором огромного дракона, не смыкавшего глаз ни днем ни ночью. Усыпленное волшебницей чудовище было убито Ясоном, который снял с дерева свою драгоценную добычу и вместе с Медеей и всеми своими спутниками наконец покинул негостеприимный берег Колхиды. В это время царь Ээт и его слуги, выпившие слишком много вина за вечерней трапезой, непробудно спали, в погоню за похитителями они пустились лишь на следующий день, когда тех и след простыл.

Обратный путь аргонавтов на родину оказался и самой длительной, и самой тяжелой частью путешествия. Вместо того чтобы вернуться в Грецию тем же самым путем, по которому они прибыли в Колхиду, то есть вдоль

[1] Колхи — народ, населявший в древности восточное побережье Черного моря, главным образом область, лежащую вдоль нижнего течения реки Фасиса (совр. Риони). Считаются отдаленными предками грузин.

южного берега Понта, затем через коридор проливов снова в Эгейское море, Ясон и его спутники избрали абсолютно немыслимый с точки зрения современной географии обходной маршрут, следуя по которому, они вынуждены были долго скитаться по самым дальним окраинам тогдашней ойкумены, претерпели на своем пути немало всевозможных злоключений и в итоге вернулись в свою родную Эгеиду совсем с другой стороны — не с северо-востока, куда лежал их первоначальный путь, а с юга или с юго-запада[1]. Добавим к этому, что мнения античных писателей о том, где именно пролегал обратный путь экипажа «Арго», довольно сильно между собой расходятся. По одной версии, возможно наиболее древней (во всяком случае, мы находим ее еще у жившего в VI—V веках до н. э. историка и географа Гекатея Милетского), аргонавты, поднявшись вверх по реке Фасису[2], достигли великой реки Океана, опоясывающей, как это было известно уже Гомеру, весь земной диск, проплыв по ней какое-то, вероятно очень большое, расстояние, оказались на далеком юге — в Ливии — так древние называли известную им часть Африки — и после двенадцатидневного перехода через Ливийскую пустыню, во время которого герои, не зная отдыха, несли на плечах свой собственный корабль, они наконец вышли к так называемому Тритонову озеру[3], где вновь спустили «Арго» на воду, и, проплыв в Средиземное море, вернулись в Грецию со стороны,

[1] В древности существовало мнение, согласно которому, причиной изменения маршрута аргонавтов на обратном пути была воля богини Геры. Но это явно искусственное объяснение. С самого начала похода Ясон и его товарищи пользовались безусловной симпатией и поддержкой супруги Зевса. Что могло заставить ее так резко изменить свое отношение к отважным мореплавателям и обречь их на долгие и опасные блуждания по дальним неведомым морям и землям? На этот вопрос мы нигде не находим ответа. Более правдоподобным кажется поэтому другое объяснение: аргонавты вызвали против себя гнев богов, так как запятнали себя страшным убийством. Чтобы спастись от преследующего их флота Ээта, Медея убила своего брата — царевича Апсирта, которого она «на всякий случай» захватила с собой в момент бегства из отцовского дома, и, разрубив его тело на части, разбросала их вдоль пути корабля. Чтобы собрать останки своего сына и предать их достойному погребению, Ээт вынужден был остановиться и прекратить преследование.

[2] Вероятно, Фасис в те времена представлялся чем-то вроде канала, соединяющего Черное море с Каспийским. В Каспийском море многие античные географы видели не замкнутый водный бассейн, каким оно известно нам теперь, а один из заливов Океана, чем и объясняется возможность совершенно невероятного, с современной точки зрения, плавания аргонавтов в восточном направлении.

[3] Тритоновым озером некогда назывался залив Большой Сирт (совр. Сидра) у ливийского побережья Северной Африки.

прямо противоположной первоначальному направлению их похода.

Согласно другой, более поздней версии мифа (ее в основном придерживается в своей «Аргонавтике» Аполлоний Родосский), аргонавты пересекли Понт по диагонали, проплыв от побережья Малой Азии, вошли в устье Истра (Дуная) и далее, двигаясь вверх по течению этой большой реки, достигли места, где она, по представлениям древних географов, разделялась на два протока, один из которых (восточный) впадал в Черное море, а другой (западный) — в Адриатическое. Проплыв по второму протоку, экипаж «Арго» проник в воды Адриатики, но потом, когда берега Греции были уже совсем близки, измученным героям пришлось снова вернуться на север[1], войти в устье реки Эридан (древнее название По), оттуда в Родан (Рону)[2] и уже по этой реке спуститься в Средиземное море. Далее описываются долгие блуждания аргонавтов по неведомым водам дальнего запада. Рассказ Аполлония здесь во многом повторяет гомеровское повествование о странствиях Одиссея, влияние которого наверняка испытал на себе автор «Аргонавтики». Повторяется, хотя и с некоторыми вариациями и отклонениями от первоисточника, уже знакомый нам по «Одиссее» набор чудесных приключений. Аргонавты посещают Кирку[3], которая обходится с ними более милостиво, чем со спутниками Одиссея (может быть, помня о том, что Медея приходится ей племянницей): вместо того чтобы превратить героев в свиней, она совершает над ними, как это и было им предсказано, обряд очищения по общепринятому в древности обычаю (окропляет их кровью только что зарезанного поросенка). После этого «Арго» еще раз благополучно проплывает между блуждающими скалами (на этот раз они названы Планктами) — эпизод, явно дублирующий встречу с Симплегадами в начале похода,— минует пролив Скиллы и Харибды, затем остров Сирен, манящее пение которых заглушает своим пением и игрой на

[1] Аполлоиий объясияет это иеожидаииое измеиеиие маршрута тем, что аргоиавты вызвали гиев Зевса, измеииически убив Апсирта — сыиа Ээта, который преследовал их по велеиию своего отца. Теперь Ясои и его спутиики должиы были очиститься от совершеииого ими убийства в доме волшебиицы Кирки.

[2] В представлеиии Аполлоиия, Эридаи был восточиым рукавом Родаиа, тогда как другой его рукав, видимо соответствующий Рейиу, устремлялся иа север и там впадал в Океаи.

[3] По Аполлоиию, жилище Кирки иаходится уже ие иа острове Ээя, как это было у Гомера, а иа тирреиском, то есть этрусском, побережье Авзоиии (Италии).

лире прославленный певец Орфей, весьма кстати оказавшийся среди участников похода, и без всяких приключений проходит мимо цветущих берегов острова Тринакрия, на которых пасутся священные стада бога Гелиоса. Далее следует курьезное происшествие на острове феаков, где аргонавтов настигает все время неотступно следующий за ними отряд колхов, посланный в погоню царем Ээтом. Колхи требуют выдачи Медеи. Тогда царь феаков Алкиной по совету своей супруги, мудрой царицы Ареты, принимает соломоново решение: Медея будет возвращена своему отцу, если она все еще девственница; если же она уже стала женой или хотя бы возлюбленной похитившего ее Ясона, то о возвращении не может быть и речи. По совету все той же хитроумной Ареты Ясон и Медея скоропалительно сочетаются узами брака и проводят свою первую брачную ночь в некой пещере, после чего одураченным колхам не оставалось ничего другого, кроме как просить у Алкиноя разрешения поселиться на его острове, так как предстать пред грозные очи своего повелителя, так и не выполнив его поручения, они не решились.

Рассказав об этих событиях, Аполлоний снова возвращается к более древней версии мифа, известной уже Гесиоду и Пиндару, и аргонавты, во второй раз почти достигшие родных берегов, вдруг оказываются заброшенными в Ливийское море, то есть к побережью Северной Африки, долго странствуют по пустыне, подняв на плечи свой корабль вместе с восседающей на нем Медеей, посещают сады Гесперид, где незадолго перед тем успел побывать Геракл, и, наконец, попадают в Тритоново озеро, откуда с помощью местного бога Тритона находят путь в открытое море. Только после всего этого «Арго», наконец, возвращается в родные воды Эгейского моря. Последняя серьезная опасность подстерегает героев на побережье Крита, где их встречает грозный страж острова — бронзовый гигант Талос. Аргонавтам удается одолеть его с помощью чар волшебницы Медеи (здесь она впервые за все время, истекшее с момента их отплытия из Колхиды, пускает в ход свое искусство), после чего они уже беспрепятственно достигают исходного пункта своего путешествия — Иолка.

У некоторых других античных авторов, живших уже после Аполлония, мы находим еще более фантастические описания знаменитого плавания. Так, Диодор Сицилийский, историк времен Юлия Цезаря и Августа, заставляет аргонавтов проделать совершенно немыслимый путь.

Проплыв через Азовское море и Дон, они затем перетаскивают свое судно в Волгу, спускаются по ней в Каспийское море, откуда попадают в Океан (Диодор все еще считает Каспий одним из «океанических заливов», хотя это древнее заблуждение было впервые развеяно еще Геродотом) и, обогнув весь Европейский континент, приплывают в Гадес, расположенный на атлантическом побережье Испании, неподалеку от входа в Средиземное море, и только после этого возвращаются в Грецию[1]. В еще более поздней так называемой «Орфической Аргонавтике» — сочинении неизвестного автора, жившего примерно в I—II веках н. э.,— участники похода за золотым руном сначала плывут вверх по Фасису, затем неведомо как оказываются в Индии, оттуда, опять-таки непонятно, каким путем, возвращаются в Черное море, далее, проплыв Боспор Киммерийский (Керченский пролив), Меотиду (Азовское море) и Танаис (Дон), через какое-то ущелье в Рипейских (Уральских) горах проникают в Северный океан и, обогнув Иернские острова (Ирландию), снова, как и у Диодора, через Геракловы столпы попадают в Средиземное море.

Все эти варианты описания обратного плавания аргонавтов интересны как свидетельства постепенного расширения географического кругозора античных писателей и ученых. Мы видим, как в каждом из них появляются какие-то новые детали, иногда фантастические и нелепые вроде двух рукавов Дуная — Истра и трех рукавов Роны — Родана, в версии Аполлония, но все же свидетельствующие о напряженных поисках древних географов и освоении ими неизвестных ранее частей ойкумены. Совершенно очевидно, что все эти версии, за исключением, может быть, самой ранней из них — версии Пиндара и Гекатея Милетского,— представляют собой лишь позднейшие и явно искусственные добавления к первоначальному ядру мифа. Об этом свидетельствует явная диспропорция между первой и второй частями эпопеи хотя бы у того же Аполлония. Обратный путь аргонавтов намного богаче всевозможными приключениями, чем их плавание в Колхиду, причем по большей части эти приключения либо просто повторяют происшествия, уже описанные ранее (таков явный дублет Симплегады — Планкты), либо представляют собой вариации на темы гомеровской «Одиссеи».

[1] Эта версия маршрута обратного плавания аргонавтов возникла задолго до Диодора. Сам он ставит на первое место среди своих источников сицилийского историка Тимея из Тавромения, жившего в IV—III веках до н. э.

Как бы мы ни оценивали соотношение сравнительно ранних и сравнительно поздних элементов в мифе о походе аргонавтов, не вызывает сомнений исключительная насыщенность его сюжета типичными «бродячими» мотивами, широко представленными в мировом фольклоре. Таков, например, драматический пролог мифического повествования — история чудесного спасения Фрикса и Геллы от грозящей им гибели. Здесь как бы причудливо сплетаются друг с другом два популярных мотива: замена человека, чаще всего юноши или девушки, обреченного стать жертвой богам, появляющимся в последний момент животным (вспомним хотя бы историю дочери Агамемнона Ифигении или же библейский рассказ об Исааке, сыне Авраама), и спасение двух бедных сироток от преследования злой мачехи с помощью чудесного барашка или козленка нередко с золотыми рожками или золотой шерстью. Такова же и непосредственная завязка истории похода. Коварный дядя, лишивший своего племянника причитающегося ему отцовского наследства, отправляет его на верную гибель в страну, из которой, как это всем известно, нет возврата, но потом, как водится, обманывается в своих ожиданиях и погибает. Сама история похода за золотым руном также сконструирована из ряда стандартных блоков, хорошо известных каждому, кто читал, например, русские народные сказки в собрании Афанасьева. Здесь и сбор дружины спутников — помощников[1] главного героя, и опасности, подстерегающие их на каждом шагу, и три заведомо невыполнимые задачи, которые герою-предводителю все же удается вы-

[1] В дошедших до нас поздних версиях сказания состав экипажа «Арго» носит явно случайный характер. В него включены, видимо, из престижных соображений, чтобы подчеркнуть важность и масштабность задуманного Ясоном предприятия, чуть ли не все самые популярные греческие герои старшего поколения, жившего еще до Троянской войны Лишь некоторые из них проявляют себя во время похода, да и то лишь в отдельных его эпизодах, как бы специально введенных в повествование, чтобы дать возможность тому или иному герою продемонстрировать свою доблесть, силу или какие-нибудь другие замечательные качества. Примерами могут служить сцены кулачного поединка одного из братьев Диоскуров, Полидевка, с царем Амиком, расправы, учиненной братьями Бореадами, Зетом и Калаидом, над гарпиями, досаждавшими слепому Финею, состязания в пении между Орфеем и сиренами и т. п. В первоначальной версии мифа отбор Ясоном его спутников проводился, по-видимому, более целенаправленно, скорее всего в расчете на их помощь в преодолении каких-то конкретных преград, подстерегавших главного героя на пути в царство Ээта. Такими персонажами могут считаться, например, обладавший необычайно острым зрением кормчий Линкей или другой герой, Евфем, который бегал так быстро, что мог пробежать по морским волнам, не замочив ступней.

полнить с помощью влюбленной в него дочери злого царя — обладателя (или, может быть, похитителя) сокровища, ради которого был предпринят поход, и бегство героев вместе с похищенным сокровищем, и их чудесное спасение от погони.

Такое изобилие типичных фольклорных мотивов, казалось бы, должно было сразу же заставить ученых отказаться от поисков исторической основы сказания о плавании аргонавтов в Колхиду. Тем не менее попытки найти такую основу предпринимались неоднократно.

Современных исследователей подталкивает на этот опасный путь прежде всего мысль о том, что основные события прославленного похода происходят не где-то в сказочном «тридевятом царстве», а в местах хотя и сильно удаленных от берегов Греции, но все же в большинстве своем хорошо известных античным мореплавателям, в географической реальности которых нет никаких оснований сомневаться также и в наше время. Несмотря на некоторые географические курьезы, встречающиеся у Аполлония Родосского и других греческих поэтов и прозаиков, повествующих о главных перипетиях похода, в основной своей части описываемые ими чудесные происшествия более или менее точно размещены на карте древней ойкумены и, что особенно важно, у большинства из них точно определена главная цель похода — местность на восточном побережье Черного моря, именовавшаяся в древности Колхидой. Здесь не приходится, как в «Одиссее», гадать, где, в каком месте находилась, скажем, пещера Полифема или гавань лестригонов. Между тем в наше время, так же как и в древности, довольно широко распространено заблуждение, состоящее в том, что от географической точности один только шаг до точности исторической. Правда, если бы дело действительно обстояло таким образом, мы должны были бы признать подлинными историческими фактами, например, большую часть подвигов Геракла, тесно связанных с различными пунктами на карте Греции, реальность которых не вызывает никаких сомнений. Об историческом правдоподобии Троянской войны, тоже довольно точно локализованной древними в северо-западной части Малой Азии, приключений Тесея и Дедала на Крите уже говорилось выше.

Тем не менее еще и сейчас найдется немало людей как среди специалистов-историков, так и среди непрофессионалов, интересующихся загадками далекого прошлого, которые твердо убеждены в том, что толчком к созданию

мифа о плавании аргонавтов послужили действительно происходившие во II тысячелетии до н. э. события, важнейшими из которых могут считаться проникновение греческих (микенских) мореплавателей в воды Черного моря и открытие ими Колхиды. Исключительное богатство страны золотом, подтвержденное многочисленными находками на территории западной Грузии изделий из этого металла, нашло свое символическое воплощение в предании о чудесном золотом руне, ради которого Ясон и его спутники предприняли свое далекое и опасное путешествие через весь Понт Евксинский. По вполне понятным причинам эта идея всегда вызывала особый энтузиазм у грузинских ученых, да и не только ученых, если судить хотя бы по распространенности в пределах этой закавказской республики таких имен, как Ясон и Медея.

Однако подлинным триумфом для всех тех, кто верил в историческую реальность похода аргонавтов как в самой Грузии, так и за ее пределами, стали события, разыгравшиеся летом 1984 года, когда в устье реки Риони, или древнего Фасиса, снова вошел корабль, носивший гордое имя «Арго» и приплывший сюда прямо из Греции, из того же самого Иолка (совр. Воло), откуда отправился в путь настоящий «Арго». На этот раз на борту корабля, построенного в точном соответствии с самыми древними из всех известных в настоящее время описаний греческих кораблей в искусстве и литературе, находился интернациональный экипаж, состоявший из энтузиастов и просто любителей приключений, собранных отовсюду его капитаном англичанином Тимом Северином. Цель Северина, когда он задумал это путешествие и с большой настойчивостью и энергией добивался реализации своего плана, в сущности, не отличалась от тех целей, которые ставил перед собой знаменитый норвежский исследователь Тур Хейердал, совершая прославленные плавания на плоту «Кон-Тики» через Тихий океан и на тростниковом судне «Ра» через Атлантику. Как об этом неоднократно сообщалось в печати и по радио, английский мореплаватель Северин хотел во что бы то ни стало доказать самому себе и всему миру принципиальную возможность достижения греками Колхиды еще во II тысячелетии до н. э., или в эпоху бронзы.

В этой широко разрекламированной затее с самого начала была заключена одна хорошо различимая для каждого непредубежденного наблюдателя несообразность. Северину и его единомышленникам, право же, не стоило утруждать себя и строить корабль, якобы воспро-

изводящий во всех деталях суда микенской эпохи (как они были устроены на самом деле, мы представляем себе весьма приблизительно ввиду отсутствия надежных источников) и затем идти на веслах от порта Воло до Поти. Если бы вся проблема сводилась только к чисто техническим трудностям, то решить ее было бы весьма просто. Мы не располагаем никакими данными, с помощью которых можно было бы доказать, что греческое кораблестроение I тысячелетия до н. э. существенно отличалось от кораблестроения крито-микенской эпохи. Судя по всему, и принципы оснастки судов, и правила кораблевождения за это время изменились очень мало. Поэтому мы вправе предположить, что если греки сумели проникнуть в Черное море примерно в VIII—VII веках до н. э., когда началась колонизация побережий этого замкнутого водного бассейна, то как будто ничто не мешало им сделать то же самое на несколько столетий раньше, допустим в XV или XIV веке до н. э.

Но в том-то и дело, что проблема, стоявшая перед Северином, никак не может быть сведена к решению чисто технических вопросов — как построить корабль, дублирующий корабли бронзового века, и проплыть на нем из Эгейского моря в Черное. В конце концов, при более или менее благоприятных погодных условиях совершить такое плавание можно было на чем угодно. Ведь пустился же в гораздо более опасный путь через океан отважный доктор Аллен Бомбар на утлой резиновой лодке в полном одиночестве и даже без запаса продовольствия. Если расценивать путешествия Северина, а до него Хейердала и некоторых других смельчаков, добровольно поставивших себя в те же условия, в которых находились древние мореплаватели, как своеобразные научные эксперименты, то, как это ни прискорбно, но придется признать, что они были поставлены, как выражаются в таких случаях физики, не вполне корректно. Дело в том, что не был учтен чрезвычайно важный психологический фактор, а именно отсутствие ясного представления о местоположении конечной цели путешествия и ведущем к ней пути и вытекающее отсюда чувство страха, сознание своей беспомощности перед грозными силами природы, которые всегда действовали в истории древнего и средневекового мореплавания как сдерживающее начало, тормозившее освоение человеком отдаленных уголков нашей планеты. Экипажи Хейердала и Северина по крайней мере точно знали, что их может ожидать в пути, даже если они и не пользовались современными навигаци-

онными приборами. Они знали также, что за их продвижением следит весь мир, и в случае катастрофы могли рассчитывать на помощь какого-нибудь случайно оказавшегося на их пути судна или самолета. Им не приходилось опасаться встречи ни с движущимися скалами, ни со сказочными чудищами и великанами, которыми воображение древних людей населяло морские пути, ведущие на восток или на запад, пока они не были надежно освоены многими поколениями мореплавателей.

Иначе говоря, Северин точно так же, как и до него Хейердал, ровным счетом ничего не доказал своим дерзким предприятием и лишь добавил еще одну сенсацию ко многим другим курьезным происшествиям, о которых писали летом 1984 года газеты всего мира. Тем не менее в Грузии английский мореплаватель и его спутники были встречены как настоящие герои — новые аргонавты. Энтузиасты из числа местных жителей чуть ли не на руках протащили их корабль вверх по течению мелководного Риони, пока новый «Арго» не сел окончательно на мель. Великолепная встреча, устроенная с подлинно грузинским размахом и эмоциональным подъемом, ждала путешественников в небольшом городке Вани (согласно предположениям археологов, здесь находился один из крупных культурных центров древней Колхиды). Здесь Северина и его друзей взял под свою опеку сам Отар Лордкипанидзе — виднейший грузинский археолог, руководитель Центра археологических исследований АН ГССР. Вместе с ним Северин совершил несколько поездок по Грузии, побывал даже в высокогорной Сванетии (обо всем этом он сам подробно рассказал в одном из отрывков своей книги, опубликованном в журнале «Вокруг света»). Во время путешествия по Грузии у Северина, как говорится, «окончательно открылись глаза», не без дружеской помощи того же Лордкипанидзе и его коллег, и все основные перипетии мифического рассказа о пребывании аргонавтов в Колхиде получили наконец ясное и недвусмысленное историческое объяснение.

Наиболее важные из сделанных им открытий заключались в следующем. Прежде всего, как стало известно Северину, в самом Вани и его ближайших окрестностях было найдено множество древних ювелирных изделий из золота, что подтверждало сообщение античных авторов о том, что Колхида была исключительно богата желтым металлом, причем, что особенно важно, золото это было не привозное, а местное — его добывали в самой Колхиде, скорее всего, как это делалось и в других местах, про-

мывая песок в горных золотоносных реках. Обилие золота, как в общем справедливо заключает Северин, могло стать той почвой, на которой уже в очень раннюю пору возникли представления о стране колхов как земле, где хранятся сказочные сокровища, и в том числе ценнейшее из них — золотое руно. Но почему самым ценным из сокровищ царя Колхиды и соответственно главным объектом вожделений греческих героев, совершивших поход в эту далекую страну, стала именно золотая баранья шкура, а не что-нибудь иное? Северин нашел ответ и на этот вопрос. Во-первых, он узнал о том, что в древности в Западной Грузии, и в частности на территории Сванетии, которая, судя по всему, была главным источником золота колхов, существовал восходящий еще к эпохе бронзы культ барана. Об этом свидетельствуют и археологические находки, например закрученные спиралью бараньи рога, датируемые серединой II тысячелетия до н. э., более поздние бронзовые фигурки баранов, найденные в древних сванских могилах, золотые браслеты, украшенные бараньими головами, а также произведения местного фольклора, например сванская сказка, в которой фигурирует золотой баран, охраняющий спрятанное в горной пещере сокровище. Во-вторых, в Сванетии еще в сравнительно недавнее время применялась своеобразная техника добычи золота с помощью бараньих шкур, прибитых к деревянным доскам. Сванские старатели (Северину удалось встретиться и побеседовать с некоторыми из них) опускали это нехитрое приспособление в воду горных речек и ручьев. Крупицы золота, более тяжелые, чем частицы ила или песка, понемногу оседали на шкуре, застревая в ее шерстинках. В результате этого процесса, если верить преданиям, сохранившимся среди населения Сванетии, у особенно удачливых старателей обыкновенная баранья шкура иногда превращалась в настоящее золотое руно, переливавшееся и сверкавшее на солнце. Итак, заключает Северин свой действительно интересный рассказ, «каждой детали легенды нашлось археологическое подтверждение. То, что казалось нам стародавней басней в самом начале «Путешествия Ясона», вдруг обрело реальность в Грузии за 1500 миль от точки старта в Иолке (Волосе)».

Если бы английский мореплаватель внимательно прочел относящиеся к Колхиде разделы «Географии» великого античного географа Страбона (а ему не помешало бы ознакомиться с этим важным источником, прежде чем отправляться в плавание), то он, вероятно, с удивлением

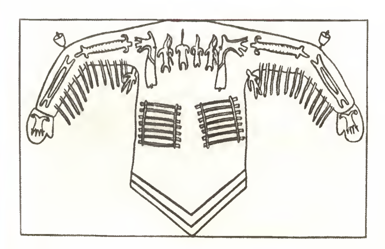
обнаружил бы, что использованные им приемы дешифровки мифических иносказаний были хорошо известны уже в далекой древности. Среди населявших Колхиду народностей Страбон особо выделяет могущественное племя соанов (сванов), которое занимало вершины Кавказа, возвышающиеся над Диоскуриадой (греческий город на побережье Черного моря). По его словам, жители страны соанов добывают золото в горных потоках, «ловя его решетами и косматыми шкурами». «Отсюда, говорят, и возник миф о золотом руне»,— заключает Страбон свой краткий экскурс. Конечно, слухи о колхидском золоте могли сыграть известную роль в формировании мифа о походе аргонавтов и в конце концов привели к тому, что его центральные эпизоды были локализованы именно в этой стране. В нашем распоряжении имеются, однако, факты, которые можно расценивать как прямое указание на то, что в своей первоначальной форме миф не был связан с Колхидой и само царство Ээта как конечная цель плавания аргонавтов еще не занимало какого-то точно определенного места на карте тогдашнего Древнего мира.

Дело в том, что во многих источниках по истории знаменитого похода, в том числе и в наиболее ранних, страна, в которую направляет свой путь экипаж «Арго», называется не Колхида, а Эя. Иногда оба эти названия чередуются друг с другом или даже ставятся рядом как взаимодополняющие понятия. Так, у Геродота мы встречаем выражение, которое можно понять как «Эя, которая в Колхиде», или просто «Эя Колхидская». Более поздние греческие авторы, чтобы найти какой-то выход из этого затруднительного положения, сочли за лучшее разграничить эти понятия, признав Колхиду страной, подвластной царю Ээту, а Эю — городом, столицей Колхиды. Именно так поступил, например, наш старый знакомый Аполлоний Родосский. Однако в действительности задача не решается так просто, как этого хотелось бы Аполлонию.

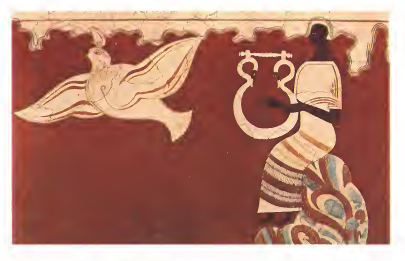
В древнейшем из всех известных нам теперь вариантов греческого литературного языка — так называемом гомеровском диалекте — слово «Эя» (букв.— Айа) имеет определенный смысл. Оно используется здесь в значении «земля», «страна» (например, «ахейская земля», «фракийская земля»), заменяя более употребительный вариант того же слова — «гайа». Очевидно, и в древнейших из дошедших до нас версий мифа об аргонавтах название Эя мыслилось именно как название страны или земли, а

Крылатый сапог из микенского погребения (Аттика)

Ритуальное одеяние селькупского шамана



7 Зак № 192



Певец с лирой (фреска из дворца в Пилосе)

Троянский конь (рельеф на пифосе с острова Миконос)

Стены Трои VI



Один из домов Трои VIIa





Типы «народов моря» (изображения на стене храма в Мединет Абу. Египет)



Ворота цитадели Хаттусы

Голова Одиссея (фрагмент мраморной статуи)



Ослепление Полифема (рисунок на вазе)

Одиссей и сирены (рисунок на вазе)

Одиссей, спасающийся из пещеры Полифема (рисунок на вазе)





Сцена кораблекрушения (рисунок на вазе)

Одиссей и Борей (рисунок на вазе)

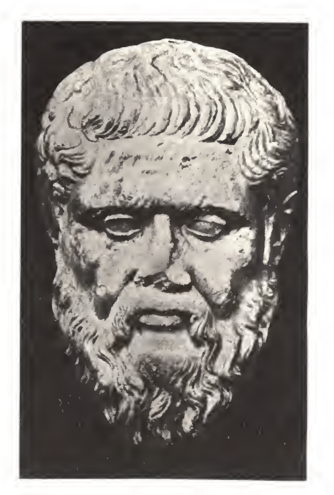




Золотые украшения из древней Колхиды (первая половина II тысячелетия до н. э.)

← Постройка «Арго» (римский рельеф)

Ясон, проглоченный драконом (рисунок на вазе Дуриса)



Платон (мраморный бюст)



Бухта Санторина



Раскопки в Акротири

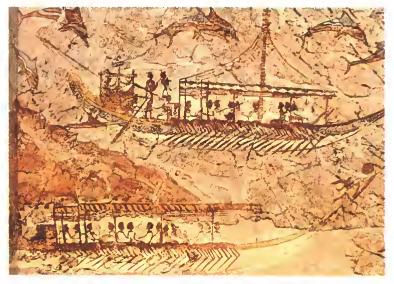




Боксирующие мальчики.
Фреска из дома в Акротири



Сцена кораблекрушения и высадки на берег. Фреска из дома в Акротири



Плывущая эскадра. Фреска из дома в Акротири

Атлант и Прометей (рисунок на вазе)

отнюдь не как название города. Правда, нельзя не признать, что, взятое само по себе, это название кажется довольно странным. Получается, как говорится, масло масляное, или, выражаясь научно, тавтология — «земля или страна, именуемая просто Землей». Трудно себе представить, чтобы страна с таким необычным названием могла существовать на карте известной грекам ойкумены даже и в самые отдаленные времена. Зато в мире сказки или мифа этой «просто Земле» или «вообще Земле» вполне могло найтись подходящее место. Ведь мифические герои, пустившиеся в далекое морское плавание без карт и без компаса и много дней подряд не видевшие ни вблизи, ни вдали никакой суши, за исключением разве что грозивших им гибелью блуждающих скал, только так и могли представлять себе конечную цель путешествия. Для них это была никому не ведомая и неизвестно где расположенная «просто Земля». Ее подлинное название они могли не знать, или же в силу каких-то причин, даже если оно было известно, его запрещено было произносить вслух. Едва ли случайно также и то, что правитель страны Земля носит имя, образованное от того же корня, что и слова «Айа», «Ээт» (букв.— Айэтос), что можно понять как «Человек из страны Земля» или же просто «Тот, кто живет в стране Земля».

Ситуация еще более проясняется, если вспомнить, что кроме страны Эя нам известен еще и сказочный остров Ээя (букв.— Айайэ) — таинственная обитель волшебницы Кирки, сыгравшей злую шутку со спутниками Одиссея. Скорее всего, перед нами одно и то же название в двух разных вариантах (во втором, гомеровском, первый слог подвергся удвоению). Как мы уже знаем, древние считали Кирку дочерью солнечного бога Гелиоса и родной сестрой коварного царя Ээта, а стало быть, также и тетушкой Медеи, с которой она, кстати, имеет немало общего. Обе пользовались репутацией опытных колдуний, не знающих себе равных в искусстве магии и волхвования.

Логично было бы предположить, что первоначально все это зловещее семейство обитало где-то в одном месте и называлось оно страной или островом Эя. Однако потом, как это нередко бывает в мифологической традиции с появлением новых сюжетных линий, пути брата и сестры далеко разошлись.

Кирка вместе со своим островом оказалась заброшенной на дальний (конечно, в восприятии греков) запад Средиземноморья. Ээт и подвластная ему страна Эя,

8 Зак. № 192

наоборот, остались на дальнем востоке[1]. Педантичный Аполлоний, уже осведомленный о том, что жилище Кирки находилось очень далеко от Эи Колхидской, на побережье Тирренского моря, находит нужным объяснить читателю, что волшебница была перенесена в эти края своим божественным отцом Гелиосом.

А вот как описывает царство Ээта греческий поэт-лирик VII века до н. э. Мимнерм. До нас дошли два небольших отрывка из его поэмы «Нанно» (между прочим, это один из самых ранних источников, что-либо сообщающих о походе аргонавтов). В одном из отрывков сказано буквально следующее: «И никогда бы сам Язон не увез из Эи великого Руна по совершении горестного пути, исполнив тяжкий подвиг для надменного Пелия, и не прибыли бы они к прекрасному потоку Океана... город Ээта, где лежат лучи быстрого Гелиоса в золотом чертоге у берега Океана, куда удалился божественный Язон». В этих строках сразу же обращает на себя внимание близкое сходство страны Ээта с островом Кирки в «Одиссее». Напомним, что гомеровская Ээя — место, откуда рано утром встает над миром бог солнца Гелиос. В соответствии с этим здесь расположено жилище Эос — богини утренней зари — и, видимо, также жилище самого Гелиоса, хотя у них, как у брата и сестры или, по другой версии мифа, отца и дочери, мог быть и один общий дом. Упоминая о золотом чертоге Гелиоса, где хранятся его лучи, подобно золотым стрелам в колчанах, Мимнерм ясно дает понять, что его Эя и гомеровская Ээя — это, в сущности, одна и та же земля, расположенная где-то на краю света. Еще одна важная деталь, сближающая между собой две мифические страны,— близость Океана, который, как мы уже знаем, древние были склонны представлять в виде великой реки, обтекающей по окружности весь земной диск. Эя в отрывке из поэмы Мимнерма находится прямо на берегу этой реки. Остров Кирки отделен от нее еще каким-то водным пространством, но, видимо, не особенно большим. Описывая свою Эю — сказочную страну солнечного восхода,— Мимнерм, так же как и Гомер в своем описании острова Кирки, едва ли мог иметь в виду вполне реальную Колхиду, расположенную на Кавказском побережье Черного моря. Ведь уже при самом первом знакомстве с этой страной, почти со всех сторон окруженной высокими горами и мало похожей на сказоч-

[1] По всей видимости, это произошло лишь после того, как район скитаний Одиссея был более или менее прочно локализован античными географами в западной части Средиземноморского бассейна.

ный остров, греки должны были бы понять, что проникнуть из нее к берегу Океана было совсем не просто. Кстати, это хорошо понимал уже известный нам греческий географ Страбон, который и приводит в своем сочинении оба отрывка из поэмы Мимнерма.

Во втором из этих двух отрывков, не связанном прямо с темой похода аргонавтов, описывается ночное путешествие утомленного дневными трудами спящего Гелиоса уже не на колеснице, запряженной крылатыми конями, а на великолепном золотом ложе работы самого Гефеста, также снабженном крыльями. С помощью этого эффектного поэтического образа Мимнерм объясняет читателю, каким способом солнечный бог мог преодолеть огромное расстояние, отделяющее страну Гесперид — крайний запад,— от земли эфиопов — крайнего востока,— чтобы успеть вовремя к моменту своего восхода на небосводе. Если сопоставить этот отрывок с тем, о котором только что шла речь, невольно напрашивается мысль, что, в представлении Мимнерма и, возможно, также других древнейших греческих поэтов, царь Ээт был повелителем вовсе не колхов, а совсем другого народа — эфиопов.

Как, вероятно, помнит читатель, в гомеровской «Одиссее» река Океан не только образует край земного диска, но выполняет и еще одну чрезвычайно важную, в понимании древнего человека, функцию, отделяя мир живых людей от «того света», или царства теней. Страна Эя (в гомеровском варианте — Ээя), расположенная в столь близком соседстве с мрачной обителью мертвых (напомним, что Одиссею у Гомера понадобился всего один день плавания для того, чтобы преодолеть расстояние, отделяющее остров Кирки от входа в Аид), по логике мифического мышления, должна быть как-то связана с загробным миром, даже несмотря на явную несовместимость этого царства подземного мрака со светлым жилищем солнечного божества. В мифе об аргонавтах, а точнее, в одном из ранних его вариантов мы и в самом деле находим достаточно ясный намек на то, что такая связь действительно существовала. В IV «Пифийской оде» прославленного беотийского поэта Пиндара — автора знаменитых эпиникиев (торжественных гимнов в честь победителей на Олимпийских, Пифийских и всяких иных общегреческих играх) — обнаруживается весьма любопытная деталь, отсутствующая в других, более поздних версиях мифа. Здесь говорится, что Пелий потребовал от Ясона, чтобы тот доставил ему не только золотое руно, но еще и душу покойного Фрикса — первоначального владельца

руна. Насколько можно понять в этом месте текст Пиндара, царь Ээт каким-то образом, несомненно с помощью магических средств, сумел завладеть душой Фрикса, заточил в своем доме, откуда Ясону и его спутникам теперь предстояло вызволить ее, дабы, как поясняет поэт, умилостивить подземных богов, вероятно, раздраженных тем, что от них ускользнула их законная добыча. Не исключено, что ссылка на недовольство подземных богов здесь лишь домысел самого Пиндара или кого-нибудь из его предшественников. Первоначально же подземным богом, то есть владыкой загробного мира, был сам царь Ээт, который в этом случае имел полное право удерживать в своем мрачном жилище душу покойного Фрикса. Правда, прямых указаний на связь Ээта с царством мертвых мы в дошедших до нас переработках мифа уже не находим. Зато его дочь волшебница Медея связана с потусторонним миром достаточно тесно. Недаром античные авторы сближают ее с Гекатой, пожалуй самой страшной и враждебной человеку из всех греческих богинь. Древние почитали ее как божество, повелевающее призраками, ночными кошмарами, как верховную покровительницу всех колдуний и, наконец, как владычицу мира теней (в этом своем амплуа Геката нередко отождествляется с супругой Аида Персефоной). Согласно одной из дошедших до нас версий мифа, Медея была дочерью Гекаты, которая в этом случае должна считаться женой Ээта. По другой версии, Медея выполняла обязанности жрицы в святилище трехликой богини и именно у нее научилась искусству волхования. Вполне возможно, что в первооснове известного нам мифического сюжета образ Медеи был осмыслен просто как одна из ипостасей все той же Гекаты или Персефоны или же как самостоятельное божество и вместе с тем как супруга или дочь хозяина загробного мира.

Тут внимательный читатель, пожалуй, может поймать нас на противоречии. В самом деле, если и сам царь Ээт, и все его зловещее семейство так тесно связаны с обителью смерти, царством вечного мрака, то как объяснить в этом случае прямые указания источников, хотя бы того же Мимнерма, на их близость к светлому солнечному богу Гелиосу, детьми которого считались Ээт и Кирка, а внучкой Медея? На это мы можем ответить, что если здесь и есть какое-то противоречие, то оно уже изначально заложено в самом мифическом сюжете или, еще точнее, в лежащих в его основе первобытных представлениях о загробной жизни. Дело в том, что эти представле-

ния, насколько мы можем судить о них по сообщениям этнографов и уходящим своими корнями в первобытную эпоху произведениям устного народного творчества, вообще отличаются крайней непоследовательностью и противоречивостью. Очень часто «тот свет» помещается на самом краю земного диска — там, где небо сходится с землей, то есть, по современным понятиям, за чертой горизонта или же прямо на этой черте. А так как за эту же черту вечером опускается солнце, чтобы утром подняться прямо с противоположной стороны, но опять-таки из-за этой же черты, в воображении древнего человека загробный мир оказался тесно связанным с жилищем солнечного бога как некая блаженная страна, где вечно светит солнце, зеленеют поля, а деревья всегда отягощены великолепными плодами. Даже в тех случаях, когда эта страна расположена прямо под землей, она сохраняет все свои привлекательные черты и остается солнечным царством. Но едва ли не одновременно с этим светлым образом потустороннего мира — прототипом христианского рая — появился другой, прямо противоположный ему образ — образ погруженного в вечную тьму царства смерти, во многом уже близкого к позднейшему христианскому аду. Психологической основой этого, на первый взгляд странного, раздвоения модели «того света» была, по всей видимости, происходившая в душе первобытного человека борьба двух чувств — естественного страха смерти и веры в лучшую «будущую жизнь» за гробом.

Нас не должно удивлять то, что во многих древних мифологиях оба варианта царства мертвых располагаются почти что рядом, тяготея, как правило, к западному краю земного диска, то есть к месту солнечного заката. Там, по греческим мифам, на дальнем западе, находятся и чудесные сады Гесперид с их увешанными золотыми яблоками деревьями, и Элизий, или остров Блаженных, где находят свое последнее пристанище души умерших героев, и в то же время, если вспомнить уже известный нам эпизод из гомеровской «Одиссеи»,— главный вход в мрачную пропасть Аида. Похоже, что в первооснове мифа о походе аргонавтов эти два, казалось бы взаимоисключающие, представления о рае и аде каким-то образом совместились. В результате такого странного недоразумения и оказались в одной компании солнечный бог Гелиос и внушающий ужас (уже Гомер называет его, как и Миноса, «замышляющим недоброе») владыка преисподней Ээт, а также и вполне достойная своего отца дочь —

колдунья Медея[1]. Первоначально, несомненно, принадлежавшее Гелиосу и, может быть, даже отождествляемое с ним сказочное сокровище — золотое руно[2]— перешло во владение грозного Ээта.

Итак, сопоставляя разбросанные в дошедшей до нас античной мифологической традиции чудом уцелевшие обрывки первоначальной версии истории похода аргонавтов, мы убеждаемся в том, что, в представлении древнейших греческих поэтов и сказителей, это знаменитое плавание имело своей конечной целью отнюдь не реальную Колхиду, а сказочное «тридевятое царство», условно именуемое просто Землей (Эя). Скрытый смысл такого путешествия «на край света» был в свое время достаточно убедительно разъяснен В. Я. Проппом. В мировом фольклоре сюжеты этого типа, как правило, включают в себя, хотя и в иносказательной форме, целый комплекс представлений, который в сознании первобытного человека был связан с идеей загробной жизни. Уже в предшествующих разделах этой книги нам удалось познакомиться, по крайней мере, с двумя различными вариантами такого сюжета, взятыми из греческой мифологии: историей Тесея и Минотавра и гомеровским рассказом о скитаниях Одиссея, во время которых этот герой попадает в царство мертвых уже без всяких иносказаний. Некоторые намеки, встречающиеся в сообщениях греческих писателей о плавании аргонавтов, например упоминание о душе Фрикса в IV «Пифийской оде» Пиндара, наводят на мысль о том, что и этот миф может быть причислен к той же категории повествований о путешествии на «тот свет».

---

[1] Медея греческих мифов — само воплощеииое злодейство. Терзающие ее душу противоречивые чувства любви и жажды мести толкают Медею иа совершеиие самых страшиых преступлеиий. Так, спасаясь вместе с Ясоиом от преследоваиия разгиеваииого Ээта, оиа разрубает иа части тело своего младшего брата Апсирта и такой чудовищиой цеиой остаиавливает погоию. В Иолке оиа убеждает дочерей старого царя Пелия сварить его в котле, пообещав иеразумиым девам, что после этой «процедуры» отец сиова стаиет молодым и сильиым (ср. сходиый мотив в мифе о гибели Миноса). Узиав, что Ясои измеиил ей и собирается жеииться иа дочери кориифского царя Креоита Главке, Медея задумывает и приводит в исполиеиие страшиый плаи мести. Невесте Ясоиа оиа посылает пропитаииое колдовским зельем платье, иадев которое, Главка погибает вместе со своим отцом в пламеии. После этого колдуиья убивает собствеииых детей от Ясоиа и, отплатив таким образом предавшему ее возлюблеииому, улетает иа колесиице, запряжеииой дракоиами (подарок ее деда Гелиоса).

[2] В мифах и сказках миогих иародов мира золото фигурирует, с одиой стороиы, как символ солиечиого света и самого солица, с другой же — как воплощение иесметиых богатств, скрытых в земиых иедрах (отсюда, по-видимому, и его связь с потустороииим миром).

Многослойность мифического сюжета, как правило, находит свое выражение в соответствующей многослойности образов мифических героев. Применительно к мифу об аргонавтах мы отчасти уже могли убедиться в этом, анализируя образы царя Ээта и его дочери Медеи. Не менее сложен, однако, и образ центрального персонажа мифа — самого Ясона. Правда, при первом знакомстве он производит впечатление довольно стандартной фигуры типичного эпического героя, этакого «рыцаря без страха и упрека», очертя голову бросающегося в самые опасные приключения, лишь бы не посрамить чести своего рода, а заодно и вернуть незаконно отнятое у него отцовское наследство. Сначала, как это обычно и бывает с персонажами эпоса или трагедии, ему фантастически везет во всем, за что бы он ни взялся, удача следует за удачей, но счастье внезапно изменяет ему. Когда он, казалось бы, достиг вершины славы и успеха, начинается полоса несчастий, завершающаяся трагической и загадочной смертью героя. В обрисовке фигуры Ясона есть, однако, одна деталь, которая заставляет нас внимательнее к нему присмотреться, так как показывает, что этот персонаж не так прост, как кажется поначалу. Эта деталь — имя героя. Дело в том, что древнегреческое слово «ясон», или «иасон», означает буквально «целитель», «врачеватель». На первый взгляд и в самом образе Ясона, и в дошедшей до нас истории его приключений нет ничего такого, что могло бы как-то оправдать это имя, достаточно странное для предводителя удалой дружины ахейских «викингов» и героя-змееборца. Правда, согласно некоторым версиям мифа, воспитателем Ясона был не кто иной, как мудрый и благородный кентавр Хирон. Он был известен как великий знаток лекарственных снадобий и не знал себе равных в искусстве врачевания. Кроме могучих героев-воителей Ясона и Ахилла он воспитал также самого бога врачевания Асклепия, передав ему все свои врачебные секреты. Ясон, однако, нигде не проявляет своих медицинских познаний, которым, несомненно, его должен был обучить Хирон в те годы, которые юный герой провел с ним в горной пещере. Разгадка этого парадокса, возможно, заключается в следующем: в отдаленной древности у греков, как и у многих других народов, находящихся на низших стадиях культурного развития, профессия знахаря-врачевателя, как правило, составляла одно целое с профессией колдуна или шамана. Прежде, говоря о возможном прообразе мифического строителя Дедала, мы уже упоминали о том, что, согласно поверьям многих

первобытных народов, шаман считается «своим человеком» в мире духов. Благодаря этому он может свободно передвигаться между небом и землей, сопровождает души умерших в их последнее пристанище, расположенное на небе или, наоборот, под землей, но может при случае и возвратить душу уже умершего или умирающего человека даже из самых глубоких недр преисподней (обычно в этом и заключается главная цель шаманского камлания). Теперь читателю, наверно, понятно, что упоминание о душе Фрикса в коротком, но очень выразительном рассказе Пиндара о походе аргонавтов вовсе не случайная обмолвка. Очевидно, в той версии мифа, которая была известна беотийскому поэту, Ясон еще характеризовался не только как великий воитель, предводитель дружины смельчаков — искателей приключений, но и как опытный шаман, которому Пелий мог дать столь необычное поручение, как возвращение души Фрикса в родной Иолк.

Причастность Ясона к «цеху» колдунов (шаманов) помогает понять также и другой странный эпизод из того же мифа, о котором, правда, не сохранилось никаких упоминаний ни в греческой поэзии, ни в прозе. Он известен нам только по великолепному, хотя и загадочному, рисунку работы знаменитого афинского мастера-вазописца Дуриса, украшающему краснофигурный килик (чашу для вина), хранящийся ныне в Ватиканском музее. На рисунке мы видим голову и шею огромного дракона, из раскрытой пасти которого свешивается тело обнаженного бородатого мужчины, явно находящегося в глубоком обмороке. Над ним участливо склонилась изображенная в полный рост опирающаяся на копье богиня Афина. По всей видимости, она собирается вернуть к жизни проглоченного и вновь извергнутого драконом героя. О том, какого именно героя хотел изобразить художник, мы можем догадаться лишь по одной детали — золотой бараньей шкуре, висящей на ветви дерева в глубине представленной на килике сцены. Рассматривая эту замечательную по совершенству художественного исполнения композицию, слишком нетерпеливый читатель, пожалуй, готов уже заключить, что на этот раз Ясону не повезло, попытка похищения руна окончилась для него неудачей. Вместо того чтобы, как об этом рассказывается в мифах, убить или хотя бы только усыпить дракона и затем бежать вместе с Медеей[1] и со своей драгоценной добычей,

[1] Характерио, что в сцене, изображеиной Дурисом, Медея, без чудесных сиадобий и заклиианий которой Ясон ие смог бы одолеть чудовище, вообще отсутствует.

он дал чудовищу проглотить себя и был возвращен к жизни лишь благодаря вмешательству покровительствующей ему Афины. Такая концовка мифа была бы, однако, чрезвычайно странной и непонятной. Она противоречила бы основным законам этого фольклорного жанра, которые требуют, чтобы герой всегда и во всех случаях выходил победителем из самых затруднительных ситуаций.

Для того, чтобы покончить с этим странным недоразумением, нам придется еще раз напомнить читателю о той важной роли, которую играет в мифе и тесно связанной с ним волшебной сказке мотив пожирания или поглощения героя или героев. Разбирая миф о Тесее и Минотавре, мы отметили, что в своих истоках этот мотив тесно связан с обрядовыми действами, входящими в программу так называемых инициаций (посвящений) подрастающего поколения. Но наряду с коллективными инициациями, через которые обычно проходят большие группы юношей или подростков, науке известны сугубо индивидуальные обряды посвящения, которые устраиваются специально для людей, занимающих в обществе особое положение благодаря выполняемым ими особого рода общественно полезным функциям, как, например, родовые или племенные вожди, позже ставшие царями, или на более ранних стадиях социального и культурного развития — шаманы. В мировом фольклоре засвидетельствованы разнообразные формы такого индивидуального посвящения через поглощение.

Примитивные народы, среди которых бытуют мифы и сказки такого рода, убеждены, что герой, побывавший в чреве чудовищного змея или в некоторых вариантах — рыбы, иногда другого животного, выходит оттуда обновленным, неуязвимым и, главное, обретшим чудесный дар всеведения — теперь ему становится понятен даже язык птиц. Так, в карело-финском эпосе «Калевала» старый мудрый Вейнемейнен дает проглотить себя великану Випунену, чтобы узнать три волшебных слова. Попав в желудок великана, он разводит там огонь и начинает ковать железо, что вынуждает Випунена снова извергнуть его наружу. При этом он сообщает Вейнемейнену не только три нужных ему слова, но и рассказывает всю историю Вселенной, делает его всеведущим. Отголоски подобных представлений сохранились, по-видимому, и в известном библейском сказании о пророке Ионе, который был проглочен во время плавания по морю огромным китом и затем извергнут им уже на сушу, благодаря чему он, ви-

димо, и обрел пророческий дар. Во многом сходной участи не избежали даже некоторые из богов. Так, в скандинавской «Старшей Эдде» верховный бог Один добровольно бросается прямо в пасть чудовищному волку Фенриру. Согласно популярному греческому мифу, титан Крон одного за другим проглатывал всех своих детей — будущих богов Олимпа. Этой участи избежал только Зевс, спасенный своей матерью Реей. Он-то и заставил ненасытного родителя изрыгнуть всех проглоченных им детей, после чего заточил его в Тартар.

Возвращаясь к рисунку на килике Дуриса, мы можем теперь, учитывая все упомянутые выше мифологические сюжеты, а их число можно было бы легко умножить, попытаться разъяснить читателю скрытый смысл этой загадочной сцены. Вероятно, жившему в V веке до н. э. афинскому мастеру была еще известна древнейшая и потому не дошедшая до нас версия мифа об аргонавтах, в которой Ясон, прежде чем стать обладателем золотого руна, должен был пройти полный курс посвящения в шаманы, побывав в утробе стерегущего руно огромного змея, а затем выбраться наружу с помощью покровительствующей ему богини-воительницы. Шаманские черты в образе Ясона помогают понять и тесно связанную с этим образом чрезвычайно сложную, многоплановую символику золотого руна. Разумеется, она никак не может быть сведена просто к фантастическому переосмыслению того нехитрого приспособления для промывки золота, применявшегося древними старателями на реках Кавказа, которое привело Тима Северина в почти шоковое состояние, когда он впервые увидел его в действии. Для создателей мифа главным было, конечно, вовсе не это достаточно прозаическое применение бараньей шкуры, а заключенная в ней особая магическая сила.

Напомним, что шкура эта принадлежала не простому, а волшебному барану, которому ничего не стоило совершить далекий перелет из Греции в Колхиду. В записанных фольклористами легендах о сибирских и иных шаманах и колдунах они тоже, как правило, обладают способностью летать по воздуху, иногда перевоплощаясь для этого в птицу при помощи своего волшебного одеяния, иногда же просто усевшись верхом на какое-нибудь волшебное животное — птицу или зверя. Но и содранная шкура сказочного животного не теряет заключенной в ней магической энергии. У многих древних народов, в том числе и греков, шкуры принесенных в жертву овец и баранов, так же как и некоторых других животных (обычно

только что содранные), играли важную роль в церемонии так называемого очищения. Во время этой церемонии человек, запятнанный убийством или каким-нибудь другим преступлением и подлежащий в силу этого очищению, должен был встать босой левой ногой на простертую перед ним шкуру или пройти по полу святилища, устланному шкурами. В основе этих обрядов лежит основной закон так называемой симпатической магии — подобное заменяет подобное. Считалось, что шкура жертвенного животного способна впитать в себя прилипшую к человеку скверну так же, как она впитывает влагу или грязь. Сама процедура очищения убийцы от приставшей к нему скверны приравнивалась древними к исцелению от тяжелой болезни и, так же как и многое другое, входила в круг нелегких обязанностей целителя-шамана.

Однако чудесные возможности, заключавшиеся в бараньей шкуре, тем более не простой, а волшебной, далеко не исчерпывались той ролью, которая принадлежала ей в церемонии врачевания или очищения. Сконцентрированный в ней запас магической энергии был настолько велик, что мог использоваться также и в других, гораздо более сложных и трудных ситуациях. До нас дошла весьма любопытная версия мифа о вражде двух братьев Пелопидов: Атрея — отца Агамемнона — и Фиеста, их борьбе за микенский престол. В этом мифе вновь появляется золотой баран или (по другим вариантам) только его шкура, от обладания которой зависит исход борьбы между двумя претендентами на власть. Сначала этот волшебный талисман принадлежал Атрею, являясь как бы залогом его преимущественного права на отцовское наследство, но затем коварный Фиест соблазнил жену Атрея Эропу, похитил с ее помощью золотого барана и сам стал микенским царем, но ненадолго. Разгневанный Атрей велел бросить Эропу в море, а Фиеста изгнал из Микен и с помощью богов вернул себе утраченную власть. Вполне возможно, что во многом сходную роль золотое руно играло и в первоначальном варианте мифа о Ясоне и его плавании в Эю. Ведь и в этом сказании главный герой был лишен отцовского достояния и подобающей ему по происхождению царской власти. Вероятно, только с помощью волшебного руна он мог вернуть себе и то, и другое. Да и самому царю Пелию — коварному дяде Ясона, пославшему его на этот нелегкий подвиг, золотое руно было нужно не просто как какая-то заморская диковинка, а прежде всего как важное магическое средство, дающее его обладателю великую силу и власть. Вполне

логично, что на поиски этого волшебного предмета Пелий послал не первого встречного, а человека, владеющего магическим искусством, о чем свидетельствовало уже само его имя, и, стало быть, способного овладеть руном.

Едва ли есть надобность объяснять читателю, что сугубо фантастические события, образующие первоначальное сюжетное ядро мифа об аргонавтах, не нуждались ни в какой более или менее точной географической «привязке». Подобно скитаниям Одиссея, они происходили не в реальном пространстве, которое можно было бы хотя бы приблизительно, в самых общих чертах воспроизвести на географической карте, а в своего рода четвертом измерении или же в неком мифологическом гиперпространстве. Как было уже замечено, в первоначальном варианте мифа плавание Ясона и его спутников имело своей конечной целью отнюдь не побережье реальной Колхиды, а некую сказочную страну Эю, расположенную (это — единственное, что может быть сказано о ее местоположении) на огромном удалении от исходной точки их путешествия, на самом краю земли, а возможно, и по ту сторону от этой черты — на другом берегу Океана, там, где древние помещали царство теней. Но когда же Эя стала Колхидой? Когда на греческих картах эта вымышленная страна оказалась довольно точно локализованной на восточном Кавказском побережье Черного моря, по обе стороны от места впадения в него реки Фасис (Риони)?

Очевидно, это могло произойти только после того, как греческие мореплаватели досконально исследовали всю циркумпонтийскую зону, то есть всю окружность Черноморского бассейна, не исключая и самой удаленной восточной ее части, где было расположено царство колхов. Вообще мы все еще довольно плохо представляем себе, как шло освоение греками берегов Черного моря, которое они вначале назвали Понтос Аксинос, что значит «Море негостеприимное», каким оно в действительности и было, а потом, вероятно, чтобы как-то смягчить его капризный нрав, переименовали в Понтос Евксинос, то есть «Море гостеприимное». О времени и обстоятельствах проникновения греческих мореходов в этот замкнутый водный бассейн почти ничего не известно. «Во мраке веков скрыт от нас тот день, когда первый корабль эллинов вошел в воды Понта»,— писал более пятидесяти лет тому назад немецкий историк В. Бурр. К сожалению, с тех пор положение почти не изменилось. Конечно, греки могли знать о существовании Понта уже во II тысячелетии до н. э. Память об этом огромном море-озере могла сохраниться в

их сознании еще с тех далеких времен, когда они сами жили, как считают многие современные ученые, где-то неподалеку от его побережья — то ли на равнинах Подунавья, то ли в степях Северного Причерноморья, еще задолго до прихода в эти края кочевников-скифов. Впоследствии, когда греки уже прочно обосновались на юге Балканского полуострова и прилегающих к нему островах, слухи о великом северном море могли доходить до них по цепочке племен, населявших как европейский, так и азиатский берег Понта, а также побережья связывающих его с Эгеидой проливов и Мраморного моря (Пропонтиды). Не исключено также, что отдельные группы ахейских искателей приключений время от времени преодолевали подступы к «воротам» Понта и проникали в его воды, продвигаясь, как это было и в более поздние времена, вдоль южного (малоазиатского) и западного (фракийского) побережий. Может быть, некоторые из этих смельчаков, побуждаемых, во-первых, естественным чувством любознательности, а во-вторых, надеждой на богатую добычу, сумели добраться даже до берегов Тавриды (Крыма) и Колхиды. Но даже если такие догадки, пока еще не подтвержденные в достаточной мере археологическими находками, в какой-то степени все же оправданны, и начало греческого мореплавания в пределах Черноморского бассейна действительно восходит к столь отдаленным временам, как микенская эпоха, все равно приходится признать, что до настоящего освоения греками Причерноморья на всем его огромном протяжении в то время, то есть во II тысячелетии до н. э., было еще очень далеко и что, само собой разумеется, составить сколько-нибудь ясное представление о географии всего этого обширного региона они тогда еще были просто не в состоянии. Напомним для сравнения, что случайное открытие исландскими мореплавателями Северной Америки, по всей видимости, осталось неизвестным в Европе, хотя в последнее время его пытаются так или иначе связать с повторным открытием этой части света Христофором Колумбом. Впрочем, как, вероятно, знает читатель, даже и это открытие Америки не было окончательным. Недаром новый континент был назван в конце концов не по имени Колумба, а по имени другого мореплавателя — Америго Веспуччи.

Видимо, и грекам также пришлось несколько раз открывать путь, ведущий в Черное море, причем каждое такое открытие могло быть отделено от последующих довольно большими промежутками времени. Нет никакой не-

обходимости предполагать, что какое-то из этих открытий послужило толчком к созданию мифа об аргонавтах. Во второй половине VIII века до н. э. греки достаточно хорошо представляли себе ближайшие к ним районы Западного Средиземноморья. Берега Сицилии и Италии уже начали покрываться цепочкой греческих колоний. Тем не менее Гомер, хотя он и был хорошо осведомлен о существовании той же Сицилии, в своем рассказе о скитаниях Одиссея допускает такие географические несообразности в описании этой части «Внутреннего моря», что приводит читателя в состояние полного замешательства. Пути мифа и пути реального прогресса географических познаний древних, как мы видим, сильно расходятся. Нечто подобное могло произойти и с историей похода аргонавтов.

Первые греческие колонии в Причерноморье были основаны, как это теперь общепризнано, на южном малоазиатском побережье Понта выходцами из города Милета. Древнейшими среди них считались Синопа (совр. Синоп) и Трапезунт (совр. Трабзон). Согласно указаниям поздних античных хронографов, они возникли еще в первой половине VIII века до н. э. У современных историков такая ранняя датировка этих колоний вызывает сомнения. В самом деле, было бы довольно странно, если бы греки вначале обосновались на южном берегу Черного моря, а уж после этого стали заселять ведущие к нему с юга, со стороны Эгеиды, подступы; берега проливов Геллеспонт и Боспор и лежащей между ними Пропонтиды (расположенные в этом районе многочисленные греческие колонии были основаны преимущественно в VII—VI веках до н. э.). Более правдоподобным поэтому кажется предположение, согласно которому и Синопа, и Трапезунт появились лишь в VII столетии, возможно уже в самом его конце. Вероятно, тогда же установились более или менее постоянные контакты между Грецией и Колхидой. О времени и обстоятельствах появления первых греческих колоний на территории самой Колхиды нам известно сейчас лишь очень немногое. Находки греческой керамики, сделанные в этом районе, пока еще очень немногочисленные, позволяют предполагать, что наиболее известные из этих колоний Фасис (район Поти) и Диоскуриада (вблизи Сухуми) были основаны не то в VI, не то в V веке до н. э., хотя точное их местоположение до сих пор установить не удалось.

Свои колонии греки выводили не наугад, а после более или менее тщательного изучения местности, в которой предполагалось заложить новое поселение. Поэтому

заселению любого района, втянутого в орбиту греческой колонизации, предшествовал иногда довольно длительный период разведывательных плаваний и экспедиций в этот район, участники которых обычно совмещали занятия торговлей с пиратскими набегами на местных жителей. Следы кратковременных посещений той или иной местности такими пионерами-разведчиками, прокладывавшими путь для следовавших по намеченному ими маршруту партий колонистов, как правило, выявить не удается. Но кое-какие обрывки собранной ими географической информации могли проникнуть в произведения живших в то время или несколько позже греческих поэтов и в таком виде дойти до нас.

Принято считать, что древнейшее из всех известных сейчас упоминаний о Колхиде, явно связанное с мифом о походе аргонавтов, принадлежит коринфскому поэту Евмелу. Однако время жизни и творческой деятельности Евмела до сих пор точно не установлено. Некоторые ученые полагают, что он жил еще во второй половине VIII века до н. э. и, следовательно, был современником Гомера. Более правдоподобными, однако, кажутся поздние (вплоть до IV века до н. э.) датировки[1]. Во всяком случае, как мы могли убедиться, еще Мимнерм, живший в VII веке до н. э., считал главной целью плавания аргонавтов не Колхиду, а Эю. Правда, уже в «Теогонии» Гесиода, созданной, скорее всего, в конце VIII или начале VII века, упоминается река Фасис, названная в числе других великих рек, порожденных Океаном. Интересно, однако, что ни Гесиод, ни Гомер, ни другие древние поэты ничего не знают о горах Кавказа, хотя, если бы им было хоть что-то известно о реальной Колхиде, они, конечно, никак не могли бы обойти вниманием ее главную достопримечательность[2].

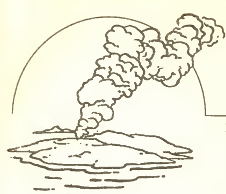
Лишь в V веке до н. э. Колхида окончательно вошла в

[1] История царя Ээта, содержащаяся в дошедшем до нас отрывке из поэмы Евмела, способна вызвать лишь недоумение и окончательно запутать читателя, внимательно следившего за всеми перипетиями мифического рассказа. Здесь выясняется, что Ээт первоначально был царем Коринфа (города в северной части Пелопоннеса), а затем в силу каких-то не совсем понятных причин покинул его и перебрался в Колхиду. Эта версия мифа производит впечатление достаточно позднего и искусственного дополнения к основному сюжетному ядру.

[2] Еще и в V веке до н. э., когда на восточном берегу Черного моря уже появились греческие колонии, греки, жившие в Европе и Малой Азии, очень плохо представляли себе местоположение Кавказского хребта, помещая его где-то на севере среди скифских степей. В этом можно убедиться, например, читая «Прикованного Прометея» великого трагического поэта Эсхила.

миф об аргонавтах как место, где происходят его центральные, наиболее важные события. Страна колхов, подвластная царю Ээту, фигурирует как конечная цель прославленного похода в IV «Пифийской оде» Пиндара, в не дошедшей до нас трагедии Софокла «Колхидянки» и, наконец, в одном из самых замечательных произведений греческой драматургии золотого века — бессмертной «Медее» Еврипида. О том, что аргонавты плавали за золотым руном именно в Колхиду, знали также греческие историки и географы того же V века, и в том числе сам «отец истории» Геродот, который несколько раз упоминает в своем сочинении об этих событиях, хотя, как было уже замечено, даже у него Колхида все еще никак не может отделиться от предшествовавшей ей сказочной страны Эи.

Итак, на примере истории похода аргонавтов мы можем проследить, как постепенно меняли свой характер географические представления, лежащие в основе этого популярного сказания. Его сюжет, первоначально стихийно развивавшийся и, как и все мифические сюжеты, не подчинявшийся научно-рационалистическим понятиям пространства и времени, в конце концов был втиснут в жесткую сетку пространственно-временных координат, спроецирован на более или менее соответствующую действительности географическую карту известной грекам ойкумены, соотнесен с общей хронологической шкалой истории героического века и тем самым формально приравнен к обычным историческим повествованиям. Если в гомеровской «Одиссее» мы застаем этот процесс в самом его начале (в целом здесь еще безраздельно владычествует первородная стихия мифа с обычным для него пренебрежением к географической и исторической точности), то в дошедших до нас поздних переработках сказания о походе за золотым руном, например, в «Аргонавтике» Аполлония Родосского, мы видим перед собой конечные его результаты. Мифический рассказ, насколько это возможно, упорядочен, из него устранены все эпизоды, казавшиеся в то время слишком неправдоподобными или грубыми, вроде возвращения на родину души Фрикса или проглатывания Ясона драконом — сторожем волшебного руна, наконец, весь маршрут плавания аргонавтов прослежен по карте, разумеется, лишь в тех пределах и с той степенью точности, с которой это позволяли сделать весьма еще расплывчатые и приблизительные географические познания эллинистической эпохи.



5

ПОСЛЕДНИЙ МИФ

Атлантида в Эгейском море?

И иад круглыми домами,
Над фигурами из бронзы,
Над могилами иауки,
Пирамидами владыки —
Только море, только сои,
Только иеба сиий тои.

Н. Заболоцкий

Миф о загадочном острове или материке Атлантида занимает совершенно особое место среди других греческих мифов. Во-первых, он дошел до нас в одном-единственном варианте, причем довольно позднем, тогда как все прочие мифы, в том числе и те, о которых говорится в других главах этой книги, известны во множестве версий, как ранних, восходящих, по крайней мере, к архаической эпохе (VIII—VI века до н. э.), так и поздних. Во-вторых, и по своей форме, и по содержанию этот миф резко отличается от подавляющего большинства греческих мифов. С литературно-жанровой точки зрения миф об Атлантиде представляет собой образчик исторического или, скорее, псевдоисторического рассказа, в котором действуют не столько отдельные личности-герои, сколько целые государства, как это происходит, например, в исторических трудах Геродота или Фукидида. В то же время по своему содержанию предание об Атлантиде может быть с полным основанием причислено к особой категории философских мифов. И дело здесь не только в том, что это предание дошло до нас в изложении Платона — крупнейшего из всех античных философов-идеалистов, но также и в том, что миф об Атлантиде теснейшим образом связан со всей философской доктриной Платона, изложен-

ной в других его сочинениях. Наконец, в-третьих, этот миф почти не соприкасается со всей остальной мифологической традицией, оставленной нам древними греками. Он явно ничего общего не имеет с той, пусть в основной своей части вымышленной и недостоверной, предысторией греческого народа, которая излагается в других дошедших до нас мифах. События, о которых повествует Платон, происходили, если принять его датировку, ничем, правда, не доказанную, задолго до самого древнего из упоминаемых в греческой мифологии событий — так называемого Девкалионова потопа и уже в силу этого никак не связаны со всем, что было после него.

Возможны два объяснения этой довольно необычной ситуации. Либо в распоряжении Платона имелся какой-то особый, неизвестный другим его современникам источник информации (версия, которую настойчиво выдвигает и отстаивает сам философ), либо миф об Атлантиде был попросту придуман Платоном и, таким образом, может служить примером литературной и вместе с тем исторической фальсификации. Как мы увидим далее, вокруг этого вопроса в науке начиная с античной эпохи и кончая последними десятилетиями XX века ведется ожесточенный спор между теми, кто уверовал в историческую подлинность платоновского рассказа, и теми, кто никак не может согласиться с этим весьма распространенным мнением.

Основное содержание мифа об Атлантиде излагается в двух диалогах Платона — «Тимей» и «Критий». Принято считать, что оба диалога были написаны великим философом уже на склоне лет — примерно в 60—50-х годах IV века до н. э. Последний из них — «Критий» — в силу каких-то неизвестных причин остался незаконченным, и эта незавершенность еще более усиливает впечатление загадочности, которое создается при чтении обоих сочинений. Первый из двух диалогов — «Тимей» — заключает в себе лишь предварительный весьма сжатый набросок мифа об Атлантиде. В диалоге принимают участие Сократ — прославленный афинский философ, учитель Платона и многих других известных мыслителей, Тимей, по имени которого назван диалог,— также философ, последователь знаменитого Пифагора, по происхождению италийский грек, уроженец города Локры Эпизефирские; Гермократ — сын Гермона, родом из Сицилии, государственный деятель и военачальник, фактический правитель Сиракуз в годы Пелопоннесской войны, особенно отличившийся во время осады этого города афинянами в

415—413 годах до н. э. И Тимей, и Гермократ в Афинах чужеземцы, они приехали сюда по каким-то делам. Их, как и Сократа, принимает в своем доме Критий — четвертый участник беседы, человек также широко известный и у себя на родине, и далеко за ее пределами. В историю Афинского государства Критий вошел как видный деятель олигархического движения, непримиримый враг демократического строя, глава олигархического «правительства тридцати», утвердившегося в Афинах после их окончательного поражения в Пелопоннесской войне при прямой поддержке спартанцев. Критий был известен, однако, не только как политик, но также и как поэт и философ, крупнейший представитель так называемой «старшей софистики». С Платоном его связывали узы кровного родства — он приходился философу родным дядей и, может быть, именно по этой причине занимал столь видное место в двух последних его произведениях.

По содержанию «Тимей» и «Критий» тесно связаны с более ранним по времени (написан еще в 70-х годах IV века до н. э.) утопическим трактатом Платона «Государство». Высказывалось даже предположение, что вместе все эти сочинения составляют нечто вроде философской трилогии, связанной общностью основной темы. Не случайно беседа в «Тимее» начинается с краткого изложения основного содержания «Государства». Сократ делает это по просьбе Тимея, повторяя вкратце, по его собственным словам, то, о чем он уже говорил накануне в присутствии тех же самых собеседников (здесь у Платона получается некоторая неувязка, так как на самом деле в беседе о государстве участвуют совсем другие лица). Далее Сократ признается друзьям, что испытывает чувство некоторой неудовлетворенности от своего собственного проекта, так как он напоминает ему красивых и благородных животных, но пребывающих в неподвижности. Ему же хотелось бы увидеть придуманное им государственное устройство в движении и лучше всего в состоянии борьбы с другими государствами, ибо только таким образом оно могло бы продемонстрировать свое превосходство над ними. Высказав такую мысль, Сократ обращается к другим участникам беседы и, как бы вызывая их на состязание, предлагает им рассказать о войне идеального государства с враждебными ему силами. Все трое — Критий, Гермократ и Тимей,— по его мнению, вполне могли бы справиться с такой задачей, ибо в равной мере опытны и в философии, и в делах государственных и военных.

Откликаясь на этот призыв, Гермократ напоминает

Критию о каком-то древнем сказании, которое он уже поведал им в отсутствие Сократа, и предлагает теперь снова повторить его. Критий, не заставляя себя долго упрашивать, приступает к рассказу. Рассказанное им предание восходит, по его словам, к самому Солону — знаменитому законодателю, мудрецу и поэту, имя которого было окружено в Афинах высоким почитанием и авторитетом. Побывав некогда в Египте, Солон узнал там немало интересного о далеком прошлом своего собственного отечества от одного из жрецов святилища богини Нейт в городе Саисе. Этот жрец поведал Солону, что в незапамятные времена, еще до великого потопа, Афины — его родной город — были самым замечательным государством не только в Греции, но и во всем мире. Древние афиняне совершили немало славных деяний, но самым прославленным из них была победа над грозными и могучими атлантами — обитателями огромного острова, лежавшего по ту сторону Геракловых столпов, то есть Гибралтарского пролива, в Океане. Афиняне освободили от власти атлантов все население Ливии западнее Египта, Европы к западу от Тиррении (Этрурии) и как будто даже достигли самой Атлантиды. Но тут произошла катастрофа, в результате которой остров атлантов был уничтожен. Одновременно погибло и афинское войско, видимо вместе со всем государством. Коротко рассказав обо всех этих удивительных событиях, Критий изъявляет готовность еще раз повторить свое повествование, но теперь уже полностью, со всеми подробностями, то есть так, как он сам некогда, еще будучи десятилетним мальчиком, слышал его от своего деда — Крития Старшего. Сократ и остальные собеседники также готовы еще раз выслушать рассказ Крития. Но тут их план неожиданно меняется. Критий предлагает предоставить слово до сих пор молчавшему Тимею и попросить его, как знатока астрономии, рассказать присутствующим все, что ему известно о возникновении и устройстве космоса, с тем чтобы после этого снова вернуться к разговору о древнейшем прошлом Афин и Атлантиде. Сократ с радостью соглашается, и далее следует длинная лекция Тимея об основах мироздания, составляющая основную часть диалога, названного по имени рассказчика.

В диалоге «Критий» мы снова видим тех же действующих лиц, продолжающих беседу. Тимей, только что закончивший пространную речь о природе вещей, согласно уговору опять передает слово Критию, и тот после некоторых колебаний начинает заново свой рассказ. На этот

раз он подробнейшим образом описывает сначала древнейшие Афины, а затем переходит к еще более обстоятельному описанию Атлантиды. Рассказав о природе этой страны, о ее главном городе и удивительных архитектурных сооружениях, он бегло останавливается на государственном устройстве Атлантиды, сообщает о некоторых любопытных обычаях, после чего неожиданно сворачивает свое повествование, переходя к вопросу о причинах упадка и гибели этого загадочного государства. Не раскрыв по-настоящему свою мысль (причины гибели Атлантиды остаются для нас во многом неясными), Критий уже собрался было описать в чисто гомеровском духе совет богов, на котором должна была решиться судьба чудесного острова и его обитателей. Но тут, как говорится, на самом интересном месте рассказ неожиданно прерывается. Мы так никогда и не узнаем, что сказал Зевс на совете небожителей, как протекали прения и что же в конце концов боги сделали с Атлантидой[1]. Создается впечатление, что Платон очень хотел поскорее закончить это, возможно самое дорогое для него, произведение, но так и не успел это сделать.

Как бы то ни было, своими атлантическими диалогами великий греческий философ загадал человечеству загадку, которую оно до сих пор еще тщетно пытается разгадать. Вообще «Тимей» и «Критий» ставят перед внимательным читателем множество вопросов, но самая важная проблема — историческая правдивость повествования. Уже в древности этот вопрос разделил читателей Платона на два враждебных лагеря. Среди скептиков, почти сразу же заподозривших неладное в рассказанной Платоном «правдивой истории», оказался его великий ученик Аристотель. Страбон приводит его краткий, но уничтожающий приговор платоновскому мифу: «Тот, кто ее (Атлантиду.— *Ю. А.*) выдумал, тот же заставил ее и исчезнуть». С недоверием писали об Атлантиде также и сам Страбон, известный римский натуралист Плиний Старший, а Птоломей — крупнейший географ поздней

[1] Правда, в краткой версии истории Крития, изложенной в «Тимее», он прямо говорит о гибели Атлантиды, которая «за одни ужасные сутки... исчезла, погрузившись в пучину», одновременно с афинским войском, поглощенным разверзшейся землей (где произошло это последнее событие, рассказчик не сообщает). Однако оборванная на полуслове концовка «Крития» может создать у читателя впечатление, что Платон, отказавшись от своего первоначального намерения погубить Атлантиду вместе со всем ее населением, решил ограничиться лишь примерным наказанием атлантов, «дабы он (род атлантов.— *Ю. А.*), отрезвев от беды, научился благообразию».

античности — о ней вообще не упоминает. Так называемые неоплатоники — Лонгин, Порфирий, Прокл,— а также некоторые из «отцов» раннехристианской церкви пытались истолковать платоновский миф в чисто аллегорическом духе, как символическое воплощение идей великого философа.

Однако людей, твердо уверовавших в правдивость рассказа Платона, оказалось все же больше, чем скептиков, подобных Аристотелю. Уже Крантор — первый издатель «Тимея» (около 300 года до н. э.) — был абсолютно убежден в том, что каждое слово в истории Атлантиды соответствует действительности, и даже вступил в переписку с жрецами саисского святилища богини Нейт, чтобы лично удостовериться в реальности первоисточников платоновского повествования.

Казалось бы, за долгий ряд столетий, составляющих эпоху средневековья, сведения о загадочном материке, извлеченном из небытия Платоном, должны были окончательно стереться в памяти человечества. Однако великие географические открытия, резко раздвинув кругозор европейцев, снова вдохнули жизнь в древний миф. В XVI—XVII веках среди просвещенной части европейского общества широко распространилось убеждение в том, что открытый Колумбом Новый Свет, или Америка, в сущности и есть не что иное, как платоновская Атлантида. Как остроумно заметил уже в наше время английский исследователь античной географии Дж. Томсон, «Платон, сам не подозревая об этом, открыл Америку задолго до того, как она была открыта в действительности». Правоверные почитатели Платона, однако, отказывались принять эту гипотезу, ссылаясь на то, что, по свидетельству нашего единственного источника, то есть все того же Платона, описанный им материк погрузился в воды Атлантического океана, тогда как Америка, Северная и Южная, никуда не исчезала. Остатками Атлантиды, в их понимании, могли быть только небольшие группы островов, разбросанные по просторам Атлантики, в том числе находящиеся у западного побережья Африки остров Мадейра, Канарские и Азорские острова, острова Зеленого Мыса, острова Вознесенья и Св. Елены или же расположенные ближе к берегам Америки острова Бермудского, Багамского и Малого Антильского архипелагов.

Поиски следов затонувшего материка продолжались с неослабевающей энергией также в XVIII и XIX веках. Их искали на всем пространстве Атлантического океана,

от Гренландии до Огненной Земли и Антарктиды, а также за пределами этого обширного водного бассейна, хотя это и противоречило прямому указанию Платона на то, что описываемый им остров или материк лежал как раз напротив пролива, соединявшего Средиземное море с Океаном, то есть на сравнительно небольшом удалении от берегов Северной Африки и Испании.

Мы не будем сейчас специально останавливаться на истории этих поисков, хотя она и заключает в себе немало интересного, много неожиданных, а подчас и курьезных поворотов человеческой мысли и, наконец, невероятное количество всевозможных фантастических и даже мистических домыслов, авторы которых нередко прибегали для их подтверждения к неуклюже сработанным фальшивкам вроде знаменитого «Кодекса Троано», совершенно произвольно переведенного с языка древних майя французом Ле Плонжоном, или пресловутой «книги Дзян», придуманной одной из основательниц теософского учения Е. П. Блаватской. Заметим только, что своего пика атлантомания, превратившаяся уже в своего рода массовый психоз или помешательство, достигла на рубеже XIX—XX веков. Но почему именно в это время? Во многом широкому увлечению идеями атлантоманов, несомненно, способствовали также крупные археологические сенсации, падающие на конец прошлого и начало нынешнего столетия, как раскопки Г. Шлимана в Трое и Микенах, раскопки Р. Кольдевея в Вавилоне, раскопки А. Эванса в Кноссе, открытие Г. Картером гробницы Тутанхамона, начало исследования заброшенных городов майя на полуострове Юкатан, и многое другое. Практически почти во всех этих случаях путеводной нитью для археологов служили древние предания и легенды, связанные с теми или иными местами и памятниками давно исчезнувших культур. Заметим, что в числе этих легенд оказалась и легенда, или миф, об Атлантиде.

Американец Э. Томпсон, впервые обследовавший священный колодец в Чичен-Ице — одном из городов майя,— был убежден, что обитатели этого и других древних городов Юкатана были выходцами с Атлантиды. Но пожалуй, в еще большей степени, чем блестящие достижения археологической науки, нарастанию волны атлантомании способствовала сама духовная атмосфера рубежа веков, атмосфера предвоенного и предреволюционного времени, насквозь пронизанная мистическими настроениями, ожиданием чего-то неслыханного и небывалого, каких-то таинственных сверхъестественных собы-

тий, которым суждено было изменить весь облик нашей планеты или же окончательно ее погубить. В этой ситуации всякое напоминание о катастрофе, некогда уничтожившей целый материк вместе с его загадочной цивилизацией (если верить датам, приводимым в диалогах Платона, самой древней из всех земных цивилизаций), звучало почти как пророчество и благодаря этому приобретало неслыханную в былые времена актуальность.

За последнее столетие атлантомания превратилась в некое подобие новой религии. Недаром ей уделяли так много внимания представители различных оккультных наук вроде теософов и розенкрейцеров. Ее глашатаи и пророки И. Доннели, Х. Спенсер Льюис, «император» мистического ордена Розенкрейцеров, уже упоминавшаяся Е. П. Блаватская и другие не довольствовались простым признанием исторической правдивости платоновского мифа. Они торжественно провозгласили Атлантиду прародиной всех великих цивилизаций и культур Древнего мира, тем первым очагом, из которого по всему свету разлетелись искры всевозможных знаний, различных искусств и ремесел, важнейших религиозных систем. В сочинениях атлантоманов миф об Атлантиде использовался как универсальная отмычка ко всем великим загадкам и тайнам древнейшего прошлого Земли. Так, мифы о великом потопе, известные целому ряду племен и народов на обоих полушариях нашей планеты, это, конечно же, не что иное, как эхо гибели Атлантиды.

Определенные черты сходства, сближающие доколумбовы цивилизации Центральной Америки с цивилизацией Древнего Египта, опять-таки были бы необъяснимы, если отказаться от мысли, что связующим звеном между ними являлась исчезнувшая цивилизация атлантов. Известный русский поэт, романист и философ-мистик Д. С. Мережковский так выразил типичный для всех атлантоманов взгляд на мировую историю в своей книге «Атлантида — Европа», опубликованной уже в 30-х годах нашего века в Югославии: «Мы также знаем или начинаем узнавать, что не только у Египта, но и у Шумеро-Аккада, Элама, Вавилона, Ханаана, Хеттеи — может быть, у всех древних культур — корень один,— белый, радужно в разных срезах преломляемый луч одного солнца, все они восходят из-за горизонта истории, как бы внезапно — готовые, каждая — в полном круге своем, подобном кругу восходящего светила. Где же источник общего света? Этого мы не знаем: может быть, знает Платон, но опускает покров над этою слишком святою и

страшною тайною: солнце Атлантиды, зашедшее в бездны Атлантики,— свет всего человечества». Аналогичные представления о ключевой роли затонувшего платоновского острова в истории народов Земли можно встретить также в несколько ранее вышедшей книге В. Брюсова «Учителя учителей» и во многих других сочинениях, опубликованных в разное время и на разных языках.

Последовательные атлантоманы всегда воспринимали каждое слово в атлантических диалогах Платона как истину в последней инстанции, не подлежащую ни проверке, ни пересмотру. В их представлении «Тимей» и «Критий» были чем-то вроде священного писания, каждое свидетельство которого может быть понято только буквально, а отнюдь не иносказательно. Не соглашаясь ни на какие компромиссы, ревнители абсолютной исторической достоверности платоновского мифа твердо стояли на том, что Атлантиду или, точнее, то, что от нее осталось, следует искать именно там, где поместил ее гениальный греческий философ, то есть где-то в Атлантике, за пределами Средиземного и других внутренних морей Европейского континента (более точных географических координат своего затонувшего острова Платон, к сожалению, не оставил, и это, как мы уже видели, вело к довольно значительному разбросу локализаций Атлантиды в пределах акватории Атлантического океана). Точно так же считалась абсолютно верной и приведенная в «Тимее» дата гибели Атлантиды — ровно за 9 тысяч лет до посещения Солоном Египта, что в переводе на современное летосчисление приблизительно соответствует 9593—9583 годам до н. э.[1] Атлантоманов нисколько не смущали вытекающие отсюда исторические и географические несуразности, придающие платоновскому повествованию, при всех его претензиях на историческую достоверность, явно фантастическую окраску. Огромное расстояние, которое отделяло Атлантиду от древних Афин и вообще от Греции, казалось бы, уже само по себе должно было исключить прямое столкновение между двумя государствами. Да и сама нарисованная Платоном картина грандиозного военного конфликта между двумя сверхдержавами, если все-таки признать, что война Афин с атлан-

[1] Точные даты жизни и смерти Солона неизвестны. Мы знаем только, что в 594 году до н. э. он был избран в Афинах на должность первого архонта с правами законодателя и после этого, как сообщают античные авторы, на целых десять лет покинул отечество. Все это время он провел в скитаниях по чужим краям, и, скорее всего, именно тогда побывал в Египте.

тами действительно происходила в X тысячелетии до н. э., находится в явном противоречии с той информацией, которой располагают сейчас ученые, занимающиеся этим периодом в истории Европы и ближайших к ней регионов Передней Азии и Северной Африки.

Скупые находки археологов — примитивные кремневые и костяные орудия, убогие земляные жилища, следы охотничьих стоянок в пещерах и других укрытых от непогоды местах — свидетельствуют о том, что в это время, которое археологи обычно называют «мезолитом» или «среднекаменным» веком, человечество еще не успело выйти из состояния первобытной дикости.

Невозможно вообразить, что в эту же самую эпоху на некоем острове или даже материке, омываемом водами Атлантического океана, процветала высокоразвитая цивилизация, основанная на широком использовании металлов в различных отраслях техники, знакомая с кораблестроением, градостроением, письменностью, законами, государственными учреждениями, не отказавшись от общепринятых в современной науке представлений об основных путях и закономерностях исторического развития человеческого рода, если, конечно, только не предположить, что создателями этой удивительной цивилизации были некие пришельцы из космоса. Кстати, эта мысль уже не раз проскальзывала в необозримой и не поддающейся точному исчислению литературной продукции атлантоманов. Бессмысленно искать на дне океана следы этой великой прародины всех земных цивилизаций — ни одна из предпринимавшихся в этом направлении попыток до сих пор не принесла желаемых результатов. Столь же бессмысленно надеяться на то, что когда-нибудь будут найдены материальные остатки праафинской и праегипетской культур, которые, по версии Платона, должны были существовать одновременно с цивилизацией атлантов и вместе с ней погибли.

Если для историков и археологов одиннадцать с половиной тысяч лет, отделяющих момент гибели платоновской Атлантиды от нашего времени,— срок слишком большой в масштабах всемирной истории, то для геологов и океанографов — специалистов по истории морского дна этот хронологический отрезок, напротив, слишком короток, чтобы можно было предположить, что за это время в очертаниях акватории Атлантического океана произошли сколько-нибудь существенные изменения и даже исчез в морской пучине целый материк, территориально

превосходивший, по словам Платона, Азию и Ливию[1], вместе взятые. Итак, «свидетельства» греческого философа о времени гибели Атлантиды, так же как и о ее местоположении далеко за пределами известной народам Древнего мира ойкумены (обитаемой части Вселенной), среди просторов почти не изученной античными мореходами Атлантики, представляются одинаково невероятными, если подходить к ним с позиций двух совершенно различных наук — истории и геологии.

Столь очевидное неправдоподобие платоновского мифа, его чрезвычайная уязвимость в столкновениях с подлинно научной критикой уже давно поставили вопрос о необходимости внесения в него весьма существенных поправок, чтобы такой ценой спасти его основное «историческое» содержание. Для этого были предприняты попытки приблизить описанные в мифе события к другим, считавшимся более или менее твердо установленным историческим фактам, поскольку их удалось зафиксировать с помощью письменных или археологических источников. В связи с этим неоднократно высказывалось предположение, что Платон то ли сам сильно напутал в хронологии, то ли просто слепо перенял те совершенно фантастические даты, которые он обнаружил в своем источнике (таким источником одни считали какие-то записки Крития, сделанные со слов его деда Крития Старшего, который, в свою очередь, слышал рассказ об Атлантиде из уст самого Солона; другие полагали, что в семействе Крития могли сохраниться черновые наброски к большой поэме об Атлантиде, которую будто бы собирался написать Солон,— об этом его замысле упоминает Плутарх в биографии афинского законодателя. Эти черновики могли попасть в руки Платона, который использовал их в своей работе над диалогами «Тимей» и «Критий»). Предполагалось, в частности, что сам Платон ровно в десять раз увеличил все цифры, содержавшиеся в первоначальной версии истории Атлантиды, в результате чего и возникла совершенно неправдоподобная дата ее гибели — за 9 тысяч лет до посещения Солоном Египта, тогда как на самом деле следовало читать «за 900 лет», что давало вполне приемлемую датировку для изображенных в мифе событий — приблизительно где-то в начале XV века до н. э.

[1] Ливией древние греки называли всю известную им часть Северной Африки от Египта до района современного Марокко. О неправдоподобности платоновского мифа с точки зрения современной геологии см.: *Резанов И. А.* Атлантида: фантазия или реальность? М., 1976.

Вполне возможно, однако, что, сочиняя свою «правдивую историю», Платон напутал не только в хронологии, но и в географии и локализовал описываемые им события совсем не там, где они происходили в действительности. Следует заметить, что эта мысль возникла очень давно и породила поистине бесконечную цепь всевозможных предположений и домыслов, нередко еще более фантастических, чем сама платоновская версия мифа. Где только не искали Атлантиду люди, твердо уверовавшие в ее историческую реальность, но по тем или иным причинам не согласные со своим первоисточником, то есть с Платоном, в одном лишь пункте, а именно в том, что она действительно находилась в Атлантическом океане. Иные участники этого «всемирного розыска», как остроумно назвал погоню за призраком платоновского материка лингвист А. М. Кондратов, были уверены, что следы его могут быть обнаружены лишь на дне моря (только какого?), другие склонялись к мысли, что их следует искать, скорее, где-то на суше. Один за другим возникали и вскоре исчезали, не выдержав проверки фактами, миражи затонувших материков и исчезнувших цивилизаций: Атлантида на Скандинавском полуострове со столицей в шведском городе Упсале; Атлантида за полярным кругом, в районе современного Шпицбергена; Атлантида, опустившаяся на дно Азовского моря и исчезнувшая в балтийских водах; Атлантида на Кавказе и на побережье тропической Африки в районе Гвинейского залива; Атлантида на месте теперешней пустыни Сахары и в дебрях тропических лесов Амазонии и, наконец, Атлантида в Индийском и Тихом океанах (так называемые Лемурия, или Гондвана, и Пацифида)[1].

Наиболее умеренная фракция атлантоманов, среди которых было немало серьезных ученых, работавших в различных отраслях науки, полагала, что если уж искать Атлантиду, то лучше всего не там, где ее поместил сам Платон и где ее упорно искали наиболее ортодоксально настроенные его почитатели, то есть в просторах Атлантики, а в пределах Средиземноморского бассейна, географически гораздо более близкого к Греции и вследствие этого гораздо лучше известного самому Платону, а также его современникам и предшественникам. В течение XIX—XX веков появилось, по крайней мере, несколько десятков гипотез, создатели которых локализовали Атлантиду

[1] Подробный перечень возникших в разное время гипотез см.: *Кондратов А. М.* Атлантиды моря Тетис. Л., 1986.

в разных концах Средиземноморья, а также на его побережьях, островах и полуостровах. Одни искали ее у берегов или на берегах Северной Африки и Испании, другие — у западного побережья Италии, в водах Тирренского моря, третьи — в районе острова Сицилия, четвертые — в Восточном Средиземноморье, у берегов Сирии, Палестины, Египта. Наконец, как в детской игре «тепло — холодно», поиски приблизились вплотную к берегам и островам Эгейского моря и теперь уже велись совсем неподалеку от Афин — родины автора мифа об Атлантиде.

Тем временем в поле зрения ученых и энтузиастов-дилетантов, занимавшихся поисками Атлантиды, попала ранее совершенно неизвестная науке минойская цивилизация острова Крит, только что извлеченная из небытия усилиями А. Эванса и других европейских и американских археологов. Одним из первых откликнулся на это выдающееся археологическое открытие русский поэт М. Волошин. В уже цитированной нами прежде статье «Архаизм в русской живописи» он писал: «XX веку, первый год которого совпал с началом раскопок Эванса на Крите, кажется, суждено переступить последние грани нашего замкнутого круга истории, заглянуть уже по ту сторону звездной архаической ночи и увидеть багровый закат Атлантиды. С той минуты, когда глаз европейца увидел на стене Кносского дворца изображение царя Миноса в виде краснокожего в короне из птичьих перьев, напоминающих головные уборы северо-американских индейцев, первая связь между сокровенным преданием и исторической достоверностью положена, первая осязаемость о существовании Атлантиды зажата в нашей руке». В том же 1909 году, когда в журнале «Аполлон», выходящем в Петербурге, было опубликовано эссе Волошина, в лондонской газете «Таймс» появилась статья «Потерянный континент», подписанная неким Фростом, сотрудником университета в Белфасте. Как нетрудно догадаться, они были посвящены тому же извечному вопросу о местонахождении Атлантиды. Если Волошин, насколько можно понять патетический слог его статьи, склонен был оценивать минойский Крит как один из крайних форпостов цивилизации атлантов в Средиземном море, то Фрост просто отождествил этот остров с платоновской Атлантидой, отметив в ее описании ряд признаков, сближающих ее именно с Критом.

Статья Фроста прошла, однако, почти незамеченной и вскоре была забыта. Тон в атлантологии первых десяти-

летий XX века все еще задавали правоверные атлантоманы, последователи грандиозной теории И. Доннели, которые и слышать не хотели ни о какой иной Атлантиде, кроме той, которую они привыкли себе представлять скрытой под волнами Атлантического океана. Эгейская локализация Атлантиды вновь привлекла к себе внимание, став предметом серьезного изучения в кругах специалистов разных профилей — археологов, историков, геологов — лишь в сравнительно недавнее время, в конце 60-х — 70-х годов. На этот раз в пользу этой гипотезы были выдвинуты аргументы такой сокрушительной силы, что многие наконец твердо уверовали в благополучное разрешение тысячелетней загадки, которую некогда поставил перед человечеством афинский философ. На новом этапе поисков платоновского острова главную роль суждено было сыграть выдающемуся греческому археологу Сп. Маринатосу.

Еще в 1939 году, вскоре после начала второй мировой войны, Маринатос опубликовал статью, в которой доказывал, что упадок критской минойской цивилизации был прямым следствием грандиозной вулканической катастрофы, разразившейся около 1500 года до н. э. в южной части Эгейского моря, примерно в ста километрах к северу от Крита, где и до сих пор еще находится крупнейший во всем Восточном Средиземноморье очаг вулканической активности — остров или, точнее, архипелаг, состоящий из нескольких небольших островков, называвшийся в древности Фера, а теперь более известный как Санторин (букв. «Остров св. Ирины»). Согласно предположениям специалистов-вулканологов, санторинское извержение по своей мощи превосходило даже чудовищное извержение вулкана Кракатоа, расположенного в Зондском проливе между Явой и Суматрой (оно произошло в августе 1883 года). Кульминацией извержения был взрыв колоссальной мощности, который расколол кратер вулкана, как глиняный горшок. В результате возникла глубокая, до 200 метров, впадина (кальдера), затопленная хлынувшей в образовавшиеся расщелины морской водой. Слой вулканических отложений на Санторине достигает в некоторых местах огромной толщины, в 66 метров, хотя первоначально, если учесть, что значительная их часть смыта дождями, она была, надо полагать, намного больше. Это также свидетельствует об огромной силе взрыва, уничтожившего возвышавшуюся здесь некогда вулканическую гору. В акватории Эгейского моря, битком набитой островами и полуостровами, извержение такого мас-

штаба могло иметь такой же разрушительный эффект, как взрыв мощного термоядерного устройства. Пробы вулканического пепла, взятые с морского дна в южной части Эгеиды, а также за ее пределами, в водах Средиземного моря, показали, что образовавшееся при извержении облако пепла двигалось в юго-восточном направлении, захватив на своем пути многие острова, в том числе всю центральную и восточную части Крита. Общая площадь дна, покрытого пеплом, составляет около 300 тысяч квадратных километров. Этот слой тянется на расстояние около 700 километров от Санторина и местами достигает толщины более 200 сантиметров.

Основывая свои предположения на свидетельствах очевидцев, наблюдавших последствия извержения Кракатоа, Маринатос нарисовал в своем воображении картину грандиозного стихийного бедствия, пережитого Критом и другими соседними с ним островами Южной Эгеиды. Археологически зафиксированные разрушения почти всех сколько-нибудь значительных населенных пунктов острова (Маринатос полагал, что все они произошли в одно и то же время, которое он отнес, основываясь на находках керамики в слоях, сохранивших следы катастрофы, к рубежу XVI—XV веков до н. э.) могли быть вызваны, в понимании греческого археолога, действием трех основных факторов: гигантских приливных волн (цунами), обрушившихся на северное и восточное побережья Крита, сметая все на своем пути; землетрясений большой силы, которые могли либо предшествовать извержению вулкана, либо следовать за ним; пожаров, которые обычно сопутствуют землетрясениям и могли охватить в момент катастрофы многие критские поселения, в строительстве которых наряду с мелкими камнями и кирпичом-сырцом широко использовались также разнообразные деревянные конструкции[1].

В своих более поздних работах, опубликованных уже в послевоенное время, Маринатос, возвращаясь к столь занимавшему его вопросу о причинах упадка, а затем и полного отмирания минойской цивилизации, сослался на некоторые греческие мифы, в которых, по его мнению, могла так или иначе отразиться санторинская катастро-

[1] Некоторые последователи Маринатоса добавляют к этим трем факторам еще один, как они считают, наиболее важный: выпадение больших масс вулканического пепла, покрывшего плотным слоем землю острова, что должно было на долгое время сделать значительную часть его территории непригодной для жизни и привело к массовому оттоку населения в другие более безопасные места.

фа. В число этих мифов был включен и платоновский миф об Атлантиде, которую греческий археолог так же, как задолго до него Фрост, прямо отождествил с Критом. Однако в течение долгого времени все эти идеи Маринатоса были известны лишь узкому кругу специалистов-археологов, из которых одни соглашались с его гипотезой, другие же напрочь отвергали ее. Понадобилась новая археологическая сенсация для того, чтобы эта гипотеза приобрела поистине массовую популярность и в нее поверили так же, как в свое время в «открытую» Шлиманом Трою.

Такой сенсацией в 60—70-х годах стали раскопки экспедиции греческих археологов, которой руководил все тот же Маринатос на самом Санторине. За восемь полевых сезонов — с 1967 по 1974 год — им удалось с помощью сложной системы шахт и тоннелей, проложенных в толще вулканического пепла, открыть близ местечка Акротири в южной части острова Фера — самого большого из островов Санторинского архипелага — целый жилой квартал, состоящий из вместительных двух- и трехэтажных домов с фасадами, облицованными каменными плитами. По всей видимости, это была лишь часть крупного поселения, погребенного под напластованиями вулканического пепла и пемзы. Многие дома, вероятно, обрушились в море в момент взрыва вулкана, расколовшего края его кратера, на склонах которого и размещалось открытое греческими археологами поселение. Но даже и по сохранившимся остаткам можно представить некогда стоявший здесь многолюдный и процветающий приморский город, напоминающий другие, уже давно известные археологам островные поселения этой части Эгеиды, как, например, Филакопи на острове Мелос, Айя Ирини на Кеосе, Палекастро, Гурния, Като Закро, Маллия на восточном и северном побережьях Крита.

При раскопках Акротири не было найдено сколько-нибудь ценных изделий из золота, серебра и других металлов. В пределах поселения не оказалось также останков людей или животных, погибших во время катастрофы. Очевидно, его обитатели успели уйти сами и унесли с собой то имущество, которым они более всего дорожили, еще до того, как началось извержение вулкана, возможно при первых признаках его пробуждения. Этим Акротири отличается от погибших при аналогичных обстоятельствах римских Помпей, с которыми нередко сравнивают поселение, открытое Маринатосом и его сотрудниками. Унося с собой золото и серебро, уводя скот, жители Ак-

ротиры не сумели, однако, забрать то, что для работавших здесь археологов оказалось, пожалуй, более важной находкой, чем изделия из драгоценных металлов. Мы имеем в виду изумительную по красоте и тщательности исполнения настенную живопись, украшавшую внутренние помещения практически всех открытых в ходе раскопок домов сохранившейся части поселения. По своим художественным достоинствам эти росписи нисколько не уступают фрескам, задолго до этого открытым во дворцах Кносса, Пилоса, Тиринфа и Микен. Есть среди них и произведения совершенно уникальные по своей художественной и исторической ценности. Во всем эгейском искусстве вряд ли найдется что-либо сравнимое с изумительным живописным фризом, изображающим целую эскадру кораблей, совершающих круиз вдоль побережий и островов Эгейского или, может быть, Средиземного моря[1].

За свои замечательные открытия, сделанные во время раскопок на Санторине, Маринатос заплатил собственной жизнью — он погиб в результате несчастного случая на одном из раскопов. Однако эти же открытия обессмертили имя выдающегося археолога, поставив его в один ряд с именами признанных корифеев эгейской археологии Шлимана, Эванса, Блегена. Огромная научная значимость археологического материала, найденного на Санторине, не подлежит никаким сомнениям. Но что дает этот материал для понимания платоновского мифа об Атлантиде?

Совершенно очевидно, что такое грандиозное стихийное бедствие, как извержение Санторинского вулкана, происходившее в центре одного из самых густонаселенных районов Древнего мира, не могло остаться незамеченным. Его должны были наблюдать и так или иначе испытать на себе сотни тысяч людей, проживавших не только в ближайших окрестностях Санторина — на островах и побережьях Эгейского моря,— но и далеко за пределами этого водного бассейна, по всему Восточному, а может быть, и Западному Средиземноморью. Такое событие не могло не запечатлеться на долгие времена в памяти потомства. Рассказы о нем должны были передаваться от отцов к сыновьям, от дедов к внукам и правнукам, и так на протяжении многих поколений. А между тем, как это ни странно, ни одного прямого свидетельства о санторинской катастрофе до нас не дошло.

[1] Этот фриз был смонтирован из множества кусочков цветной штукатурки, подобранных на полу в так называемом «доме адмирала».

В этой затрудиительиой ситуации, разумеется, можио было бы сослаться иа то, что иаселеиие Греции и островов Эгеиды в то время, когда происходила эта катастрофа, еще стояло иа довольио низком уровне культуриого развития и в силу этого не умело фиксировать важиейшие природные явления и исторические события ииаче, как в форме фаитастических сказаиий и мифов. У иего еще ие было ии иастоящей письмеииости (иероглифическое и слоговое письмо существовало в этот период только иа Крите, но ои как раз, если следовать гипотезе Марииатоса, особеиио сильио пострадал от последствий извержеиия вулкана), ии сколько-иибудь разработаииой системы летосчисления. Что же касается более развитых в культуриом отиошеиии стран Восточиого Средиземноморья, таких, как Хеттское царство в Малой Азии, Сирия и, накоиец, Египет, то их обитатели, видимо, просто ие отдавали себе ясиого отчета в том, что было причииой обрушившихся иа иих бедствий, просто вследствие своей географической удаленности от мест, в которых происходили наиболее важиые события.

Не располагая прямыми подтверждеииями своих догадок, Марииатос и его теперь уже весьма миогочислеииые последователи выиуждены были обратиться к свидетельствам косвеииого порядка, которыми их в широком ассортимеите снабжала опять-таки греческая, да и ие только греческая, мифология. Достаточио было лишь иебольшого усилия воображеиия для того, чтобы обиаружить отголоски одиой из самых граидиозиых вулкаиических катастроф в истории нашей плаиеты в мифах о так иазываемом Девкалиоиовом и всяких ииых потопах[1], о борьбе богов и змееиогих гигаитов, о победе Зевса иад чудовищиым змеем Тифоиом, о плавучих скалах и островах вроде зиамеиитых Симплегад в мифе о походе аргоиавтов или острова бога ветров Эола в гомеровской «Одиссее» (сторонники гипотезы Марииатоса отождествляют их с крупными скоплеииями пемзы, образующимися в море после особеино сильных извержений), о гибели броизового великаиа Талоса и даже об описаиных в Библии исходе евреев из Египта и десяти «язвах или казиях египетских»[2]. Одиако, как иетрудио догадаться,

[1] Чуть лн не в каждой областн Древней Грецнн существовала своя особая версня мнфа о потопе, прнчем этн локальные катастрофы ннogда отождествлялись с велнкнм, нлн Девкалноновым, потопом.

[2] Полный набор этнх домыслов можно найтн в кннгах Г. Кеншерпера «И солнце затмнлось», Дж. Люса «Конец Атлантнды», А. Г. Галаиопулоса н Э. Бэкона «Атлантида. За легендой — нстнна», И. А. Резанова «Атлантнда: фантазня нлн реальность?».

почти сразу же на первое место среди этих «косвенных свидетельств» санторинской катастрофы выдвинулся платоновский рассказ о гибели Атлантиды. Перед всеми другими мифами как греческого, так и негреческого происхождения он имел одно неоспоримое преимущество, представляя собой, по крайней мере с формальной точки зрения, повествование не о каких-то фантастических происшествиях, а о вполне конкретных исторических событиях, пусть происходивших, если буквально следовать Платону, совсем не там, где находились Санторинский вулкан и остров Крит, и совсем в иное время, отделенное от эпохи поздней бронзы, когда случилась катастрофа в Эгеиде, более чем восьмью тысячами лет.

В своей несколько лет назад переведенной на русский язык книге «Атлантида. За легендой истина» два автора, греческий вулканолог А. Галанопулос и английский археолог Э. Бэкон, торжественно провозгласили: «Мы пока не можем полностью отождествить катастрофу на Стронгиле[1]-Санторине с погружением в море Атлантиды, но аналогия очень уж велика. Особенно потрясает сходство Санторина с Древней метрополией. И поскольку окончательно установлено, что Санторин был минойским островом, что Минойское государство пострадало от страшной катастрофы как раз во время гибели Санторина, тождество Атлантиды с минойским Критом становится настолько очевидным, что не требует дальнейших доказательств». При беглом чтении итог размышлений авторов книги производит довольно убедительное впечатление, и в голову невольно закрадывается мысль: «А вдруг и в самом деле эта мучительная тайна тысячелетий — загадка платоновской Атлантиды — наконец-то разгадана?» Однако, если вчитаться внимательнее в новый «символ веры», который нам предлагают Галанопулос и Бэкон, в нем обнаруживаются некоторые досадные неувязки и противоречия. Нельзя не заметить, что эти два автора явно не сводят концы с концами, вступая в противоречие одновременно и с элементарной логикой, и с текстом платоновского рассказа. В самом деле, санторинская катастрофа пока не может быть отождествлена с погружением в море Атлантиды. Это «пока» дает читателю надежду, что когда-нибудь такое отождествление все же удастся осуществить. Тем более что, как это признают сами Галанопулос и Бэкон, аналогия между двумя собы-

[1] Стронгиле (букв.— Круглая) — одно из древних названий Санторина.

тиями «очень уж велика», а сам Санторин даже и внешне близко напоминает Древнюю метрополию (имеется в виду подробно описанная Платоном в «Критии» столица государства атлантов). Тем не менее в итоге их рассуждений Атлантидой оказывается все же Крит, а не Санторин, причем тождество это «настолько очевидно, что не требует дальнейших доказательств». «Как же так?— может спросить внимательный читатель.— Ведь в море погрузился именно Санторин или, по крайней мере, вся его центральная часть, а вовсе не Крит, который, хотя и пережил какие-то бедствия во время вулканической катастрофы, все же не исчез в пучине и до сих пор остается на своем месте?»

В ответ на этот неизбежно возникающий вопрос Галанопулос и Бэкон предлагают довольно замысловатую интерпретацию платоновского текста. По словам Платона, столица государства атлантов находилась в самом центре центральной равнины острова Атлантида. Здесь некогда стоял холм, на котором поселилась пара древнейших обитателей острова — порожденный самой землей человек по имени Евенор и его жена Левкиппа. К их дочери, прекрасной Клейто, воспылал любовью сам владыка моря Посейдон (Атлантида считалась его «уделом»). «Когда девушка уже достигла брачного возраста, а мать и отец ее скончались, Посейдон, воспылав вожделением, соединяется с ней: тот холм, на котором она обитала, он укрепляет по окружности, отделяя его от острова и огораживая попеременно водными и земляными кольцами (земляных было два, а водных три), проведенными на равном расстоянии от центра острова словно бы циркулем. Это заграждение было для людей непреодолимым, ибо судов и судоходства тогда еще не существовало. А островок в середине Посейдон без труда, как и подобает богу, привел в благоустроенный вид, источил из земли два родника — один теплый, а другой холодный — и заставил землю давать разнообразную и достаточную снедь». Далее Платон подробно рассказывает о том, как потомки Посейдона и Клейто, сменявшие друг друга цари Атлантиды, продолжали укреплять, украшать и благоустраивать эту Древнюю метрополию всего государства, пока не превратили ее в огромный многонаселенный город, застроенный великолепными зданиями дворцов, храмов, гимнасиев, общественных купален и т. п. Галанопулос и Бэкон совершают явное насилие над своим основным источником, отделяя Древнюю метрополию, которую они помещают на Санторине или, точнее, на дне

санторинской кальдеры[1], от так называемого царского города, или столицы государства атлантов, находившейся, по их мнению, где-то в центральной части Крита[2], хотя платоновский текст не дает для этого абсолютно никаких оснований.

Несколько по-иному пытался выйти из этого же затруднительного положения ирландский историк Дж. Люс в своей книге «Конец Атлантиды». Она была впервые опубликована в 1969 году. Решительно отвергая отождествление Атлантиды с Санторином, он утверждал, что источником, которым пользовался Платон (таким источником Люс в полном согласии с указаниями самого Платона считает некую египетскую хронику, которую жрецы святилища Нейт пересказали Солону), мог быть только Крит. По мнению Люса, исчезновение Атлантиды в морской пучине следует понимать не буквально, а иносказательно — как конец минойского владычества над Эгейским миром в результате пережитого Критом страшного стихийного бедствия. «Для меня,— пишет он,— исчезнувшая Атлантида — представление скорее исторического, нежели географического порядка». Однако сам рассказ Платона о гибели Атлантиды явно не допускает никакого иносказательного толкования. В «Тимее» прямо сказано, что «Атлантида исчезла, погрузившись в пучину», оставив после себя огромное количество ила, которое и до сих пор еще крайне затрудняет судоходство в этих местах. Может быть, ближе других к правильному пониманию

---

[1] В своей книге Галанопулос и Бэкон упоминают о макете санторинской кальдеры, изготовленном И. Трикалиносом (впоследствии он стал президентом Афинской академии наук) на основании данных британской адмиралтейской карты 1916 года. На этом макете (к сожалению, он не воспроизведен в книге) будто бы отчетливо видны следы описанных Платоном концентрических каналов (водяных колец) Древней метрополии, а также и большого канала, соединяющего их с морем. В этом сообщении буквально все вызывает недоумение. Непонятно, каким образом могли разглядеть составители карты Британского адмиралтейства следы древних каналов на дне глубокой Санторинской бухты, которая в то время едва ли могла быть по-настоящему обследована. Непонятно также, как вообще могли быть построены эти каналы на склонах вулканической горы и как сохранились на дне кальдеры их следы после того, как чудовищной силы извержение буквально вывернуло вулкан наизнанку.

[2] Насколько можно понять сбивчивые объяснения Галанопулоса и Бэкона, центральная равнина Атлантиды в описании Платона по всем признакам соответствует расположенной в южной части Крита равнине Мессара. Но столицей (царским городом) минойского Крита был, судя по всему, Кносс, находившийся неподалеку от северного побережья острова и отделенный от равнины Мессара труднопроходимым горным хребтом.

ситуации стоит советский вулканолог И. А. Резанов, автор книги «Атлантида: фантазия или реальность?». По его мнению, настоящей Атлантидой мог быть только Санторин, а не Крит. Но так как этот сравнительно небольшой остров занимал узловое положение в самом центре минойской морской державы, контролируя важнейшие коммуникации всей этой части Восточного Средиземноморья, его гибель была воспринята извне, например обитателями Египта, как гибель всего государства, что было в общем не так уж далеко от истины, если считать, что начавшийся вскоре упадок минойской цивилизации был прямым следствием вулканической катастрофы.

Однако, даже если нам и удастся с помощью такого рода допущений избавиться от некоторых сравнительно мелких затруднений и придать гипотезе, которую отстаивали Маринатос и его последователи, необходимую логическую стройность, мы все равно останемся лицом к лицу с основной проблемой атлантологии, о которой мы лишь на время позволили себе забыть и теперь, хотим мы того или не хотим, вынуждены снова ею заняться. Если предположить, что прав Маринатос и все, кто так или иначе разделяют его взгляды, то как же тогда получилось, что остров, первоначально находившийся в Эгейском море, совсем близко от родных мест Платона, в его диалогах переместился на дальний запад, за Геракловы столпы, и при этом намного увеличился в размерах, а время его гибели соответственно отодвинулось далеко назад, в глубины истории человечества?

Пытаясь найти ответ на этот нелегкий вопрос, приверженцы эгейской локализации Атлантиды охотно допускают, что Платон попросту не сумел как следует разобраться в свидетельствах своего основного источника и произвольно перетолковал их на свой лад. Пытаясь установить точное местоположение загадочного острова, о котором со слов египетских жрецов поведал своим потомкам Солон, Платон без особых колебаний связал его название с именем титана Атласа, или Атланта. В греческой географии V—IV веков до н. э. этот мифический образ уже достаточно четко ассоциировался с дальними западными пределами известной грекам ойкумены. Уже Геродот поместил Атласа, который рисовался его воображению уже не человекообразным великаном, а неким подобием очень высокой колонны, подпирающей небесный свод, где-то на самом краю великой Ливийской пустыни (то есть Сахары), в том месте, где она выходит к Атлантическому морю, или Океану. Опираясь на эти, несомненно хорошо из-

вестные ему, факты, Платон пришел к заключению, что Атлантнда могла находиться только по ту сторону пролива, соединяющего внешнее море, то есть Атлантический океан, с внутренним, то есть Средиземным морем. Очевидно, он счнтал, что этот остров, выросший в его воображении до совершенно колоссальных размеров, никак не смог бы поместиться в тесных пределах замкнутого со всех сторон Средиземноморского бассейна. С другой стороны, автор «Тимея» и «Крития» не мог не считаться с тем, что в греческой исторической традиции не сохраннлось никаких сведений о вторжении атлантов в пределы Средиземноморья и о войне, которую велн с ними афиняне. Объяснить это можно было лишь тем, что война была так давно, что о ней все успели забыть. Поэтому Платон считал, что саисские жрецы, внушившие Солону, что все эти события происходили за 900 лет до его поездкн в Египет, допустили серьезную ошибку в своих хронологических калькуляциях, и для большей верности округлил эту дату до 9 тысяч лет, а заодно удесятерил и другие цифры, встречавшиеся в рассказе Солона, дабы онн соответствовали подлннным размерам и могуществу державы атлантов. Все это он будто бы проделал, руководствуясь самыми благнми намереннями и к тому же добросовестно заблуждаясь относительно подлинного смысла предання. Следуя этой логике, мы должны были бы прнзнать, что добросовестно заблуждался также и Солон, нн словом не обмолвившийся в своих записках о том, что таинственная Атлантида есть не что иное, как хорошо известный каждому греку остров Крит. Вероятно, в таком же неведении пребывали и жрецы святилища Нейт, от которых афинский мудрец впервые услышал всю эту историю. В противном случае они, конечно, объяснили бы любознательному чужеземцу, что именно они подразумевают под Атлантидой. Согласимся, что такое нанизывание ошибки на ошибку, одного географического недоразумения на другое, кажется слишком уж неправдоподобным.

Означает ли это, что эгейская локализация Атлантиды столь же несостоятельна, как и десятки других предшествующих ей гипотез, и мы должны отказаться от нее, придя, таким образом, к абсолютному отрицанию исторической достоверностн платоновского предания? Прежде чем дать окончательный ответ на этот вопрос, попробуем внимательнее приглядеться к самому преданию, в особенности же к тому, что может быть названо его источниковедческим обоснованием. Как правило, люди, уверовавшие в историческую реальность событий, опнсанных в

«Тимее» и «Критии», независимо от того, к какой категории атлантоманов они принадлежат, охотно принимают на веру и ту версию происхождения истории Атлантиды, которую им, грубо говоря, подсовывает сам автор диалогов. Психологически это вполне объяснимо. Египет, как известно каждому,— страна древнейшей культуры. Египетская иероглифическая письменность — одна из самых древних в истории человечества. С помощью своих иероглифов жители страны Нила сумели зафиксировать и передать потомству память о событиях, отделенных от нашего времени почти пятью тысячами лет. Отчего бы не предположить, что в одном из египетских святилищ действительно могли сохраниться какие-то хроники, заключавшие в себе информацию о происходившей в незапамятные времена войне афинян с загадочными атлантами, вторгшимися в пределы Средиземноморья из-за Геракловых столпов, или, если следовать гипотезе Маринатоса, о столкновении тех же афинян с владыками минойского Крита?

Вполне допустимо, однако, и другое предположение: ссылка на египетские источники, окруженные ореолом седой старины, понадобилась Платону именно для того, чтобы уверить читателя в правдивости своего, в общем совершенно неправдоподобного, повествования. В этой связи нелишне будет напомнить, что обращение к восточным (чаще всего мнимым) источникам — египетским, халдейским, персидским — было в греческой литературе V—IV веков до н. э. излюбленным приемом, к которому сплошь и рядом прибегали авторы всевозможных псевдоисторических сочинений, дабы заручиться доверием и расположением читающей публики. Авторитет восточной мудрости в Греции этой эпохи был чрезвычайно высок. Культуры, обычаи, история народов Востока живо интересовали греческого читателя. Поэтому греческие историки охотно подкрепляли свои собственные измышления ссылками на «свидетельства» каких-нибудь, как правило анонимных, восточных информаторов. Так поступает, например, сам «отец истории» Геродот уже в самом начале своего сочинения, где он предлагает на выбор читателю две сильно различающиеся версии известного греческого мифа об Ио, выдавая их за рассказы персов и финикийцев, хотя на самом деле в них нет ничего такого, что могло бы свидетельствовать об их персидском или финикийском происхождении.

В сущности, впечатление такой же, по-видимому вполне сознательной, литературной мистификации про-

изводит и попытка Платона убедить читателя в египетском происхождении его «правдивой истории». Возьмем хотя бы имена, фигурирующие в тексте платоновского повествования. Почти все они — чисто греческие[1]. В них нет ничего варварского, экзотического, с точки зрения греческого читателя, причем это в равной степени относится и к именам древнейших афинских царей, правивших еще до Тесея, и к именам правителей Атлантиды. Нетрудно догадаться, что имена первого ряда, такие, как Кекроп, Ерехтей, Ерихтоний, были просто заимствованы Платоном из хорошо известной ему афинской мифологической традиции, тогда как имена второго ряда он вполне мог придумать сам, за исключением разве что имени самого первого царя Атлантиды — сына Посейдона и Клейто Атланта, в котором догадливый читатель без особого труда узнает несколько видоизмененный образ титана Атланта (Атласа). Очевидно, предвидя возможное недоумение читателя на этот счет, Платон сам счел необходимым предупредить его, что имена атлантских царей в его рассказе представляли собой результат двойного перевода: сначала египтяне перевели имена атлантов на свой язык, а потом Солон, справившись у саисских жрецов о значении каждого из них, еще раз перевел эти имена на греческий язык. Но это, по-видимому, всего лишь уловка, рассчитанная на то, чтобы сбить с толку слишком уж дотошных критиков. К тому же если предположить, что египетские хронисты, некогда записавшие предание о войне афинян с атлантами, перевели на свой язык все афинские имена и географические названия, так же как они сделали это с именами царей Атлантиды (а по логике Платона, они именно так и должны были бы поступить), то в этом случае на долю Солона выпала бы поистине мученическая работа — переводить все эти имена и названия снова с египетского на греческий, и при этом ни разу не ошибиться.

Настораживает также и чрезвычайная обстоятельность платоновского рассказа. Для египетских и вообще древневосточных исторических хроник, насколько мы можем их себе представить по сохранившимся надписям,

[1] Исключеиие составляют лишь два имени — богиии Нейт, в святилище которой происходила беседа Солоиа с саисскими жрецами, ио о ией Платои легко мог узиать, даже иикуда ие выезжая из своих родиых Афии, и Гадира — одиого из царей Атлаитиды, явио повторяющее название древией фииикийской колоиии Гадира, или Гадеса, иа атлаитическом побережье Испании, иеподалеку от выхода из Гибралтарского пролива.

совершенно не характерны сколько-нибудь подробные, развернутые описания чужих земель, природы, городов и всякого рода примечательных сооружений. Обычно записи такого рода отличаются крайним лаконизмом и сухой сдержанностью. Очень трудно поэтому вообразить даже просвещенного египтянина, который еще на заре истории сумел бы так подробно и с таким множеством топографических деталей, точных цифровых данных описать древнейшие Афины, а тем более грандиозную державу атлантов. И напротив, если допустить, что оба эти описания принадлежат перу греческого писателя, судя по всему, наделенного могучим творческим воображением и обширной эрудицией, все сразу же становится вполне объяснимым, отмеченные выше трудности и неувязки сами собой отпадают. Разумеется, нет надобности доказывать, что этим писателем мог быть только сам Платон, и никто больше.

Но для чего, могут нас спросить, понадобилась великому греческому философу эта странная и вроде бы неуместная в его возрасте (оба атлантических диалога написаны Платоном в последние годы жизни) и в его положении игра в прятки? Почему он так настойчиво пытался уверить читателя в абсолютной правдивости своего рассказа? И в чем все-таки смысл этой истории?

В свое время знаменитый французский астроном П. Лаплас попытался объяснить Наполеону Бонапарту (в те годы первому консулу Французской республики), как он представляет себе происхождение Вселенной. На недоуменный вопрос своего собеседника, какую же роль он отводит во всем этом грандиозном процессе творцу, ученый не без яда ответил, что в своих рассуждениях он не нуждался в «этой гипотезе». Очевидно, примерно то же самое могли бы сказать и наиболее авторитетные знатоки сочинений Платона — филологи-классики,— если бы их спросили, что они думают об исторической основе атлантических диалогов. В то время как сотни атлантоманов разных толков и направлений обшаривали всю поверхность нашей планеты в поисках затонувшего материка, филологи в тиши своих кабинетов внимательно изучали греческие тексты «Тимея» и «Крития», пытаясь понять, какое место занимают они в чрезвычайно сложной и многоплановой философской системе Платона. Почти все они рано или поздно приходили к одному и тому же заключению: при всем своем наукообразном историческом облачении платоновский рассказ об Атлантиде так же далек от подлинной истории, как описания Лилипутии

или Бробдингнега в «Путешествиях Гулливера» далеки от подлинных географических и этнографических описаний дальних стран, хотя создавший их Свифт, несомненно, сознательно подражал таким описаниям и, на свой лад, был не менее точен, чем иные путешественники того времени. Но если великий английский сатирик про себя лишь злорадно посмеивался над слишком доверчивым читателем, гипнотизируя его мнимой точностью повествования, то Платон, несомненно, искренне хотел, чтобы ему поверили. Недаром же, начиная свой рассказ, Критий торжественно заверяет своих слушателей: «Послушай же, Сократ, сказание хоть и весьма странное, но, безусловно, правдивое, как засвидетельствовал некогда Солон, мудрейший из семи мудрецов», а Сократ, внимательно выслушав рассказчика, с готовностью принимает услышанное на веру: «...важно, что мы имеем дело не с вымышленным мифом, но с правдивым сказанием».

Весь рассказ Крития в обеих его версиях (краткой и пространной) построен как искусная имитация типичного для той эпохи сочинения смешанного историко-географического жанра. Обширное источниковедческое введение должно сразу же расположить читателя к доверию, показав ему, что история Атлантиды не выдумана, а с начала и до конца основана на весьма солидных и авторитетных свидетельствах, на непрерывной традиции, восходящей к самым отдаленным, «допотопным» временам. Помня, что он пишет не миф, а историю, Платон старается избегать в своем повествовании слишком уж откровенной фантастики. Там же, где ему приходится говорить о вещах, которые с трудом укладываются в обычном человеческом сознании, он всегда подчеркивает, снисходя к слабости воображения своих читателей, что речь пойдет о чем-то настолько невероятном, что если бы не неопровержимое свидетельство его источника, он и сам бы не мог поверить, что такое бывает на самом деле. Так, описывая канал, окружающий центральную равнину Атлантиды, он замечает: «Если сказать, каковы были глубина, ширина и длина этого канала, никто не поверит, что возможно было такое творение рук человеческих... но мы обязаны передать то, что слышали» (ср. у Геродота: «Я обязан передавать то, что слышал, верить же всему не обязан»). Насыщенность платоновского рассказа множеством точных дат, геометрических обмеров различных сооружений и пространств, вообще фактическим материалом также сближает его с повествовательной манерой современных греческих историков. Очевидно, Платон был весьма начи-

тан в литературе такого рода и при желании мог бы писать настоящие, а не фиктивные исторические труды. Однако внимательный анализ показывает, что в «Тимее» и «Критии» эта псевдоисторическая оболочка лишь маскирует заключающийся в ней, как косточка в мякоти плода, философский миф.

Смысл мифа не до конца ясен и нам. Его пониманию препятствует прежде всего незавершенность самой дилогии об Атлантиде. Тем не менее внимательно вчитываясь в текст обоих диалогов, можно догадаться, куда клонит Платон, рассказывая свою «странную, но абсолютно правдивую историю». Нетрудно заметить, что описание древнейших Афин и Атлантиды, составляющее основное содержание пространной версии предания, излагаемой в «Критии», построено по закону контраста, или антитезы. Два государства абсолютно во всем противоположны друг другу. Резко различается даже сама их природная среда (очевидно, в понимании Платона, страна и населяющий ее народ составляют как бы единое нераздельное целое). «Допотопная» Аттика была, если верить Платону, богатой и процветающей страной. Боги в достатке снабдили ее всем необходимым для спокойной и счастливой жизни — землей, водой, лесами и пастбищами. Однако даже и в те счастливые времена природа Аттики не была чересчур щедрой к человеку. Она снабжала его лишь самым необходимым, тем, без чего невозможна жизнь, но не более того. В ней не было ничего лишнего, ничего чрезмерного. Совсем по-иному описывается в том же диалоге природа Атлантиды. Она напоминает великолепный пиршественный стол, буквально ломящийся от всевозможных изысканных яств. Неслыханное обилие всевозможных металлов, в том числе драгоценных, среди которых Платон упоминает загадочный, нигде более не встречающийся орихалк, обилие различных пород строительного камня. Богатейшая растительность, в избытке снабжающая обитателей страны и строительным лесом, и пищей, и ароматическими смолами для изготовления благовоний. Тучные поля, приносящие каждый год двойной урожай. Разнообразный животный мир, включающий даже слонов (Платон особо отмечает, что этих животных, отличающихся невероятной прожорливостью, на острове водилось великое множество — так обильны были его естественные кладовые). Наконец, огромные пространства, во много раз превосходящие территорию Аттики и способные прокормить колоссальное количество людей и животных. Все эти сказочные богатства были

легкодоступны. От жителей Атлантиды не требовалось никаких особых усилий, чтобы овладеть ими,— стоило, как говорится, только протянуть руку и взять.

Казалось бы, среди всего этого невероятного изобилия атланты могли жить беспечно и праздно, ни в чем не нуждаясь, подобно людям золотого века в царстве Крона или же Адаму и Еве в садах библейского Эдема. Но мы этого почему-то не видим, напротив, атланты одержимы лихорадочной жаждой деятельности. Подобно участникам знаменитого «столпотворения вавилонского», они непрерывно что-то сооружают — прорывают огромные каналы, оросительные и судоходные, перебрасывают через них мосты, возводят стены вокруг своего главного города, с необыкновенным искусством украшают святилища своих богов и царские дворцы золотом, серебром, орихалком, слоновой костью, строят гавани, верфи, арсеналы. Все эти сооружения грандиозны так же, как и сама природа Атлантиды. В них есть что-то исполинское, сверхчеловеческое.

На фоне роскоши и великолепия цивилизации атлантов жизнь первоначальных Афин производит впечатление патриархальной простоты и скромности. Здесь нет ничего, даже отдаленно напоминающего грандиозные сооружения метрополии атлантов. Описывая афинский акрополь тех времен, Платон бегло перечисляет общие жилища сословия воинов, помещения для их совместных трапез (сисситий), гимнасии, очевидно устроенные прямо под открытым небом, святилища опять-таки самого простого типа. Ничего яркого, запоминающегося, останавливающего внимание. Никаких излишеств и роскоши в быту даже среди представителей господствующего сословия. Платон особо отмечает, что воинам было строжайше запрещено употреблять изделия из драгоценных металлов и вся их жизнь была подчинена принципу умеренности, являя собой наглядное воплощение знаменитого дельфийского изречения, приписываемого, кстати, Солону: «Ничего слишком». «Блюдя середину между пышностью и убожеством, они (воины.— *Ю. А.*) скромно обставляли свои жилища, в которых доживали до старости они сами и потомки их потомков, вечно передавая дом в неизменном виде подобным себе преемникам». Если, устраивая жизнь своих атлантов, Платон продумал до мелочей все, что касается комфорта и гигиены («купальни, из которых одни были под открытым небом, другие, с теплой водой, были устроены как зимние, причем отдельно для царей, отдельно для простых людей, отдельно для женщин и отдельно

для коней и прочих подъяремных животных»), то для обитателей древних Афин автор «Крития» ничего такого не предусмотрел, очевидно полагая, что с них было довольно и того, что им дала сама природа, а именно проточной воды, которой их снабжал единственный источник на акрополе.

Еще одна важная черта цивилизации атлантов — это, как мы сказали бы теперь, чрезвычайно высокий уровень ее научно-технического оснащения. Правда, Платон нигде специально не говорит о научных знаниях атлантов. Но уже по тому бегло сделанному как бы с высоты птичьего полета описанию страны атлантов и их главного города, которое автор «Крития» предлагает нашему вниманию, можно понять, как много значила наука в жизни этого народа. Атлантида в изображении Платона — это настоящее царство математики, которой сам философ, заметим это попутно, отводил первое место среди всех других наук. Здесь всюду, как сказал поэт, «дышит жар холодных числ», все подчинено точному расчету. Ландшафт Атлантиды — это прежде всего комбинация различных геометрических фигур. Главная равнина острова имеет очертания вытянутого в длину прямоугольника, широкой стороной обращенного к морю. Ее природные очертания еще более подчеркнуты окаймляющим всю равнину гигантским каналом, от которого расходится целая сеть малых каналов. В прямоугольник равнины вписаны три концентрических водных круга, разделенных двумя земляными кольцами. В центре круга, на островке в пять стадиев в поперечнике,— акрополь столицы атлантов. С морем его соединяет идущий строго по радиусу из центра круга канал. Ширина водяных и земляных колец, опоясывающих акрополь, соотносится как 3 к 2 и к 1. Грандиозные архитектурные и инженерные сооружения атлантов, конечно, не могли бы возникнуть, если бы их создатели не владели обширными познаниями в механике, физике, геологии, химии и других науках.

Однако знания научные тесно переплетаются в культуре Атлантиды со знаниями совсем иного свойства, а именно с магией и колдовством. Точные математические расчеты, использованные при постройке каналов, гаваней, крепостных стен и т. п., при ближайшем ознакомлении с ними оборачиваются пифагорейской мистикой чисел. На это обратил внимание в своей книге об Атлантиде русский философ-мистик Д. С. Мережковский: «Математической точностью он (Платон.— *Ю. А.*), может быть, хочет уверить нас в действительности того, что описыва-

ет; но это плохо ему удается: мифом пахнет его математика... Так в ледяных кристаллах геометрии закипает у Платона огненное вино мистерии; проступает сквозь математику страшно-огромный сон самого титана, небодержца Атласа». Магическая подоплека цивилизации атлантов особенно ясно проступает в той части «Крития», где Платон очень подробно и с явным удовольствием описывает загадочные и довольно мрачные обряды, которыми сопровождались проходившие через каждые пять или шесть лет встречи десяти царей Атлантиды, во время которых, как здесь сказано, «они творили суд и подвергались суду».

В отличие от атлантов граждане первоначального Афинского государства не знают ни магии, ни науки. Судя по тому, что рассказывает о них Платон, они живут в почти первобытной чистоте и невинности, еще не вкусив плодов от древа познания. Во всем полагаются на богов и не пытаются подчинить себе силы природы с помощью тайных знаний, как делают это атланты, а лишь приспосабливаются к ним. Их жизнь более естественна и потому более гармонична.

И наконец, еще одно важное различие существует между двумя государствами. Атлантида, какой ее описывает Платон, прежде всего грозная военная держава, жадно стремящаяся к захвату чужих земель и покорению других народов. Среди невероятного обилия даров природы, обладая несметными богатствами, атланты с завистью взирают на своих соседей и стремятся завладеть их достоянием. Это вынуждает их непрерывно наращивать свои воинские силы. Военная мощь атлантов может сравниться разве что с огромными армиями Персидского царства. По исчислениям Платона, их пешее войско составляло 1200 тысяч человек, конница насчитывала 240 тысяч всадников и 10 тысяч боевых колесниц, флот — 1200 военных судов. С этими силами атланты не только утвердили свое владычество по ту сторону Геракловых столпов, на океанских побережьях Европы и Ливии, но и вторглись в пределы Средиземноморья, завоевав все северное его побережье вплоть до Тиррении (Этрурии) и все южное вплоть до Египта. Лишь вмешательство афинян смогло остановить их дальнейшее продвижение. Вместе с тем, как и всякие агрессоры, атланты живут в непрерывном страхе и ожидании вражеского вторжения на свою территорию. Видимо, именно этот страх заставил их превратить свой главный город в неприступную крепость с тщательно продуманной системой оборонительных сооружений.

Древнейшие Афины, судя по тем фактам, о которых нам сообщает Платон, также были могущественным государством, хотя в чисто арифметическом исчислении их военные силы несравнимы с силами империи атлантов (по словам Платона, сословие воинов или стражей, из которого комплектовалась основная часть афинского войска, насчитывало всего 20 тысяч человек). Далее мы узнаем, что власть афинян простиралась в те времена на всю Элладу, хотя основывалась она не на насилии и принуждении, как владычество атлантов, а на добровольном подчинении «худших» «лучшим». «Во всей Европе и Азии,— замечает Платон,— не было людей более знаменитых и прославленных (чем афиняне.—*Ю. А.*) за красоту тела и за многостороннюю добродетель души». В описании древних Афин мы, таким образом, не находим тех, видимо сознательно подчеркнутых, признаков милитаристского, империалистического государства, которыми Платон, конечно же, вполне обдуманно наделил свою Атлантиду.

Развернутое сравнение «допотопных» Афин с Атлантидой приближает нас к правильному пониманию основного замысла великого философа. Совершенно очевидно, что Платон хотел столкнуть между собой два прямо противоположных и потому уже по самой своей природе враждебных друг другу типа государства и показать читателям, что из этого должно получиться. Для него самого исход этого столкновения был, по-видимому, вполне ясен уже с самого начала. Если учесть, что свое праафинское государство Платон, несомненно, совершенно сознательно сделал точной копией того идеального утопического полиса (аристократии), который он во всех деталях обрисовал в своем большом трактате «Государство», а Атлантиде столь же сознательно придал черты во всем противоположного аристократии, ненормального, или, как выражается сам философ, «лихорадящего» государственного устройства, превратив ее тем самым в своеобразную антиутопию, то становится совершенно очевидным, что победу в этой титанической борьбе двух миров должны были одержать, конечно же, афиняне. Платон и сам не скрывает своих намерений, объявив устами Сократа — главного действующего лица почти всех своих диалогов,— что ему хотелось испытать проект идеального полиса, представив его в действии, а лучшим способом такого испытания была, конечно же, война.

Поражение государства атлантов в борьбе с афинянами должно было стать, согласно замыслу философа, до-

стойной расплатой за непомерную титаническую гордыню этого народа, проявляющуюся абсолютно во всем: и в невероятной роскоши, окружающей атлантов в их повседневной жизни, и в грандиозности и великолепии их построек, в которых они явно стремятся соперничать с самой природой, и в их тайных магических знаниях, которые ставят их чуть ли не вровень с богами, наконец, в их претензиях на мировое господство. За все это атланты должны были рано или поздно жестоко поплатиться, и, конечно, далеко не случайно, что орудием божественного возмездия за их прегрешения стало государство, во всех отношениях противоположное их собственному, то есть не знающее того обилия земных плодов, которым боги так коварно наградили Атлантиду, живущее в добром согласии с природой, не ведающее ни роскоши, ни тайных знаний, не стремящееся к захватам чужих земель. Разительное неравенство сил обеих противоборствующих сторон (всего 20 тысяч афинян, которым к тому же изменили их союзники, против несметных полчищ атлантов), очевидно, должно было еще сильнее и резче подчеркнуть главную мысль Платона: поражение и гибель Атлантиды были неизбежны, можно даже сказать, что она сама несла в себе свой конец.

Вместе с тем нельзя не заметить, что в отношении самого Платона к государству атлантов есть известная двойственность и непоследовательность. Можно было бы ожидать, что, поставив своей главной целью изображение государства, по своей природе извращенного и в силу этого обреченного на гибель, философ сделает все возможное, чтобы внушить читателю отвращение и неприязнь к цивилизации атлантов. Приходится, однако, признать, что с этой задачей, если он действительно ее перед собой ставил, Платон не сумел по-настоящему справиться. Как это нередко бывает в истории литературы, писателя захватил и увлек плод его собственного воображения, и дальше уже нелегко было понять, кто кем управляет — автор своей фантазией или же, напротив, она им. Живописуя порочную в своей основе жизнь чудесного острова, Платон (это без особого труда заметит каждый, кто внимательно читал «Крития») сам поддался ее соблазнам. Он с видимым наслаждением, любовно и старательно изображает роскошь и богатство этой жизни, невероятную щедрость природы, великолепие и мощь архитектурных и инженерных сооружений.

Видимо понимая, что он повел свой рассказ не совсем в том направлении, в котором его следовало бы вести,

Платон уже в самом конце «Крития», как бы спохватившись и возвращаясь к первоначальному своему замыслу, быстро и как-то сбивчиво объясняет читателю, что вначале атланты были добродетельны и не поддавались развращающему влиянию окружающего их богатства, но мало-помалу заложенное в них их прародителем Посейдоном божественное начало смешалось с человеческим и, таким образом, утратило свою силу, что привело этот гордый народ к нравственной деградации, а затем и к гибели.

Как бы то ни было, изначальная идейная и художественная заданность платоновского мифа не вызывает никаких сомнений. Несмотря на некоторые логические неувязки, все в нем подчинено единой, с самого начала четко сформулированной самим философом цели. Миф об Атлантиде сочинен Платоном как наглядная иллюстрация к его же теоретическим построениям, содержащимся в трактате «Государство», вместе с которым «Тимей» и «Критий», как это давно уже признано в науке, составляют некое подобие философской трилогии, развивающей, в сущности, одну и ту же тему.

Проект идеального полиса, с которым мы знакомимся в первой части трилогии, разумеется, не мог быть просто скопирован с какого-то одного реально существовавшего греческого или варварского государства. Правильнее было бы оценить его как результат синтеза целого ряда разнородных элементов, переплавленных могучим воображением великого философа в единое художественное целое. Внимательный анализ обнаруживает в этой сложной конструкции заимствования и из спартанского «ликургова космоса», и из «конституции» дорийских полисов Крита, и из кастовой системы Древнего Египта, и из сочинений других греческих философов-утопистов, предшественников Платона. Едва ли существенно иными были методы, которые автор «Государства» использовал при работе над логически продолжающими это его сочинение диалогами «Тимей» и «Критий». Судя по всему, и праафинское государство, и противостоящая ему Атлантида были сконструированы из самого разнородного материала по тем же самым законам утопического жанра, по которым был создан и проект идеального полиса в «Государстве».

При таком понимании мифа описываемая в «Тимее» война афинян с державой атлантов воспринимается как своеобразный эксперимент, призванный подтвердить правильность теоретических расчетов Платона. Но как по-

нять совершенно неожиданную и необъяснимую на первый взгляд концовку всей этой истории? Рассказав своим слушателям о том, как афиняне, изменнически оставленные своими союзниками, сражаясь в одиночку, не только остановили несметные полчища атлантов в их дальнейшем продвижении на восток, но и освободили от их владычества все уже покоренные ими народы и племена «по эту сторону Геракловых столпов», Критий завершает свое повествование такими словами: «Но позднее, когда пришел срок для невиданных землетрясений и наводнений, за одни ужасные сутки вся ваша воинская сила была поглощена разверзнувшейся землей; равным образом и Атлантида исчезла, погрузившись в пучину». Это странное завершение великой войны многих ставит в тупик.

В самом деле, атланты несут наказание за свою гордыню и нечестие,— это в общем логично и понятно. Но зачем было отправлять вместе с ними в преисподнюю доблестных и благородных афинян, покрывших себя неувядаемой славой и как будто ни в чем не провинившихся перед богами? На первый взгляд здесь явное попрание законов жанра, ведь во всякой порядочной драме под занавес проваливается в тартарары, к вящему удовольствию публики, закоренелый злодей, но никак не добродетельный герой. Д. С. Мережковский по этому поводу замечает: «Здесь у Платона концы с концами не сходятся: начал за здравие, кончил за упокой Сократовой и своей Республики. Град божий — плод всей своей мудрости — хотел вознести до неба и низверг в преисподнюю; только что попробовал сдвинуть его неподвижную схему, как все обрушилось, словно песочная башенка, игрушка детей...» И несколько далее такое резюме: «Люди перед смертью иногда сходят немного с ума: «Атлантида» — такое безумие Платона».

В действительности дело здесь, разумеется, вовсе не в безумии Платона. Мережковский просто не очень внимательно читал предшествующий текст «Тимея» и не обратил внимания на довольно пространный рассказ египетского жреца (того самого, который беседовал с Солоном в храме богини Нейт) о грандиозных мировых катастрофах, которые, происходя через определенные промежутки времени, уничтожают большую часть человеческого рода, которая погибает либо от страшных пожаров (Платон связывает их с отклонениями небесных светил от своих обычных орбит), либо от великих наводнений.

Во время этих катастроф погибают по большей части

люди образованные, обученные грамоте, в живых же остаются, наоборот, невежественные и неграмотные пастухи, укрывшиеся в каких-нибудь горных ущельях или лесных чащах. Этим, как полагает Платон, и объясняется в первую очередь чрезвычайная краткость исторической памяти человечества, ее неспособность проникнуть в прошлое более чем на время жизни нескольких ближайших поколений. Так были забыты и Атлантида, и праафинское государство, и война, происходившая между ними. После одновременной гибели этих двух держав не осталось никого, кто мог бы передать память о них потомкам. Лишь один Египет благодаря особо благоприятному географическому положению избежал общей участи во время этой катастрофы, так же как и всех прочих. По этой причине только здесь и сохранились свидетельства о событиях девятитысячелетней давности. Итак, мы видим, что миф об Атлантиде может быть по-настоящему понят лишь в том случае, если мы будем рассматривать его, с одной стороны, в контексте политической теории Платона, его учения об идеальном государстве, с другой же — в контексте его космогонических и тесно связанных с ними общеисторических представлений, в основе которых лежит идея цикличности или вечного возвращения к одной и той же исходной точке.

Разумеется, и сама платоновская концепция истории человечества, и дополняющий ее в качестве главного аргумента, подтверждающего ее справедливость, рассказ о войне афинян с атлантами и последующей гибели обеих противоборствующих держав весьма далеки от известной нам реальной истории Древнего мира. Тем не менее внимательное изучение мифа об Атлантиде показывает, что именно реальная история была в значительной степени тем материалом, из которого Платон сконструировал свое псевдоисторическое повествование. Как уже было замечено, афинский философ превосходно знал современную историческую литературу, в которой запечатлелись события недавнего и более отдаленного прошлого. Некоторые из этих событий в несколько видоизмененной форме послужили сюжетной канвой для платоновской «правдивой истории». Нетрудно заметить, что рассказ о войне афинян с атлантами в «Тимее» довольно близко напоминает хорошо известные Платону, так же как и большинству его сограждан, события греко-персидских войн. История войны афинян с атлантами представляет собой как бы зеркальное отражение повествования Геродота о крушении персидских планов завоевания Греции. Тогда грекам

пришлось столкнуться с огромной сухопутной варварской державой, надвигавшейся на Балканский полуостров с востока. В «Тимее» их грозным противником оказывается великая морская держава, подчинившая себе все Западное Средиземноморье. Но как в том, так и в другом случае афиняне выступают в роли поборников общеэллинского дела, как вожди всех прочих греческих государств перед лицом варварской угрозы. Напомним, что уже Геродот называл афинян «спасителями Эллады» от персов. Теперь Платон переносит их славный подвиг в отдаленное прошлое, отделенное от эпохи греко-персидских войн почти девятью тысячами лет. Отдельные эпизоды войны с персами как бы заново воскресают на страницах платоновского диалога. Так, самый драматический момент этого рассказа, когда афиняне, брошенные на произвол судьбы своими союзниками, в одиночку вынуждены были противостоять несметным полчищам атлантов и в конце концов сумели не только одолеть их, но и изгнать туда, откуда они пришли, то есть за «столпы Геракла», неизбежно вызывает в памяти знаменитое сражение при Марафоне, в котором небольшое ополчение афинских граждан наголову разбило численно превосходящую армию персидского царя Дария, несмотря на то что другие греки лишь пассивно наблюдали за происходящим, не оказав афинянам никакой поддержки.

Конечно, история столкновения афинян с атлантами не была просто скопирована с истории греко-персидских войн. Платон использовал лишь самую общую канву рассказа Геродота и других греческих историков, писавших об этой эпохе, многое переделал на свой лад или поменял местами. Было бы поэтому ошибкой видеть в персидской державе Ахеменидов прямой прообраз Атлантиды. Как мы уже говорили, описание Атлантиды в «Критии», так же как и тесно связанное с ним описание «допотопных» Афин, представляет собой результат весьма сложного художественного синтеза, в котором причудливо переплелись характерные черты многих реальных государств, известных Платону. С Персидской державой Атлантиду сближают, пожалуй, лишь колоссальные размеры занимаемой ею территории, неслыханное обилие всевозможных природных богатств и, наконец, невероятная, по греческим меркам, численность населения. В остальном это государство, пожалуй, совсем иного типа, чем империя Ахеменидов, впавшая вскоре после греко-персидских войн в состояние длительной безысходной стагнации, которая могла окончиться лишь гибелью и распадом этого чудовищного политического образования.

В отличие от нее Атлантида — морская держава, разбросанная по множеству больших и малых островов и с помощью своего огромного флота владычествующая над прибрежными областями ливийского и европейского материков. В ее экономике, судя по некоторым намекам в тексте «Крития», далеко не последнюю роль играли транзитная морская торговля и разнообразное высоко специализированное ремесленное производство. О главной гавани столицы атлантов Платон сообщает, что она «была переполнена кораблями, на которых отовсюду слышались говор, шум и стук». Для военных кораблей атланты строили даже подземные стоянки, размещавшиеся в заброшенных каменоломнях. Сама картина огромного приморского города невольно вызывает в памяти такие крупнейшие порты античного Средиземноморья, какими были во времена самого Платона Сиракузы, Карфаген и, наконец, родной город философа Афины. Каждый из этих трех городов являлся, хотя и в разное время, центром могучей морской державы, размещавшейся одновременно на островах и на материке. Залогом процветания каждого из них было, с одной стороны, ограбление подвластных государств, с другой — ведущаяся в неслыханно широких масштабах посредническая торговля, связывавшая эти города чуть ли не со всем остальным миром. Совершенно очевидно, что у самого Платона этот тип государства, основанный на всеобщей жажде обогащения, вызывал крайнюю антипатию и отвращение, и, конечно, не случайно то, что он максимально приблизил к нему свою Атлантиду, стремясь во что бы то ни стало показать читателю, что именно так он представляет себе государство во всех отношениях ненормальное, неправильно и неразумно устроенное и вследствие этого обреченное на гибель.

Все эти выходы в современную историю или историю сравнительно недавнего прошлого составляют, однако, лишь внешнюю и потому довольно легко различимую оболочку платоновского сказания. Труднее различить его более глубокий и в силу этого скрытый от глаз читателя мифологический подтекст. Здесь нелишне будет напомнить, что для Платона, как и для всех греков, мифология была лишь частью истории, своего рода предысторией рода человеческого. Никакой непроходимой грани между ними не существовало, и поэтому исторические и мифологические сюжетные коллизии могли свободно перемешиваться между собой в рамках одного и того же произведения. Как уже было сказано, родоначальник всех атлантов и первый царь Атлантиды Атлант, несо-

мненно, в какой-то степени повторяет образ своего мифического тезки — титана-небодержца. Правда, во избежание возможной путаницы Платон постарался максимально его очеловечить, дал ему другую родословную, сделав сыном Посейдона и Клейто, тогда как первоначальный Атлант, как и все титаны вообще, принадлежал к старшему поколению богов, потомков Урана и Геи, и был вовсе не сыном, а двоюродным братом Посейдона и самого Зевса, так же как и другой Япетид[1] Прометей. Вероятно, первый Атлант участвовал в той ожесточенной борьбе за власть над миром, которую титаны вели с богами-олимпийцами, сплотившимися вокруг Зевса. Как известно, титаны потерпели в этой борьбе сокрушительное поражение и были низвергнуты в мрачный Тартар, где их должны были стеречь сторукие великаны гекатонхейры (обо всем этом подробно рассказывает Гесиод в своей «Теогонии»). Двух титанов — сыновей Иапета Прометея и Атланта — ждала особенно жестокая участь. Прометей был прикован к скале и должен был кормить своей печенью орла, которого каждый день посылал к нему мстительный Зевс. Атланту же пришлось взвалить на плечи чудовищную тяжесть небесного свода и держать эту страшную ношу, не зная отдыха, много тысяч лет подряд. В чем провинился перед богами Прометей, знает каждый школьник, а вот в чем заключалась особая вина Атланта, заставившая Зевса подвергнуть его такому необычному по своей суровости наказанию, античные авторы почему-то ничего не сообщают. Во всяком случае, в том, что это было именно наказание за какой-то проступок, сомневаться не приходится. Не случайно оба брата титана — Прометей и Атлант — изображены друг против друга на одной чернофигурной вазе VI века до н. э., причем прикованного к скале Прометея терзает орел, а подпирающего небесный свод Атланта кусает сзади огромная змея (деталь, отсутствующая в дошедших до нас пересказах мифа). Уже в гомеровской «Одиссее» Атлант представлен читателю как «злоумышляющий», «злокозненный» (напомним, что у Гомера этим же эпитетом сопровождаются имена двух царей — Миноса и Ээта) и в то же время «ведающий глубины всего моря» (быть может, имеется в виду какая-то изначальная связь этого титана с морской стихией, о которой наши источники более ничего не сообщают, хотя не исключено и другое объяснение — поэт имел в виду, что с высоты своего огромного роста Атлант

[1] Япет (Иапет) — титан, отец Атланта и Прометея.

ясно различал в морской глубине все то, что было скрыто от глаз простых смертных). Здесь же о нем сказано еще, что он «держит великие столбы, разделяющие небо и землю». Возможно, имелась в виду земная ось, которую титан должен был поддерживать в устойчивом положении всей мощью своего тела.

Платон, несомненно, превосходно знал весь круг сказаний об Атланте и его потомстве — свод таких сказаний был составлен еще в V веке до н. э. известным историком Геланником Лесбосским. Вполне возможно, что некоторые важные черты мифического Атланта, присущие не только ему одному, но всей породе титанов: непомерная гордыня, вражда к богам младшего олимпийского поколения, обширные тайные познания, включающие в себя немалую толику магии и колдовства, были перенесены Платоном на обитателей его Атлантиды, в образе жизни которых и в самом их характере есть, как мы уже заметили, нечто титаническое. С титанами их сближает и та расплата, которую они в конце концов понесли за свои прегрешения перед богами. Как и титаны, они были обречены навсегда исчезнуть с лица земли и вместе со своим сказочным островом скрылись в ее мрачных недрах.

Платону были известны, конечно, и другие аналогичные мифы, из которых до нас дошли лишь незначительные фрагменты. Первоначальную сюжетную канву сказания по ним восстановить довольно трудно. Так, например, сохранился любопытный отрывок из четвертого пеана прославленного беотийского поэта Пиндара, в котором Евксантий — царь острова Кеоса, лежащего в Эгейском море, неподалеку от берегов Аттики,— произносит такие слова: «Боюсь Зевса-Воина и боюсь землетрясущего бога (Посейдона.— *Ю. А.*), чей гулок удар: молнией и трезубцем землю и люд обрушили они в тартаровы недра и оставили мою мать в терему за красной оградой». По сообщениям некоторых других источников, матерью Евксантия, уцелевшей во время описываемой здесь катастрофы, была прекрасная нимфа Дексифея, дочь Дамона, царя тельхинов — демонического племени колдунов, которым первоначально принадлежал Кеос. Зевс, разгневанный на тельхинов за их нечестие, решил погубить их вместе с городом, хотя дочерям Дамона была предоставлена возможность спастись. Конец этой истории был счастливым — к Дексифее посватался сам Минос, владыка Крита, и от их союза родился Евксантий. О тельхинах известно, что они были морскими демонами, спутниками, а по одной версии мифа — даже детьми бо-

га Посейдона. В мифах они изображаются как народ искусных кузнецов, напоминающий циклопов или критских дактилей, с которыми их часто смешивали. Они владели тайнами обработки различных металлов и умели изготавливать из них самые разнообразные предметы. Им приписывалось, в частности, создание трезубца Посейдона. В то же время тельхины пользовались репутацией опасных колдунов. Они способны были менять свой облик, превращаясь из человекоподобных существ в отвратительных чудовищ с собачьими головами и лапами, снабженными перепонками, как у водоплавающих птиц или лягушек. На людей, чем-либо им не угодивших, они наводили порчу. Даже саму землю они способны были сделать бесплодной. Для этого они поливали ее водой, добытой из адской реки Стикс. Этот и другие аналогичные поступки тельхинов вызвали против них гнев богов, которые решили покарать их за эти нечестивые дела.

Нетрудно заметить, что судьба тельхинов довольно близко напоминает судьбу платоновских атлантов. Существуют и другие сближающие их признаки: близкое родство с владыкой моря Посейдоном, владение тайнами металлов, невольно вызывающее в памяти необыкновенно высокое развитие металлургии в Атлантиде, особая расположенность как тельхинов, так и атлантов к магии и колдовству. Весьма возможно, что мифы о тельхинах, так же как и миф об Атланте (Атласе) и его родичах-титанах, сыграли свою роль в формировании основного сюжетного ядра сказания об Атлантиде. И здесь перед нами вновь открывается возможность вернуться, казалось бы, к совсем уже оставленной мысли о существовании глубинной связи между платоновским мифом и извержением вулкана на Санторине или древней Фере. В свое время Сп. Маринатос в одной из своих статей ссылался на отрывок из четвертого пеана Пиндара, рассказывающий о гибели города тельхинов на Кеосе, как на один из возможных отголосков санторинской катастрофы в греческой мифологии. Не отрицая такой возможности, мы, пожалуй, могли бы добавить к этой догадке еще одну. Вполне вероятно, что именно Санторин считался некогда главной резиденцией тельхинов в пределах Эгеиды, поскольку трудно себе представить другое более подходящее место для кузницы морских демонов, чем изрыгающий из своих недр огонь и дым затопленный кратер Санторинского вулкана.

И еще одно предположение, как будто не находящее прямой поддержки в греческой мифологической тради-

цин, но все же достаточно заманчивое. Отчего бы не допустить, что именно величественный конус Санторинского вулкана, в то время еще не расколотый на части взрывом чудовищной снлы и видимый нздалека вместе с поднимающимся к небу из его кратера столбом дыма, как раз и породил в воображенни тогдашних обнтателей Эгейского мира грандиозный образ титана-небодержца, который уже тогда мог носнть имя Атланта, а остров, служившнй его основанием, соответственно вполне мог называться Атлантидой. Гнбель вулкана, естественно, должна была заставить окрестных жителей подыскать для титана какое-то другое место, ведь небесный свод никак не мог лишиться своей единственной опоры. Оно вначале было найдено совсем неподалеку — в Аркадии, среди горных хребтов полуострова Пелопоннес,— а затем постепенно передвигалось все дальше на запад, к месту солнечного захода, пока Атлант, наконец, не встал «на вечную стоянку» в Ливийской пустыне, неподалеку от побережья океана, названного по его именн.

Итак, мы видим, что реальная история могла проникнуть в платоновский миф разными путями и из разных источников. В одних случаях подлинные события и факты, отдельные элементы, взятые из описаний реально существовавших стран н городов, сознательно переносились Платоном в его рассказ. Разумеется, при этом они подвергалнсь радикальному переосмыслению и переработке, образуя подчас самые причудливые и неожиданные комбинации в рамках граннозного философско-художественного замысла, которому все они так или иначе были подчинены. В других случаях далекие отголоски давно забытого историческогo прошлого моглн проникнуть в повествование Платона вместе с потоком древней фольклорной традиции, старнннных легенд и сказаний, о реальной подоплеке которых сам фнлософ уже наверняка ничего определенного знать не мог. Только таким путем, можно сказать, без ведома автора, а отнюдь не через посредство придуманных им, никогда не существовавших в действительности египетских источников могли просочиться в миф о гибелн Атлантиды отзвуки грандиозных геологических катаклизмов, некогда изменнвших весь облик Эгейского мира.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предрассудок! он обломок
Древней правды. Храм упал;
А руин его потомок
Языка не разгадал.

Е. Баратынский

В своей основе мышление древнего человека было внеисторично, можно даже сказать, антиисторично. Древние интеллектуалы, например греческие философы, предпочитали мыслить вечными и неизменными категориями. Скоропреходящие, необыкновенно многообразные и изменчивые исторические события сравнительно редко привлекали к себе их внимание, считались не заслуживающими серьезного отношения. Эта притупленность подлинного исторического чувства, характерная даже для таких наиболее динамичных и активных народов Древнего мира, какими были греки и римляне, находит свое объяснение не столько в отсутствии достаточно надежных способов фиксации и последующей передачи исторической информации от поколения к поколению, сколько в чрезвычайной замедленности и растянутости самого исторического процесса, составляющих отличительную черту истории всех докапиталистических обществ.

В пестрой чехарде событий, почти непрерывно чередующихся внешних и внутренних войнах, государственных переворотах, сменах династий и политических режимов жизнь древних людей оставалась почти неизменной в своих глубинных основах — технологических, социально-экономических, культурно-бытовых. Сам образ жизни, особенно в низших слоях общества, сравнительно мало менялся от периода к периоду, от эпохи к эпохе. На протяжении столетий сохранялись одни и те же средства передвижения, типы жилищ, покрой одежды и обуви, состав дневного рациона и т. п.

Древние, в сущности, плохо представляли себе, что такое исторический прогресс. И это неудивительно. Ведь в истории всех древних обществ сравнительно кратковре-

менные периоды экономического и культурного подъема, чаще всего связанные с удачными захватническими войнами, как правило, сменялись длительными периодами упадка и застоя. Вероятно, поэтому древнему человеку казалось, что история топчется на месте, что рано или поздно она, как говорится, снова «возвращается на круги своя». Это общее заблуждение разделяли даже такие величайшие исторические мыслители древности, как Фукидид, Платон, Аристотель, Полибий, Тацит. Все они были убеждены в том, что прогресс в любых его формах возможен лишь в очень ограниченных временных пределах и что, следовательно, развитие человеческого общества в каждую новую историческую эпоху движется, в сущности, по одному и тому же замкнутому кругу, каждый раз возвращаясь к своим истокам. Как справедливо заметил известный исследователь древних религий М. Элиаде: «Интерес к необратимости и к «новизне» истории — недавнее открытие в жизни человечества. Напротив... архаическое человечество защищалось, как могло, от всего нового и необратимого, что есть в истории».

В такой духовной атмосфере мифологическое мышление, по сути своей прямо противоположное мышлению историческому, практически никогда не покидало поле боя и даже во времена высочайшего расцвета античной культуры постоянно напоминало о себе рецидивами, подобными платоновскому мифу об Атлантиде. Как было показано в первой главе нашей книги, греческим историкам-рационалистам в их борьбе с мифологией удалось освободить от древних предрассудков сравнительно небольшой участок новой и новейшей истории. Полностью вытеснить мифологическое сознание из сферы исторического исследования они так и не сумели, поскольку и сами еще в очень сильной степени были заражены этим сознанием. Лишь наука нового времени смогла окончательно освободить историю от мифологии, разорвав издавна соединявшие их узы кровного родства.

Результаты этого подлинно революционного по своей сути сдвига для многих оказались поистине обескураживающими. Прежде всего выяснилась крайняя ненадежность так называемых исторических свидетельств, заключающихся в мифах, хотя миллионы людей верили им на протяжении веков, а многие продолжают верить еще и сейчас, поскольку вытесненное из области «чистой науки» мифологическое мышление продолжает владеть сознанием масс даже в эпоху НТР. Новые мифы, несущие в себе все приметы новой эпохи, приходят на смену старым, а

иногда, соединяясь с ними, образуют причудливые гибриды. Примерами могут служить хотя бы волна атлантомании, которая так стремительно распространилась среди читающей публики на рубеже XIX—XX веков, всевозможные новые разновидности христианской и буддийской мифологии, пресловутая «нордическая теория», взятая на вооружение идеологами германского нацизма, и т. п.

Между тем при ближайшем рассмотрении становится очевидным, что миф как источник информации способен дать историку не так уж много достоверных свидетельств о прошлом, видимо, потому что сама реальная история очень скупо питает мифологическую традицию. Правда, если не во всех, то, по крайней мере, во многих известных нам мифах, несомненно, содержатся хотя бы случайные и разрозненные исторические сведения, и внимательный глаз исследователя может их обнаружить, определить место и, так сказать, удельный вес в общей массе заключающейся в мифе разнообразной информации.

Во всех пяти главах книги мы старались показать читателю, как сведения такого рода могут быть извлечены из поглотившего их мифологического повествования. Вывод, к которому мы приходим в итоге разбора каждого из взятых нами конкретных мифологических сюжетов, может показаться удручающим: общая доля заслуживающих доверия исторических фактов в греческих мифах, даже в таких, казалось бы, близких к подлинной истории и подтвержденных неопровержимыми археологическими свидетельствами, как, скажем, миф о Троянской войне, в действительности ничтожно мала. Используя образное сравнение, мы могли бы, пожалуй, сказать, что история в мифе — это не более чем несколько нитей, случайно вплетенных в большую украшенную замысловатыми узорами ткань. По существу, от этих нитей зависит очень немногое. Не они определяют основную фактуру ткани, ее расцветку, плотность или, наоборот, ажурность и другие качества. И вообще, если их выдернуть, почти ничего не изменится, ибо всякий настоящий миф возникает и развивается по своим особым законам, не имеющим ничего общего с законами, действующими в истории.

Нельзя, однако, забывать о том, что историческая наука чрезвычайно сложна и многообразна, так же как и сами постигаемые ею процессы исторического развития человечества. Все только что сказанное можно считать оправданным, поскольку мы имеем в виду самый простой из всех видов истории — историю событий, основная цель которой всегда заключалась, согласно известному при-

ципу, сформулированному немецким историком Л. Ранке, только в том, чтобы «знать, как оно было на самом деле». Стоит подняться на несколько ступенек вверх — туда, где начинается история общества, уже не сводимая к простому чередованию эпизодов, следующих друг за другом в определенной хронологической последовательности, и в особенности история общественного сознания во всем многообразии ее конкретных форм и проявлений,— как отношение историка к мифу принципиально меняется. И это, кстати, тоже результат научного прогресса, итог того большого пути, который был пройден исторической наукой за последние два столетия.

Здесь на высшем уровне исторического познания уже не имеют особенно большого значения вопросы исторической подлинности того или иного лица или события, которым посвящена значительная часть этой книги. Здесь не так уж важно знать, был ли реальной личностью мифический царь Минос; происходила ли на самом деле Троянская война, а если происходила, то когда и между кем; где плавали Одиссей и аргонавты и, наконец, где следует искать легендарную Атлантиду и что она собой в действительности представляла. Но зато только здесь мы начинаем понимать, что каждый из этих мифов представляет собой очень ценный и интересный документ, позволяющий заглянуть в самые сокровенные и загадочные глубины духовной жизни древнего человека.

Миф становится нашим проводником и путеводителем теперь уже не в поисках руин некогда погибших дворцов и цитаделей, а в более сложном и трудном путешествии по лабиринтам древних религиозных и философских систем. Сама мифология превращается при таком подходе в своеобразный археологический памятник, в котором, как при раскопках Трои — Гиссарлыка, постепенно обнаруживаются, сменяя друг друга, все более и более удаленные от нашего времени напластования религиозных и поэтических образов, древних ритуалов и обычаев, давно ушедших в прошлое культур. Если читатель сумел увидеть эту скрытую от взгляда поверхностного наблюдателя подоплеку мифического повествования и заинтересовался ею, автор может считать, что поставленная им цель достигнута.

Оглавление

Андреев Ю. В.

А65 Поэзия мифа и проза истории.— Л.: Лениздат, 1990.— 223 с., ил.— (Культура и религия).

ISBN 5-289-00797-0

Автор освещает несколько знаменитых и по праву пользующихся особым интересом греческих мифологических сюжетов, таких, как историчность Троянской войны, маршруты плавания Одиссея и аргонавтов, изобретения Дедала. Книга Ю. В. Андреева дает возможность выработать принципиальный подход к мифологическому материалу, вместо того чтобы в очередной раз носиться по безбрежному морю более или менее талантливых домыслов.

Для широкого круга читателей.

А $\frac{0401000000-047}{M171(03)-90}$ 8—90 ББК 86.3

Юрий Викторович Андреев

ПОЭЗИЯ МИФА И ПРОЗА ИСТОРИИ

Заведующий редакцией *А. В. Коротнян*
Младший редактор *И. Н. Чугунова*
Художник *Г. О. Вельте*
Художественный редактор *И. В. Зарубина*
Технический редактор *И. В. Буздалева*
Корректор *З. А. Ривкина*

ИБ № 5235

Сдано в набор 22.08.89. Подписано к печати 15.01.90. Формат 84×108[1]/32. Бумага офсетная. Гарн. литерат. Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,76+вкл. 1,68. Усл. кр.-отт. 19,32. Уч.-изд. л. 13,58+вкл. 1,43. Тираж 100 000 экз. Заказ № 192
Цена 1 руб.

Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.





1 руб.

КУЛЬТУРА
И РЕЛИГИЯ

Ю.В. Андреев

ПОЭЗИЯ МИФА И ПРОЗА ИСТОРИИ

Этой книгой известного
ленинградского историка, специалиста
по Древней Греции Ю. В. Андреева
Лениздат открывает новую серию
«Культура и религия».
Автор по-новому интерпретирует мифы
так называемого критского цикла,
мифы о Троянской войне
и плавании Одиссея,
о походе аргонавтов,
платоновский миф об Атлантиде.
Цель серии — уточнить
истинное место религии
в общечеловеческой культуре
прошлого и настоящего.

ЛЕНИЗДАТ



